

Институт международных исследований
МГИМО (У) МИД России

Ирина Бусыгина, Андрей Захаров

Общественно-политический лексикон

Москва
МГИМО – Университет
2009

Институт международных исследований
МГИМО (У) МИД России

Ирина Бусыгина, Андрей Захаров

Общественно-политический лексикон

Москва
МГИМО – Университет
2009

УДК 32
ББК 66.0
Б92

Серия: «Книги и брошюры ИМИ». Том 12.
Редакционная коллегия серии: А.И. Подберезкин, А.А.Орлов, В.М.Сергеев.
Редактор серии В.И. Шанкина.
Техн. секретарь серии Е.П.Конюхова.

Б92

Бусыгина И.М., Захаров А. А. Общественно-политический лексикон / Институт международных исследований – М.: МГИМО – Университет, 2009. – 276 С. (Книги и брошюры ИМИ).

Данная книга представляет собой анализ общественно-политических понятий. Для рассмотрения авторами были отобраны те понятия, которые пользуются устойчиво повышенным вниманием и экспертов, и политиков, вызывая общественные дискуссии. В книге представлен анализ понятий, дискуссии вокруг них и наиболее значимая литература.

Книга представляет интерес для студентов политологов, международников, юристов, а также для всех, интересующихся общественно-политической проблематикой.

УДК 32
ББК 66.0
Б92

© Андрей Александрович Захаров, 2009
© Ирина Марковна Бусыгина, 2009
© МГИМО (У) МИД России, 2009

Содержание

Предисловие.....	4
Глобализация.....	6
Демократия.....	20
Империя.....	36
Институты.....	52
Интеграция.....	65
Консерватизм.....	82
Либерализм.....	96
Модернизация.....	110
Национализм.....	123
Политическая культура.....	135
Постмодернизм.....	148
Просвещение.....	163
Революция.....	172
Регионализм.....	185
Самоуправление.....	197
Социализм.....	211
Суверенитет.....	226
Терроризм.....	238
Традиция.....	252
Федерализм.....	264

ПРЕДИСЛОВИЕ

Эта книга представляет собой небольшое собрание общественно-политических терминов, весьма сжато, но при этом основательно препарированных и проанализированных. Мы отбирали для нее только те понятия, которые пользуются устойчиво повышенным вниманием и ученых, и политиков, и просто интересующейся публики, неизменно вызывая общественные дискуссии. Появление такой работы во многом обусловлено нашим убеждением в том, что упомянутый широкий интерес не случаен; ведь язык, как известно, творит бытие, а по отношению к политическому языку это верно вдвойне. В то же время нельзя не отметить, что современные дискуссии далеко не всегда плодотворны, поскольку участники подчас путаются даже в привычных понятиях, не умея правильно ими пользоваться. Возможно, наш труд позволит хотя бы немного упорядочить необходимый, но довольно извилистый процесс осмысления политической реальности.

Жанр нашего текста определить довольно сложно — но надо ли, собственно, его определять? Понятно, что это — не словарь, которому «все ясно», и здесь, на наш взгляд, одно из его достоинств. Одновременно это и не сборник академических трудов, склонных констатировать принципиальную сложность и неоднозначность окружающей нас социальной реальности. Скорее, в данном случае речь должна идти о приглашении к размышлению вместе с авторами, уверенными в том, что даже о непростых вещах можно и нужно говорить ясным и очищенным языком.

По сравнению с нашим первым опытом подобного лексикона, предпринятым несколько лет назад¹, нынешний текст существенно изменился. Во-первых, в книге появились новые статьи и, следовательно, были исследованы новые понятия. Во-вторых, представленный материал пережил несомненный *up-grade*, зафиксированный как лексически, так и структурно. За три года мир успел измениться, и мы попытались запечатлеть это, внося в прежние статьи дополнения и коррективы. Многочисленные цитаты, имеющиеся в тексте, теперь сопровождаются сносками, а постатейные библиографии заметно

¹ Бусыгина И., Захаров А. *Sum ergo cogito: политический мини-лексикон*. М.: Московская школа политических исследований, 2006.

расширились. Кроме того, увеличено количество перекрестных ссылок, что не только отражает взаимное переплетение и пересечение ключевых понятий политического дискурса, но и позволяет воспринимать текст не разрозненно, а целостно. С другой стороны, мы решили сохранить прежнюю разбивку по главам, каждая из которых посвящена конкретному термину. Этот принцип тоже важен, поскольку он позволяет обращаться к нашим материалам на разных стадиях: можно читать весь текст по порядку, а можно извлекать из него лишь те термины, с которыми необходимо работать именно сейчас.

Вместе с тем, внесенные изменения не коснулись важных для нас методологических постулатов. Во-первых, в статьях неизменно должна присутствовать авторская позиция — а она действительно есть, и, как мы надеемся, даже стала более аргументированной. Во-вторых, если применение того или иного термина вызывает дискуссию, то наличие разных подходов должно отражаться в нашем изложении. Наконец, в-третьих, каждый термин следует «погружать» в российский контекст, ибо такой метод неизменно дает любопытные результаты.

Ирина Бусыгина, Андрей Захаров
Москва, 2009

Глобализация

I. О понятии «глобализация». Глобальное и локальное

С начала 1990-х годов глобализация стала ведущей темой интеллектуальных дебатов и важнейшей составляющей культурного дискурса (Хэлд и др. 2004). Как правило, обсуждение сюжета сопровождается жаркими дискуссиями: одни считают, что глобализация есть начало новой эры демократизации и мира, другие же полагают, что она есть удобный миф, придающий легитимность всемирной экспансии американского капитала. Поскольку значительная часть человечества либо не затронута глобализацией вовсе, либо не испытывает на себе ее выгод, сам процесс постоянно подвергается критике, что, несомненно, отражается на его теоретическом осмыслении. При всех разногласиях, однако, в исследовательском сообществе уже не вызывает сомнений объективный характер глобальных трансформаций. «Глобализация» касается не того, что все мы или хотя бы наиболее изобретательные и предприимчивые из нас, хотим или надеемся совершить. Она означает *то, что со всеми нами происходит*» (Бауман 2004: 88).

Исходя из сложившихся к настоящему времени представлений, глобализацию можно определить как *общемировой структурный процесс, ведущий к поэтапному преобразованию мирового пространства в единую зону, где свободно циркулируют потоки капиталов, товаров, услуг, идей*. Впрочем, любое определение глобализации будет неполным, ибо под ней имеют в виду слишком обширную совокупность тенденций. Под глобализацией понимают:

- дистанционный характер действий, совершаемых в нынешнем социуме;
- компрессию пространства и времени;
- углубление взаимозависимости политических и экономических акторов;
- сжатие мира в смысле эрозии географических границ и барьеров;
- глобальную реорганизацию отношений власти.

Соответственно, конкретные определения различаются теми аспектами, которым их авторы уделяют повышенное внимание (Held, McGrew 2002: 3). По мере развертывания упомянутых трендов создается международное институциональное, правовое и культурно-информационное поле, позволяющее формировать представление о мире как о *единой целостности*. Глобализация становится неустранимым условием не только любой социальной деятельности, но и индивидуальной человеческой жизни; она находит выражение во всех измерениях общественного бытия. Но, колоссально расширяя возможности людей, глобализация одновременно несет с собой новые риски и угрозы.

Глобализация аннулирует представление о том, что мы живем и действуем в закрытых, обособленных друг от друга пространствах; она подразумевает преодоление национальных границ человеческой деятельности в различных сферах экономики, политики, информации, гражданской жизни. Глобализация упраздняет расстояния, создавая при этом мир, в котором географические и политические барьеры никого ни от чего не ограждают и не защищают. Она до основания потрясает однородные, закрытые, замкнутые национально-государственные образования. Однако *глобализация не «отменяет» национальное государство*, хотя политические, экономические, культурно-информационные процессы вырываются за его рамки. Оно продолжает играть важную роль — прежде всего потому, что граждане пользуются возможностями глобализации через *государственные* институты: правовую систему, социальные услуги, права собственности, систему образования. «Парадоксально, но факт: не триумф, а *упадок* государственного суверенитета придал идее государственности гигантскую популярность» (Бауман 2004: 94). Поэтому глобализация и не подразумевает создания некоего всемирного государства. Она порождает *мировое общество без всемирного государства и правительства*.

Среди исследователей нет единой точки зрения о сроках начала глобализации. Так, Иммануил Валлерстайн (р. 1930) связывает их с началом становления капиталистической мировой системы, которое он датирует XV веком. Энтони Гидденс (р. 1938) полагает, что глобализация началась в XVIII столетии и была обусловлена процессами модернизации. Наконец, по мнению Говарда Перлмуттера (р. 1939), глобализация означает становление принципиально новой цивилизации, снимающей

вековечный конфликт между Востоком и Западом. Исходя из такой логики, глобализация пока вообще не начиналась.

Глобализация — не только процесс концентрации влияния, она стимулирует и децентрализацию, в ходе которой региональные и локальные общности укрепляются в соответствующих национальных контекстах. «Глобализация разобщает не меньше, чем объединяет, она разобщает, объединяя» (Бауман 2004: 10). Локальное и глобальное в ней *отнюдь не исключают друга друга*: с одной стороны, локальное можно рассматривать как аспект глобального, с другой — глобальное трансформируется при укоренении в конкретном регионе или местности. Так, агенты глобализации — в первую очередь, транснациональные корпорации, — вынуждены модифицировать свое поведение в зависимости от местного контекста («мыслить глобально — действовать локально»). В то же время региональные и локальные общности оказываются частью общемирового, глобального пространства: *место* все более широко открывается *миру*. Регионы и локальности формируют свои стратегии выживания в эпоху глобализации, которая не только резко усиливает конкуренцию между ними, но и создает собственную территориальную структуру; одним из примеров последней выступают так называемые «регионы-государства». [См. статьи *Регионализм* и *Самоуправление*.]

Иными словами, противоречие локального и глобального есть не подлинное, но мнимое, кажущееся противоречие, что нашло отражение в понятии «глокализация», означающем совмещение, наложение друг на друга «глобализации» и «локализации». Именно эта неоднозначность однозначного, фундаментально присущая глобализации, позволяет говорить о том, что «глобализация — это не один процесс, а сложное сочетание целого ряда процессов. Развиваются они противоречиво или даже в противоположных направлениях» (Гидденс 2004: 29).

II. Глобализация и политика

Политические последствия глобализации многогранны; они проявляются как на уровне отдельных стран, так и мировой политической системы в целом. Прежде всего, коренным образом пересматривается само понятие национального государства, сложившееся в Европе в XVI веке и окончательно оформившееся в XVIII–XIX веках. Основной принцип

«классической» государственности – сочетание суверенитета, территории и легитимности, – благодаря глобализационным процессам оказался серьезно девальвированным. Все большая проницаемость границ и потеря монопольного контроля над собственной территорией серьезно ограничивают государственную власть в распоряжении ресурсами, отправлении правосудия, ведении внешней политики. Понятно, что в этих условиях основы межгосударственных отношений также подверглись ревизии. В итоге формальное равенство государств, невмешательство во внутренние дела, территориальный суверенитет *более не являются политическими аксиомами* (Соорет 2003). Наиболее радикальные представители этой точки зрения утверждают даже, что сохранение вестфальской модели выгодно только странам-аутсайдерам, для которых суверенитет выступает лишь козырем в их торговле с государствами-лидерами глобализации. [См. статью *Суверенитет*.]

Взаимозависимость различных сегментов современного мира привела к небывалому распространению всевозможных международных объединений и организаций, причем как межгосударственных, так и негосударственных. Если в 1909 году в мире насчитывалось 37 межправительственных и 176 международных неправительственных организаций, то в середине 1990-х годов их было уже 260 и 5500 соответственно (Held, McGrew 2002: 11). Современное государство, опутанное сетями региональных и всемирных взаимосвязей, обеспечиваемых огромным количеством договоренностей, не в состоянии сугубо самостоятельно определять свой политический курс. Одним из наиболее поразительных новшеств глобализации стало то, что *организованное насилие*, обычно осуществляемое государственной властью индивидуально, сегодня также превратилось в *многостороннее* дело.

Обобщая, можно констатировать, что в современном мире сосуществуют две арены глобальных сообществ. Во-первых, это *общество государств*, в котором ключевую роль по-прежнему играют, хотя и со значительными оговорками, суверенитет отдельных стран и правила дипломатии. Во-вторых, это поле *транснациональной субполитики*, которая характеризуется:

– сосуществованием и постоянным взаимодействием таких непохожих друг на друга транснациональных организаций, как Всемирный банк, католическая церковь, сети ресторанов быстрого питания, наркокартели и т.п.;

– наличием транснациональных проблем типа глобального изменения климата, международной торговли наркотиками, распространения СПИДа, терроризма, которые определяют глобальную политическую повестку дня;

– разворачиванием транснациональных событий, к которым можно отнести не только президентские выборы в США или войну в Ираке, но и чемпионаты мира по футболу или конкурсы Евровидения;

– возникновением транснациональных общностей различных типов, основанных, в частности, на религии, обладании знаниями, политических или социальных предпочтениях.

Среди политических феноменов, которые ускорили после завершения Второй мировой войны становление глобального мира выделяются следующие: *отказ США от самоизоляции*, определявшей развитие этой страны до 1945 года; *деколонизация*, покончившая с фрагментацией мировой экономики на отдельные имперские зоны; *крушение СССР* и советского блока, способствовавшее утверждению капитализма на большей части Евразии. Политические последствия глобализации неоднородны: она в различной степени затрагивает разные государства. По мнению ее критиков, в глобализационной парадигме на сегодняшний день *развиваются лишь три региональные зоны* – Европа, Северная Америка и Восточная Азия, в которых осуществляется 85 процентов всех торговых операций и производится 90 процентов продукции передовых отраслей. Причем каждая из упомянутых зон в основном *замкнута на себя* – в ущерб кооперации и интеграции с партнерами (Held, McGrew 2002: 20). Опираясь на подобные данные, отдельные аналитики, перефразируя Вольтера (1694–1778), утверждают, что, подобно Священной Римской империи германской нации, которая не была ни священной, ни римской, ни имперской, новый мировой порядок не отличается ни новизной, ни глобальностью, ни упорядоченностью.

III. Глобализация и экономика

Экономическое содержание глобализации обусловлено несколькими обстоятельствами. Во-первых, современный капитал, как производительный, так и финансовый, *освободился от национальных и территориальных ограничителей*, присущих предшествующим эпохам. Во-вторых, слияние мировых рын-

ков дошло до того рубежа, за которым любая национальная экономика вынуждена постоянно *приспосабливаться к глобальной конъюнктуре*. Наконец, в-третьих, действуя в новой экономической среде, правительства вынуждены все более активно *ориентироваться на неолиберальные стратегии*, которые радикально пересматривают постулаты торжествовавшего в последние полвека «государства всеобщего благоденствия». [См. статью *Либерализм*.]

Все это в совокупности ведет к тому, что современный мир начинает функционировать как единое экономическое целое с весьма жесткими правилами игры (Фридман 2007; Friedman 2000). Как подчеркивают апологеты глобализации, нынешний этап развития экономики коренным образом отличается от предшествующих этапов. В то время как общемировому рынку *belle époque* 1890-1914 годов была присуща высокая степень протекционизма, а его активность ограничивалась владениями ведущих колониальных держав, *глобальная экономическая система сегодняшнего дня предельно открыта и всеобъемлюща*. [См. статью *Империя*.] Последнее означает, что в сферу ее действия втянуто практически все население планеты без малейших изъятий, независимо от воли и желания конкретных народов и индивидов. «Функционирующая в глобальных масштабах экономика подрывает основы национальной экономики и национальных государств» (Бек 2001: 10). Транснациональные корпорации — мотор глобализации — контролируют в настоящее время 20 процента общемирового производства и 70 процентов торговли (Held, McGrew 2002: 25). Такое положение вещей до недавнего времени позволяло некоторым специалистам рассматривать национальное государство в качестве *переходного способа экономического регулирования*, постепенно уступающего место иным, более совершенным моделям.

Подобные воззрения, однако, сталкиваются с многочисленными возражениями. Критики экономической глобализации указывают на то, что этот процесс, интегрируя региональную, национальную и глобальную элиты, одновременно углубляет пропасть между богатыми и бедными нациями. Согласно такому взгляду, глобальный мир становится все более *несправедливым*, поскольку он консервирует превосходство одних и отсталость других. Представители данной школы говорят также о *глобализации бедности*, усматривая в нынешнем варианте

экономической интернационализации новую разновидность «западного империализма» (Хэлд и др. 2004).

К тому же, по мнению скептиков, современная экономика остается далеко не столь интегрированной, как пытаются представить глобалисты. Интересно, что в подтверждение своей позиции они также ссылаются на период 1890–1914 годов, когда, по их оценкам, интенсивность и объем экономических взаимосвязей были гораздо выше, нежели сегодня. Кроме того, многие экономические системы в наши дни более закрыты, чем в прошлом, а ограниченность экономической и финансовой интеграции ощущается даже в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Наконец, в международном разделении труда принципиально ничего не меняется; как и прежде, одни продают сырье, другие готовую продукцию, и радикальных изменений сложившейся диспозиции в ближайшее время ждать не приходится (Held, McGrew 2002: 19-23).

Один из основных критических аргументов строится на том, что, вопреки всем интеграционным веяниям, любая экономическая активность в XXI веке, как и раньше, осуществляется *где-то*, на какой-то *конкретной территории*: судьба субъектов экономического действия, как больших, так и малых, по-прежнему решается на местном или региональном уровне, ибо как раз там развертывается конкуренция. Национальные правительства остаются главными участниками мировой экономики, поскольку именно они непосредственно регулируют экономическую деятельность. В то время как капитал, особенно финансовый, действительно становится глобальным, труд не переживает ничего подобного, оставаясь локальным. В результате, как отмечает Мануэль Кастельс (р. 1942), капитал и труд все дальше и дальше друг от друга, причем как по пространственным, так и по временным критериям: пространству потоков противостоит пространство мест, а «реальному» времени компьютерных сетей — часовое время повседневной жизни.

Всемирный экономический кризис, начавшийся в 2008 году, несомненно, заставит пересмотреть многие привычные воззрения на глобализацию в экономике и, особенно, в финансовой сфере. В настоящее время такое переосмысление только начинается; масштабные и достоверные обобщения можно будет сделать лишь после того, как глобальная эконо-

мика вернется в норму — или хотя в какое-то подобие былой нормы. Но уже сейчас все громче звучат голоса тех, кто настаивает на самой решительной и всесторонней ревизии концепта глобализации.

IV. Глобализация и культура

Глобализация экономической деятельности сопровождается трансформациями в сфере культуры — одновременно разворачивается процесс так называемой «культурной глобализации». Речь идет, прежде всего, об *универсализации* в смысле нивелирования, унификации стилей жизни, норм поведения, ценностных ориентиров и реакций, конвергенции символов культуры. Эти процессы, во-первых, непосредственным образом влияют на национальные культуры, складывавшиеся на протяжении последних двух столетий благодаря подъему государства-нации, а во-вторых, ставят под сомнение традиционное различие между культурными центрами и культурной периферией.

За время существования вестфальской системы национальные государства и национальные культуры решительно преобразовали политическую картину мира. Эта картина настолько укоренилась в общественном сознании, что большинство людей до сих пор воспринимает ее как вполне естественную. Прочность традиционных разграничительных линий заставляет скептиков сомневаться в самой возможности всемирной унифицирующей культуры. Они постоянно указывают на то, что глобального пула общих воспоминаний, на котором только и может возводиться новая культурная целостность, просто не существует; точно так же нет универсального «глобального мышления» и «всеобщей истории», которые могли бы объединять народы. [См. статью *Национализм*.]

Возражая, защитники глобализма подчеркивают «рукотворную» природу национальных культур; поскольку они были приспособлены для мира, в котором господствовали переживающие ныне глубокий кризис государства-нации, их нельзя считать чем-то раз и навсегда данным. Культуры *меняются*, причем наиболее поразительной особенностью культурной глобализации можно считать то, что ее осуществляют не *страны*, а *корпорации*. Так, в 2001 году сеть “McDonald’s” в среднем в день обслуживала в 25 тысячах ресторанов, расположенных в

120 странах, 45 миллионов посетителей (Britannica: 135). Более того, новые смыслы и ценности генерируются вне прямого контакта между людьми, а это значит, что ролью национального фактора в созидании новой, общечеловеческой культуры вообще можно пренебречь.

Формирующаяся глобальная культура имеет свои способы распространения, рассчитанные как на элиты, так и на широкие массы. Что касается масс, то здесь языком культурной глобализации будут, очевидно, стандарты так называемой массовой культуры. Для элиты же основным культурным кодом является то, что Сэмюэль Хантингтон (р. 1928) назвал «давосской культурой»; фактически, речь идет о международной культуре ведущих деловых и политических кругов мира. Помимо этого, можно говорить о глобализации интеллектуального сообщества — Питер Бергер (р. 1929) именует данный феномен «клубной культурой интеллигенции» (*faculty club culture*). Подобно тому, как культура деловой элиты мира формируется и распространяется через Давос и другие аналогичные форумы, клубную культуру продуцируют различные академические структуры, фонды, неправительственные организации (Britannica: 133).

Важно, однако, понимать, что разворачивающаяся в современном мире универсализация есть лишь одна из сторон культурной глобализации; последняя предполагает как *делокализацию*, так и *релокализацию* культуры. Благодаря этому мы являемся свидетелями не только проникновения всеобщих символов культуры во все слои социума и на все расстояния, но и обратного процесса — *нового подъема и расцвета традиционных, этнических, племенных культур*. Если раньше они были строго локализованы, «закреплены» в пространстве, то теперь вполне свободно мигрируют по миру, не теряя своей самобытности (Бергер, Хантингтон 2004).

Производя и сталкивая между собой различные *транскультурные* жизни, глобализация культуры отменяет отождествление национального государства и очерченного его рамками культурного сообщества. Национальное государство перестает играть роль единственного источника культурных норм, ценностей и представлений. Уходя из частной жизни граждан, власть фактически отказывается от выстраивания внутригосударственных кодексов и правил поведения. На смену примитивной четкости взаимоотношений власти и общества в сфере культуры приходят гибкость, толерантность, уважение

особенностей и различий. В этом один из фундаментальных признаков культурного ландшафта постиндустриальной эпохи. [См. статью *Постмодернизм*.]

V. Антиглобализм

Процессы противодействия глобализации могут носить двойственный характер. Во-первых, возможны попытки самоизоляции того или иного социума, ухода от глобализации и ее отрицания. В подобных случаях мы имеем дело с *пассивным* сопротивлением. Такой путь способны выбирать как отдельные государства (современная Куба или Северная Корея), так и социальные группы, практикующие «альтернативный» образ жизни (некоторые религиозные секты). Во-вторых, по мере того как мир становится все монолитнее, происходит становление новых форм интернационализации, являющих собой практическую и теоретическую антитезу глобализму. В этой плоскости разворачивается *активное* противодействие глобализации (Бузгалин 2003).

Среди провозвестников антиглобалистского движения принято выделять действующую в Мексике Сапатистскую армию национального освобождения, которая последовательно выступала против договора о свободной торговле, подписанного США, Канадой и Мексикой (*NAFTA*) и вступившего в силу 1 января 1994 года. Эта партизанская группа инициировала также проведение в мексиканском штате Чьяпас «Интергалактической встречи против неолиберализма», явившейся прообразом нынешних социальных форумов противников глобализации. Впрочем, порой за точку отсчета предпочитают брать 1995 год, когда французский фермер на своем тракторе разгромил в пригороде Парижа первый “McDonald’s”.

Осенью 1999 года в ходе акций протеста, сопровождавших саммит Всемирной торговой организации в Сиэтле («битва за Сиэтл»), впервые единым фронтом выступили многочисленные протестные и инициативные группировки, ранее зачастую не испытывавшие симпатий друг к другу, но одинаково негативно относящиеся к тому пути, по которому идет современный мир. Именно тогда профсоюзные, экологические, женские, религиозные, молодежные организации впервые заявили о наличии объединенного фронта тех, кто не согласен с доминированием транснациональных корпораций в экономической

и политической жизни планеты. С этого момента в обиход вошел термин «антиглобалистское движение», обозначающий всю совокупность организаций, течений, групп, нацеленных на борьбу с социальными, экономическими, политическими и экологическими последствиями глобализации в ее нынешней, «либеральной» форме.

Разнородность состава не позволяет противникам глобализации создать постоянные организационные структуры и формы. Их движение крайне противоречиво, у него отсутствует устойчивая идеология, нет общего видения тактических и стратегических вопросов борьбы с нынешним порядком и возможных альтернатив ему. Указывая на хроническую «рыхлость» собственных рядов, антиглобалисты подчеркивают, что не стремятся к захвату политической власти, а приверженность сетевым методам работы рассматривается ими не как слабость, но как достоинство. Несмотря на разнообразие взглядов и мнений, все составляющие антиглобалистского движения сходятся в *неприятии неолиберальной версии капитализма* и международных финансово-экономических институтов, которые ее поддерживают, — транснациональных корпораций, Всемирного банка, Международного валютного фонда, Всемирной торговой организации.

Основные формы антиглобализма включают массовые акции и кампании протеста, повседневную организационную работу по противодействию глобализации, подготовку социальных форумов. Проводимые с особым размахом *всемирные социальные форумы*, созываемые с 2001 года и задуманные в качестве альтернативы всемирному экономическому форуму в Давосе, стали главным пропагандистским оружием противников глобализации. Наряду с этими мероприятиями, в которых принимают участие десятки тысяч человек (так, всемирный социальный форум 2004 года, проходивший в Бомбее, собрал 80 тысяч делегатов), регулярно проводятся континентальные социальные форумы — первый европейский состоялся во Флоренции в 2002 году, а первый азиатский в Хайдарабаде в 2003 году.

Действуя на территории тех или иных национальных государств, антиглобалисты видят в них свою естественную опору. Призывы к укреплению национального суверенитета и национальной власти в противовес «транснациональному контролю» разделяются антиглобалистскими группами как развитых, так

и развивающихся стран. Среди популярных альтернатив нынешней системе политических отношений выделяются идеи «новой гражданственности», предполагающие вовлечение граждан в процесс выработки и принятия решений на всех уровнях государственного управления. Широкую известность приобрел, в частности, «бюджет участия», который формируется при непосредственном участии граждан в управляемом троцкистами бразильском городе Порту-Алегри — месте проведения всемирных социальных форумов 2001—2003 годов.

В России антиглобалистское движение находится в стадии становления. Его организационные ячейки немногочисленны, акции протеста весьма редки, общественное влияние незначительно.

VI. Глобализация и Россия

Процессы глобализации и дискуссии о ней достигли нашей страны и потрясли ее со значительным опозданием. Шок от глобализации оказался тем более сильным, что *открытие* России миру совпало с процессами крушения прежней политической системы, началом демократического транзита, необходимостью скорейшего формирования национальной государственности и национального самосознания.

В идущих сегодня в России интеллектуальных и политических дебатах нынешний этап глобальных преобразований оценивается крайне неоднозначно (Согомонов, Кухтерин 2001). Дело осложняется тем, что превращение мира в глобальное целое застало Россию врасплох: переходное состояние, в котором мы оказались после краха коммунизма, *не позволяет нашей стране в полной мере участвовать в строительстве нового мирового порядка*. Иными словами, выступая мощным стимулом обновления российского общества, глобальные процессы в то же время угрожают «заморозить» наше нынешнее отставание и навечно превратить Россию в сырьевую кладовую стран-лидеров. Выбор отечественного пути будет определяться тем, как наше общество сумеет адаптироваться к новым веяниям и какая линия, в конечном счете, возьмет верх — отторжение глобализации как «зловредной интриги Запада» или, напротив, восприимчивость к задаваемым ею новым правилам мышления и действия. Можно констатировать, что радикальной смены парадигмы пока не произошло: за годы демократических

реформ мы так и не смогли стать открытым обществом, ориентированным в будущее.

При этом главная опасность состоит не столько в присущих нашему обществу фобиях славянофильского толка и диктуемых ими нерациональных стратегиях (Панарин 2000), сколько в явном отсутствии у нынешнего руководства продуманного и осмысленного суждения о том, что представляет собой новая эпоха и как надо реагировать на ее вызовы. В итоге российское государство впадает в ошибку, которую шахматисты называют «потерей темпа»: ходы делаются, но никакого движения вперед не происходит. К реалиям постиндустриального мира мы продолжаем подходить с критериями, унаследованными от эры модерна, а это, в конечном счете, обойдется России недешево. [См. статью *Постмодернизм*.]

Интересно, что на индивидуальном уровне привыкание россиян к глобализации идет легче, нежели на уровне общества в целом. В России, как и всегда, наблюдается довольно хаотичное смешение исторических пластов: в то время как некоторые социальные страты и, прежде всего, образованная молодежь, с легкостью вписываются в новый миропорядок, другие слои и даже целые территории по-прежнему находятся за пределами современности. Более того, глобализация резко усиливает фрагментацию нашего общества, как вертикальную, когда возникают огромные разрывы между «приобщившимися» и «не сумевшими приобщиться» слоями населения, так и горизонтальную, когда фундаментально усиливаются межрегиональные диспропорции. В частности, вхождение национальной экономики в глобальный рынок формирует территориальную структуру, в основе которой оказывается раскол между столичными регионами («островами глобализации»), с одной стороны, и периферийной «остальной Россией» — с другой.

Литература

- Бауман З. 2004. Глобализация. Последствия для человека и общества. М.: Весь мир.
- Бек У. 2001. Что такое глобализация? М.: Прогресс-Традиция.

- *Бергер П., Хантингтон С. (ред.).* 2004. Многоликая глобализация. Культурное разнообразие в современном мире. М.: Аспект Пресс.
- *Бузгалин А.В. (ред.).* 2003. Альтерглобализм: теория и практика «антиглобалистского» движения. М.: УРСС.
- *Гидденс Э.* 2004. Ускользящий мир: как глобализация меняет нашу жизнь. М.: Весь мир.
- *Панарин А.С.* 2000. Испытание глобализмом. М.: Русский национальный фонд.
- *Согомонов А., Кухтерин С. (ред.).* 2001. Глобализация и постсоветское общество. М.: Стови.
- *Фридман Т.* 2007. Плоский мир. Краткая история XXI века. М.: АСТ.
- *Хэлд Д., Макгрю Э., Гольдблатт Д., Перратон Д.* 2004. Глобальные трансформации: политика, экономика и культура. М.: Праксис.
- *Cooper R.* 2003. The Breaking of Nations: Order and Chaos in the Twenty-first Century. London: Atlantic books.
- *Friedman T.* 2000. The Lexus and the Olive Tree: Understanding Globalization. New York: Anchor books.
- Globalization and Culture // *The New Encyclopedia Britannica.* London, 2005. 15th ed. Vol. 20. P. 133-137.
- *Held D., McGrew A. (eds.).* 2002. The Global Transformations Reader: An Introduction to the Globalization Debate. Oxford: Polity Press.

Демократия

I. Философские основы демократии

Демократия — такая форма правления, которая предлагает весьма эффективный ответ на один из самых фундаментальных политических вопросов: как обеспечивать принятие коллективных решений мирными средствами? Это наиболее влиятельная политическая *идея* XIX столетия, ставшая к началу XX века политической *реальностью*, а к его окончанию — универсальной, хотя и не всеми принимаемой, *нормой* политического устройства. Вместе с тем минувшие десятилетия дали немало примеров того, как демократия, формально сохраняясь в качестве определенной системы институтов и совокупности процедур, утрачивала свой изначальный смысл. С утверждением демократии выяснилось, что демократический политический порядок оказался весьма уязвимым по отношению к различным дестабилизирующим факторам. Опыт развития демократических режимов, а также неудач и провалов демократии, неизбежно ставит вопросы о сути и смысле этого феномена, характере и типах демократического транзита, условиях стабильного функционирования демократической государственности.

Несмотря на впечатляющие успехи последнего времени, понятие «демократия» до сих пор не обрело какого-либо общепризнанного, всех устраивающего наполнения. В плане практической политики его применяют к целому набору политических систем, объединенных зачастую лишь наименованием. Наиболее простое и короткое определение гласит, что демократия — это власть народа. Следуя традициям американских просветителей, можно сказать, что демократия есть власть народа, осуществляемая самим народом и для народа (“government of the people, by the people and for the people”). Современные модели демократии основаны по преимуществу на политических идеях Нового времени и Просвещения. Формы демократического опыта продолжают совершенствоваться и сегодня, однако основополагающее сочетание двух дополняющих друг друга аспектов народовластия, *всенародности* и *суверенитета личности*, принимается сторонниками демократии как аксиома. Правда, комбинации упомянутых элементов зачастую трактуются по-разному, что отразилось в формулировании

классиками политической мысли XVII–XIX веков двух теоретических парадигм демократии – либерально-демократической и радикально-демократической (Hague, Harrop 2001).

Либерально-демократические концепции исходят из предпосылки обособленного существования индивида в рамках общества. В соответствии с ними свобода человека означает его *моральную автономию* в выстраивании собственной жизни и правил общения с другими индивидами. На основе договора между автономными личностями возникает государство, которое *ограничивается правом*, то есть равной для всех внешней мерой свободы. Частная жизнь имеет приоритет по сравнению с жизнью общественной, а право всегда выше, нежели любое общественное благо. Таким образом, либерально-демократическая парадигма допускает существование государства лишь в качестве неизбежного зла, в роли своеобразного «ночного сторожа». [См. статью *Либерализм*.] Такое государство может образовываться только согласно договору между гражданами, а его представители утверждаются по выбору населения. Оно должно строиться по принципу разделения властей, его должностные лица действуют, руководствуясь правом и собственной совестью, а свобода в нем ограничена исключительно законом. Демократия функционирует на основе, прежде всего, *представительных институтов*.

Исходя из радикально-демократических концепций, человек есть в первую очередь существо социальное, то есть принимающее и разделяющее ценности общества. Государство, возникающее на основе договора, ограничено, тем не менее, суверенитетом народа; фактически, суверенный народ способен по собственной воле *пересмотреть любой договор*. Свобода индивида обеспечивается лишь тогда, когда народ, по своему разумению и через своих представителей вырабатывающий законы государства, свободен в целом. Радикально-демократическая теория, в отличие от либерально-демократической теории, подчеркивает *главенство общего блага* над индивидуальным благом, а под свободой понимает гражданскую свободу. Важнейшим принципом организации политической жизни здесь выступает единство народа, а наиболее распространенной формой демократического участия оказывается *прямая демократия*.

Принципиальное расхождение упомянутых подходов коренится в противоположности их взглядов на *проблему большин-*

ства. Если в первом случае основное внимание уделяется тому, как в условиях всеобщего волеизъявления защитить остающихся в меньшинстве, то во втором этот аспект представляется малозначительным, ибо считается, что суверенный народ способен рассмотреть и решить большинством голосов любой вопрос, в том числе и касающийся обеспечения прав того или иного меньшинства. Отсюда, кстати, проистекает главное внутреннее противоречие демократии — противоречие между неизбежно мажоритарным характером народного правления и необходимостью сдерживать тиранию большинства (Милль 2006; де Токвиль 1992).

II. Исторические формы демократии

По мнению американского политолога Роберта Дая (р. 1915), «демократию, так же как и огонь, живопись, письмо, изобретали не однажды и не в одном месте» (Даль 2000: 15). Тем не менее, наибольшее количество документальных свидетельств о первых системах правления, опирающихся на *регулярное принятие коллективных решений*, касается такой формы социально-экономической и политической организации общества, как древнегреческие полисы. Ведущую роль среди них играли Афины, где, собственно, и появился сам термин «демократия».

Центральное место в функционировании полиса играло *народное собрание*, к работе в котором привлекалось все свободное мужское население. Оно заседало около сорока раз в год. Постепенно собрание добилось права наделять должностных лиц полиса властными полномочиями и благодаря этому обрело верховенство над прочими политическими акторами. В демократических Афинах большое внимание уделялось обеспечению максимально широкого участия граждан в управлении и предотвращению узурпации власти. Большинство должностей с VI—V веков до н. э. замещалось по жребию, открывавшему максимально широкий доступ к управленческим должностям. Народное собрание могло изгнать из полиса политика, стремившегося к установлению тирании. Со времен Перикла (490—429 до н. э.) афинянам начали платить деньги за работу в качестве должностных лиц, а также за каждый день участия в народном собрании, что позволяло даже малоимущим приобретать к политической жизни. Был утвержден основополагаю-

щий демократический принцип равенства граждан (Даль 2000: 17–18; Мельвил 2002: 200–203; Hague, Harrop 2001: 16–18).

Афинская демократия стала первейшим образцом *прямой демократии*, при которой от всех граждан требуется высокий уровень политического участия. В последующие века этот исходный образец совершенствовался и уточнялся в Риме, а затем в городских коммунах средневековой Европы. Особенно преуспели в этом деле итальянские города-республики (Патнэм 1996: 151–170). Другая ветвь демократии в тот же период развивалась на севере европейского континента, где появилась своя система народных собраний, основанных на политическом равенстве свободных общинников (Даль 2000: 22–26). Но, наряду с накоплением позитивного опыта, эксперименты с прямой демократией неоднократно подтверждали, что отсутствие профессионального и постоянно действующего бюрократического аппарата, а также требование непосредственного участия всех граждан в отправлении власти влекут за собой неэффективность управления.

С наступлением Нового времени развернулась модернизация идеологии и практики народовластия, означавшая, прежде всего, придание элементам демократии большей суверенности и легитимности. Народные собрания постепенно становятся собраниями законодательными, причем наибольшее развитие данный процесс получил в Англии. Здесь, по словам Даля, «эта эволюция привела к созданию конституционной системы, при которой король и парламент взаимно ограничивали власть друг друга, а внутри самого парламента власть наследственной аристократии, заседавшей в палате лордов, уравнивалась властью народа, чьи представители избирались в палату общин» (Даль 2000: 26). Впрочем, описанная система еще не была демократией в полном смысле слова. Лишь в XIX столетии диффузия власти, обусловленная массовым распространением грамотности и набирающей обороты индустриализацией, трансформировала древние институты прямой демократии в представительные органы, избираемые на основе неуклонно расширяющегося избирательного права.

В конце XVIII века с образованием Соединенных Штатов Америки английские парламентские традиции получили новый импульс. Экспорт представительных институтов и англосаксонского права в Новый свет стал важнейшей особенностью британской колонизации. Высочайшая степень равноправия

граждан, относительное имущественное равенство, а также изобилие ресурсов, наблюдавшиеся в североамериканских колониях, создавали предпосылки для совершенствования демократических институтов и процедур, включая всеобщую выборность государственных должностей, укрепление независимости суда, формирование системы сдержек и противовесов. Здесь активно разрабатывался принцип *делегированного* народовластия: идея представительства казалась идеальным методом приспособления классической демократии к реалиям больших государств (де Токвиль 1992).

Интересно, однако, что на раннем этапе истории США понятие демократии не пользовалось популярностью; американцы предпочитали называть свою систему правления *республиканской*. В частности, Джеймс Мэдисон (1751–1836) призывал различать чистую демократию, под которой понималось «общество, состоящее из небольшого числа граждан, собирающихся купно и осуществляющих правление лично», и республику, под которой разумелось «правительство, составленное согласно представительной системе» (Федералист 2000: 83). Для теоретиков американской государственности было важно обосновать переход от прямой демократии, сопряженной с заметными практическими неудобствами и рисками, к демократии представительной, наиболее соответствовавшей потребностям новорожденной федерации бывших британских колоний. [См. статью *Федерализм*.] Кроме того, неприятие демократии отчасти было вызвано и тем, что этот порядок ассоциировался с недостаточным обеспечением прав меньшинства. Только в первой половине XIX столетия термины «демократия» и «демократ» постепенно вернулись в американский политический лексикон; как раз к этому времени система правления в США стала более или менее отвечать критериям современной демократии. Что же касается европейского континента, то здесь сильный толчок процессам демократизации дала Великая французская революция, открывшая для Старого света эру либерализма и свободного рынка и способствовавшая распространению радикально-мажоритарных идей.

III. Современные модели демократии

Как отмечалось выше, в настоящее время в мире существуют различные практические модели демократии,

что отражает разнообразие в теоретических интерпретациях этого феномена (Иноземцев 2006; Мельвиль 2002: 211–234). Так, *классический либерализм* видит в демократии не столько политический порядок, предполагающий активное участие граждан в политической жизни, сколько механизм, защищающий индивида от произвола властей и покушений со стороны сограждан. В частности, Джон Локк (1632–1704) и Шарль Луи Монтескье (1689–1775) в своих сочинениях говорили о необходимости конституционных ограничений власти, которые должны находить свое выражение в разделении полномочий и автономном характере законодательной, исполнительной и судебной власти. [См. статью *Либерализм*.]

Фактически, на идее ограничения власти государства через систему формальных и неформальных правил базируется и концепция *охранительной демократии*, над разработкой которой работали утилитаристы Иеремия Бентам (1748–1832) и Джеймс Милль (1773–1836). Странники указанной модели полагали, что демократия не может быть прямой, иначе она вырождается в «тиранию большинства», но должна реализовываться через представительные учреждения. Сходные идеи развивали и теоретики *представительной демократии*. Так, упоминавшийся выше Мэдисон, один из отцов-основателей конституционного порядка США, полагал, что чистая демократия есть правление толпы, которая слишком необразованна для того, чтобы защитить себя от демагогов и популистов. Согласно концепции представительной демократии, центральное место в политическом процессе принадлежит парламенту как основанию любой политической власти и высшему выражению всеобщего избирательного права.

Знаменитый французский философ Жан-Жак Руссо (1712–1778) разрабатывал концепцию *развивающей демократии*, в рамках которой целью демократического устройства оказывалась не защита чьих-либо индивидуальных интересов, но саморазвитие свободной личности; иными словами, в его интерпретации демократия выступала средством, обеспечивающим расширение индивидуальной свободы. В то же время, полагал Руссо, свобода каждого естественным образом выражается в подчинении общей воле, которая и есть истинная воля гражданина. Склоняясь перед коллективом, личность по-прежнему остается свободной и, более того, обретает максимальное соответствие своей подлинной природе. В свою

очередь, для английского философа и экономиста Джона Стюарта Милля (1806–1873), пересматривавшего наследие Руссо в либеральном духе, развивающая основа демократии выражалась в ее образовательной ипостаси, поскольку через участие в политической жизни граждане начинают, как он полагал, лучше понимать суть политических процессов и тем самым достигают более высокого уровня саморазвития.

В отличие от либеральных концепций, *марксистская теория* считала представительную форму демократии одним из инструментов классового господства буржуазии. Марксисты понимали под демократией не политическую, но социальную категорию, которая означает общественное равенство на основе коллективного владения собственностью. По мнению Карла Маркса (1818–1883), подлинная демократия — это *общество без государства*, построенное в результате революционного ниспровержения капитализма. Идеи Маркса развивал Владимир Ленин (1870–1924), который писал об «урезанной», «убогой», «фальшивой» демократии для богатых в буржуазном обществе и, соответственно, о «подлинной» демократии для народа, которую может обеспечить только диктатура пролетариата. [См. статьи *Революция* и *Социализм*.]

После Второй мировой войны политологи, пытающиеся разобраться в причинах краха либерального политического порядка в 1930-е годы, фактически восстановили классический идеал демократии. Итогом этой интеллектуальной работы стала концепция *партиципаторной демократии*, которая предполагает не только активное участие граждан в политическом процессе, но и распространение принципа участия на негосударственные общественные институты — прежде всего, на трудовые коллективы. Согласно этой модели, политическая вовлеченность граждан сама по себе защищает общество от принудительных решений, не отвечающих его интересам, а также способствует самосовершенствованию личности. Основными механизмами партиципаторной демократии являются *референдум*, *инициатива* и *отзыв*.

Если партиципаторную демократию можно назвать «демократией для всех», то *элитарная демократия* представляет собой «демократию для избранных», поскольку с точки зрения ее сторонников основополагающим принципом упорядоченности социума является его деление на элиту (правлящее меньшинство) и массу (неправлящее большинство). Один из

родоначальников данной концепции, политический мыслитель и экономист Йозеф Шумпетер (1883–1965), считал, что в демократическом обществе все принципиальные решения должны приниматься лишь опытной и профессиональной элитой – при ограниченном контроле со стороны большинства, то есть всех остальных граждан. В рамках такой модели выборы выступают лишь средством повышения ответственности элиты, а сама демократия оказывается не более чем институциональным устройством для принятия политических решений.

Согласно наиболее распространенной сегодня теории *плюралистической демократии*, основное ее предназначение – защита прав и интересов различных меньшинств: политических партий, общественных организаций, социальных групп. При этом ни одна из подобных структур не может доминировать (Лейпхарт 1997). Основными характеристиками демократии данного типа являются конкуренция между партиями в ходе выборов и наличие у всех заинтересованных групп возможности свободно отстаивать собственные взгляды. Такая диспозиция гарантирует надежную связь между управляющими и управляемыми. Сторонники рассматриваемой концепции полагают, что «группы интересов» представляют настроения граждан гораздо эффективнее, нежели они сами. Подобная постановка вопроса, естественно, вызывает критику самой концепции из-за «недостаточной репрезентативности» фиксируемых в обществе позиций и интересов, пассивной роли гражданина в политической деятельности и опасности вырождения демократического процесса в серию сделок между наиболее мощными лоббистскими группировками.

В настоящее время теоретическое представление о демократии становится более емким: она воспринимается не только как определенный институциональный базис, но и как система мировоззренческих подходов к взаимоотношениям между людьми. Наиболее последовательно разграничение между идеалами демократии и присущим ей институциональным дизайном проводит Роберт Даль. Для обозначения институционального дизайна демократии он предложил понятие *полиархии* (Даль 2003), которое подчеркивает приоритет *политического плюрализма* и способность демократических институтов обеспечить *согласование интересов индивидов и групп без утраты их автономии*. По мнению Даля, критерии демократического

процесса включают, по крайней мере, пять пунктов (Даль 2000: 41–42):

- эффективное участие граждан («прежде чем политика ассоциации будет принята ее членами, все они должны иметь равные и действенные возможности для изложения своих взглядов на существо этой политики другим членам ассоциации»);
- равное голосование (всем членам ассоциации «должны быть предоставлены равные и реальные возможности для голосования»);
- понимание, основанное на информированности («каждый член ассоциации должен получить равные и реальные возможности для ознакомления с политическими альтернативами и их вероятными последствиями»);
- контроль повестки дня («члены ассоциации должны иметь эксклюзивные возможности для принятия решения относительно того, какие вопросы и в каком порядке подлежат обсуждению»);
- участие совершеннолетних («все резиденты, достигшие совершеннолетия, должны в полной мере обладать гражданскими правами, предусмотренными первыми четырьмя критериями»).

Неотъемлемым принципом полиархии выступает представительный характер власти, который реализуется через *выборность*. Очевидно, что выборы могут проводиться не только в демократиях, однако лишь демократические выборы отличаются *необратимостью* результатов, а также *повторяемостью*. Полиархия означает, что выборы имеют всеобщий, свободный, равный и конкурентный характер. Главное в современном понимании демократии состоит в том, что она создает определенные условия для реализации поставленных ею гуманистических целей, однако не гарантирует *предсказуемости* результатов: демократия есть *определенность процедур при неопределенности результатов* (Пшеворский 1999). Таким образом, в этой системе нет — и не может быть — внутренних механизмов, которые полностью исключили бы приход к власти авторитарных и тоталитарных группировок.

IV. Переход к демократии

Демократия в современном мире распространялась и утверждалась неравномерно (Hague, Harrop 2001: 20–23). В целом исследователи выделяют три волны демократизации, каждая из которых имеет свою географию, генезис, характеристики развития. Так, Сэмюэль Хантингтон (р. 1928) в своей известной работе *«Третья волна: демократизация в конце XX века»* (1991) дает следующую периодизацию: первый подъем волны – 1828–1926 годы, первый спад – 1922–1942, второй подъем – 1943–1962, второй спад – 1958–1975 годы, начало третьего подъема – 1974 год (Хантингтон 2003). (В книге не учитывается опыт последнего десятилетия XX века.) Первая волна демократизации обусловила становление 29 демократий, в основном либеральных по духу, с партийными системами, широким избирательным правом, парламентаризмом. Попятное движение было связано с возникновением и распространением фашизма и возвращением ряда стран к авторитарным и даже тоталитарным методам управления.

Вторая волна демократизации возникает с окончанием Второй мировой войны; она была обусловлена победой над фашизмом и подъемом антиколониальных движений. К началу 1960-х годов более 35 государств были включены в демократическую «орбиту», однако и здесь наблюдались попятные процессы, которые в ряде случаев привели к оформлению авторитарных или военных режимов (например, в Греции, Португалии, Испании, Чили). Особенность второй волны состояла в том, что либеральные традиции в затронутых ею странах были слабее, а политические партии, напротив, пользовались большим авторитетом. Так, в Индии, Италии, Японии на протяжении десятилетий доминировала одна политическая партия.

Наконец, третья волна демократизации начинается с разрушения авторитарных режимов на юге Европы во второй половине 1970-х годов. Затем она охватывает Латинскую Америку, некоторые государства Азии (например, Турцию и Филиппины), после чего перекидывается на Восточную и Центральную Европу (Польша, Чехословакия, Венгрия, Болгария, республики бывшего СССР в этом регионе). Хантингтон выделяет пять условий, предопределивших демократический переход в 1970-е и 1980-е годы (Хантингтон 2003):

- Делегитимация авторитарных режимов из-за экономических или военных неудач;
- Беспрецедентный глобальный экономический рост 1960-х годов, когда резко возросли жизненные стандарты, повысился уровень образования, упрочился городской средний класс;
- Глубокий перелом в доктрине и деятельности католической церкви и переход национальных церквей к противодействию авторитаризму;
- Изменение соотношения действующих на международной арене сил — США, Советского Союза, Европейских сообществ;
- Воздействие стран, оказавшихся лидерами в третьей волне демократизации, на стимулирование демократизации в других странах («эффект снежного кома»).

Что касается успеха или провала демократического перехода в каждом конкретном случае, то в предопределении итога важную роль играют несколько факторов. Важнейшим предварительным условием выступает наличие *национальной идентичности и государственного единства*, то есть нации — суверенного территориального государства и гражданского общества. [См. статьи *Национализм* и *Суверенитет*.] Иными словами, люди должны осознавать свою совместную и объединяющую государственную идентичность. Дополнительными условиями перехода к демократии выступают *экономические* факторы — уровень индустриализации, степень урбанизации, показатели грамотности, развитие средств массовой информации. Понятно, что сами по себе они ни в коей мере не являются гарантией успеха; как известно, многие недемократические режимы также отличаются высоким уровнем развития экономики. Важен не столько экономический прогресс как таковой, сколько одно из его возможных последствий — формирование массового среднего класса как социальной базы поддержки демократии. Наконец, в качестве предпосылки перехода к демократии выступают и определенные *культурные условия*, прежде всего распространение в обществе ценностей и ориентиров, способных противостоять патриархальным или коллективистским установкам и базирующихся на идеях личной свободы, индивидуализма, рационализма (Мельвил 2002: 251–253). [См. статьи *Самоуправление* и *Традиция*.]

В хронологии демократического транзита формально выделяются три стадии: либерализация, демократизация и консолидация (Мельвиль 2002: 253–255; O'Donnell et al 1986). На этапе *либерализации* происходит закрепление некоторых гражданских свобод без коренного преобразования режима, то есть сама политическая система еще остается недемократической, хотя ее контрольные механизмы работают все менее эффективно. Либерализация может проводиться как по инициативе верхов, так и под давлением низов. При этом конфликт в отношении выбора дальнейших путей развития общества постоянно обостряется, и с целью предотвращения его крайней эскалации главные элитные группировки, как правило, заключают формальное соглашение об основных правилах своего поведения – политический пакт.

С этого момента начинается вторая стадия – стадия *демократизации*, содержанием которой является создание новой системы политических институтов. Для их запуска необходимо присоединение к пакту новых элитных групп и поддержка его максимально широкими общественными кругами. Это, в свою очередь, обеспечивает возможность проведения первых, основополагающих, выборов, в ходе которых крайне важно поддерживать состязательность и представительность. Закрепить достижения демократизации можно только через неоднократное воспроизведение выборного процесса, по одним и тем же правилам и в конституционно установленные сроки. Если это удается сделать, можно говорить о консолидации демократии.

От успеха третьей стадии транзита – *консолидации* – зависит, станет ли переход к демократии временным или устойчивым. На этой стадии переходному обществу предстоит решить несколько ключевых проблем. Согласно Хантингтону, можно выделить три типа таковых: а) проблемы перехода; б) контекстуальные проблемы; в) системные проблемы (Хантингтон 2003). Проблемы перехода включают успешное становление новой избирательной системы, трансформацию законодательства, замену чиновников старого режима и так далее. Контекстуальные проблемы определяются самой природой переходящего к демократии общества и, следовательно, имеют резко выраженную специфику в каждой из стран. Среди них – бедность, инфляция, региональные конфликты. Наконец, системными проблемами выступают внутренние проблемы

самой демократии. Однако если стабильные демократические государства умеют их решать, то для новых демократий такие проблемы могут быть весьма сложными. Речь идет о неспособности обеспечивать компромиссные решения, доминировании крупных экономических интересов, неумении противостоять демагогии и популизму. Именно поэтому дорога к демократии зачастую оказывается не линейной, но извилистой, изобилующей отступлениями и попятными движениями (Тилли 2008).

V. Демократический переход в России

В Советском Союзе переход к демократии начался во второй половине 1980-х годов с «перестройки» и «гласности», которые отметили развертывание первой стадии демократического транзита, то есть либерализации. Но в целом противостояние между уходящими и нарождающимися элитами завершилось уже в новом государстве — в Российской Федерации — с принятием в декабре 1993 года Конституции РФ. Казалось бы, конституционный договор в целом определил и продолжает определять общие правила политического взаимодействия элит, ибо все последующие выборы в Государственную думу и избрание Президента России проходили на основе принятых тогда конституционных правил. Однако, по сути, то был не добровольный пакт, но документ, навязанный обществу в ситуации острой конфронтации, которая разрешилась насильственным путем.

В силу указанного обстоятельства вторая стадия демократического транзита в нашей стране фактически не состоялась; подлинной институционализации, то есть передачи власти от группы лиц к совокупности *институтов* в нашей стране так и не было. В итоге созданные новым режимом институты носили декоративный характер, а доминирование неформальных правил и установлений оставалось определяющей характеристикой политического устройства России вплоть до конца 1990-х годов и, по мнению многих исследователей, продолжает преобладать и сегодня. Помимо этого, отсутствовали и другие базовые предпосылки удачного перехода: не была решена проблема национальной идентичности, не сформировались культурные составляющие транзита, неблагоприятно выглядели экономические показатели. Наконец, не нашла разрешения крайне важная для страны такого масштаба территориальная проблема:

не был определен формат взаимоотношений федерального центра и регионов. К концу 1990-х годов федеральный центр прогрессирующими темпами терял рычаги воздействия на ход политических процессов в регионах.

На этом фоне с 1999 года в России начинается оформление контуров нового политического режима, что проявилось, прежде всего, в укреплении силовых учреждений — службы безопасности, органов внутренних дел, армии. Приоритетной задачей провозглашается усиление государства; на смену эйфории по поводу всемогущества рынка и универсальности рыночных механизмов, наблюдавшейся в первой половине 1990-х годов, пришло отношение к государственному аппарату как к самому эффективному инструменту решения экономических задач. С началом нового тысячелетия всесторонне усиливаются *авторитарные характеристики* российского политического ландшафта: резко падает роль парламента, из правящей группы удаляются наиболее состоятельные люди и представители региональных элит, последовательно ущемляется гражданское общество, активно регулируется деятельность прессы. Новыми свидетельствами авторитаризации режима стали всеобъемлющие изменения в избирательной системе и состоявшийся в 2004 году отказ от прямых выборов губернаторов, изгнавшие из федеральной политики остатки политической конкуренции.

Учитывая отмеченные обстоятельства, сегодня довольно трудно с оптимизмом оценивать дальнейшие перспективы развития в России демократической политики. С каждым годом страна все более явственно приобретает черты политического феномена, который именуют «нелиберальной» или «половинчатой» демократией (*“non-liberal democracy”* или *“semi-democracy”*) и который представляет собой устойчивую комбинацию демократических и авторитарных элементов (Hague, Harrop 2001: 27–30). Права и свободы граждан в подобных системах поощряются лишь до тех пор, пока это не угрожает интересам режима. Подводя итоги российского демократического транзита, американский политолог Фарид Захария (р. 1964) пишет: «Ельцин почти ничего не сделал для выстраивания в России политических институтов. Фактически, он активно содействовал ослаблению всех конкурирующих с ним центров власти — судов, губернаторов и законодательных органов. Конституция 1993 года, которую он оставил России,

— это настоящее бедствие. Она породила слабый парламент, зависимую судебную власть и президентство вне всякого контроля. ... Путин развил главное, что унаследовал от Ельцина, — институт суперпрезидентства, а не либеральные реформы» (Закария 2004: 92). Сегодня к этому диагнозу почти нечего добавить.

«Половинчатую» демократию и оценивать можно лишь двойственно. С одной стороны, оптимисты предлагают считать ее закономерным этапом в вызревании подлинно демократической системы, временным «привалом» на пути от авторитаризма к народовластию; с другой стороны, пессимисты видят в ней довольно устойчивый способ управления экономически бедным и социально несправедливым социумом. По-видимому, непоследовательный демократизм выступает своеобразным компромиссом между местными элитами и международными организациями, настаивающими на проведении в экономически слабых государствах либеральных реформ. Подобная система способна воспроизводить себя в течение весьма продолжительного времени. Иными словами, на скорую и бесповоротную демократизацию России рассчитывать не приходится.

Литература

- *Даль Р.* 2003. Демократия и ее критики. М.: РОССПЭН.
- *Даль Р.* 2000. О демократии. М.: Аспект Пресс.
- *Закария Ф.* 2004. Будущее свободы: нелиберальная демократия в США и за их пределами. М.: Ладомир.
- *Иноземцев В. (ред.).* 2006. Теория и практика демократии. Избранные тексты. М.: Ладомир.
- *Лейпхарт А.* 1997. Демократия в многосоставных обществах: сравнительное исследование. М.: Аспект Пресс.
- *Мельвилль А.Ю. (ред.).* 2002. Категории политической науки. М.: РОССПЭН.
- *Милль Дж. Ст.* 2006. Рассуждения о представительном правлении. Челябинск: Социум.
- *Патнэм Р.* 1996. Чтобы демократия сработала. Гражданские традиции в современной Италии. М: Ad Marginem.
- *Пшевворский А.* 1999. Демократия и рынок. Политические и экономические реформы в Восточной Европе и Латинской Америке. М.: РОССПЭН.

- *Тилли Ч.* 2007. Демократия. М.: Институт общественного проектирования.
- *Токвиль А. де.* 1992. Демократия в Америке. М.: Прогресс.
- *Федералист.* 2000. Политические эссе А. Гамильтона, Дж. Мэдисона и Дж. Джея. М.: Весь мир.
- *Хантингтон С.* 2003. Третья волна: демократизация в конце XX века. М.: РОССПЭН.
- *Hague R., Harrop M.* 2001. Comparative Government and Politics: an Introduction. 5th ed. Basingstoke: Palgrave.
- *O'Donnell G., Schmitter P., Whitehead L. (eds.).* 1986. Transitions from Authoritarian Rule. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.

Империя

I. Определение империи и ее структурные особенности

Возродившийся интерес к имперской проблематике, фиксируемый сегодня в политической и исследовательской среде России, питается, как минимум, из трех источников. Во-первых, это установившаяся после «холодной войны» гегемония Соединенных Штатов Америки и становление в современном мире новых форм зависимости. Во-вторых, это оказавшийся беспрецедентным и по темпам, и по последствиям распад Союза ССР, последней мировой империи, осмысление которого продолжается до сих пор. В-третьих, это возрождение в нашей стране имперского сознания, характеризуемое, среди прочего, психологическим отождествлением понятия «империя» с понятием «великая держава» и вытекающими отсюда политическими импликациями.

Определить понятие империи крайне сложно, и поэтому среди специалистов до сих пор нет консенсуса по этому поводу; многие вообще считают, что «никакого общепринятого определения не существует и оно вряд ли возможно» (Миллер 2008: 7). Основную методологическую трудность представляет собой *неоднородная, гибридная* природа империи. С одной стороны, любая империя является политической системой, активно действующей в сфере международных отношений, то есть всесторонне вовлеченной в общемировые процессы. Однако с другой стороны, империи, в силу своей автономной структурированности, неизменно претендуют на самодостаточность, тяготея к замкнутости и изолированности. Последнее обстоятельство, кстати, отнюдь не отменяет присущего империям стремления к экспансии, распространению своего правления на все новые земли и народы.

Согласно определению американского ученого Александра Мотыля (р. 1953), под империей следует понимать «иерархически организованную полинациональную политическую систему, которую можно уподобить колесу без обода. Внутри этой системы элита ядра и созданное ею государство доминируют над периферийными элитами и обществами, выступая в роли

посредников в их важнейших взаимодействиях и управляя ресурсными потоками от периферии к ядру и обратно» (Мотыль 2004: 13). Таким образом, суть империи, как предполагается, состоит в постоянном воспроизводстве модели «доминирующий центр — подчиненная периферия», причем упомянутые элементы имперской структуры располагаются в территориально различных регионах. Соответственно, весь обмен ресурсами — деньгами, товарами, информацией, людьми — в империях идет исключительно через центр, а не напрямую между регионами. Именно поэтому «первым и ведущим признаком империи оказывается наличие в ней сверхмощного — как в институциональном, так и в ценностном отношении — макросоциального центра» (Каспэ 2008: 51). В целом же идеальный тип империи можно описать посредством сочетания нижеследующих базовых признаков: а) значительные территориальные размеры; б) этнокультурная и этнополитическая неоднородность; в) присутствие в механизмах легитимации и в политической практике универсалистских ориентаций (там же: 50–51).

Для полного понимания того, что такое империя, крайне важен вопрос о ее соотношении с государственными системами иного типа, прежде всего — с государством-нацией. Довольно часто оно трактуется неверно. Например, один из популярных словарей русского языка определяет империю как «государство, состоящее из территорий, лишенных экономической и политической самостоятельности и управляемых из единого центра» (Ожегов, Шведова 1999). Очевидно, что в такой дефиниции затушевывается основное сущностное противоречие между империей и национальным государством. Исходя из него, империей можно было считать, в частности, унитарную и централизованную Францию, пока она оставалась таковой до начала нынешних процессов децентрализации.

Между тем, модель государства-нации диаметрально противоположна имперской модели, о чем красноречиво свидетельствует вся европейская история. Европейское национальное государство рождалось как *неимперия* или даже *антиимперия*. Оно вело с империями продолжительную и упорную борьбу, в которой, в конечном итоге, одержало победу. Такие исторические события, как Вестфальский мир 1648 года и Венский конгресс 1814–1815 годов, стали мощным свидетельством того, что в качестве базы для своего дальнейшего развития европейские государства избрали совершенно не-имперскую

систему *территориальных суверенитетов*. Как политико-территориальные структуры, империя и государство-нация представляют собой «идеальные типы», которые противостоят друг другу – первый из них *отрицает*, а второй *воплощает* право наций на самоопределение. [См. статью *Суверенитет*.]

Империя повсюду и во все времена преодолевает национальную самоидентификацию. Имперская лояльность лишена этнического контекста; именно поэтому во властной элите любой империи находится место для представителей знатных родов имперской периферии. Чувство принадлежности к империи объединяет и роднит, в то время как чувство причастности к нации, напротив, обособляет и противопоставляет. Эпоха националистического подъема, в которую Европа вступила после Великой французской революции, одновременно стала эпохой заката имперской государственности. [См. статью *Национализм*.]

Особый характер отношений, связывающих ядро и периферии – вышеупомянутое «колесо без обода», – далеко не исчерпывает все характеристики империй. По-видимому, существенная их черта состоит в том, что всякая империя есть *незаконченная система*, потенциально стремящаяся к бесконечности. Помимо субординации и неравенства важную роль в описании отношений между имперской метрополией и перифериями играют этнические барьеры, географическая неоднородность, административные различия. Особые качества приобретают границы империй: поскольку имперские политити основываются на завоеваниях, их рубежи не являются естественными в физическом (географическом) или культурном смысле, но представляют собой *фронтиры* – пограничные или контактные зоны, динамично и постоянно меняющиеся.

Как уже отмечалось, всякая империя ориентирована на универсальные, абсолютные ценности, которые легитимируют имперскую экспансию и само существование имперского государства. Ключевым фактором такой легитимации выступает имперская идеология, которая может иметь различное практическое наполнение, но неизбежно базируется на риторике *завоевания* и божественного *промысла*. Отмечая это, важно понимать, что имперское правление вполне допускает широкое разнообразие культурных, политических, экономических практик и институтов, с помощью которого обеспечивается лояльность местных элит центральному ядру. «Империи по

определению являются государствами с разнообразным устройством и формами правления» (Ливен 2007: 22). Иными словами, имперское руководство, как правило, сознательно избегает чрезмерно унифицирующей и ассимилирующей политики, поскольку она может угрожать распадом имперских структур. «Приоритетом имперской власти является лояльность, то есть утверждение такой версии локальной идентичности, которая была бы совместима с лояльностью империи как по определению гетерогенной политики» (Миллер 2006: 88).

Кроме того, империя выступает как центростремительное пространство: горизонтальные и непосредственные связи между отдельными местами в империи производны от связей вертикальных и опосредованных. Формируя и воспроизводя модель «доминирующей центр — подчиненная периферия» (потоки ресурсов идут в центр, потоки инноваций, напротив, на периферии), империя создает транспортную систему особого типа. Коммуникационные сети империй — дороги, железные дороги, морские пути, — служа каналами, по которым перемещаются потоки физических ресурсов, в основном соответствуют радиальной структуре, то есть лучеобразно соединяют центр с различными участками периферии. И напротив, связи периферийных зон между собой носят случайный и фрагментарный характер; они не поощряются центральной властью и всемерно контролируются ею (Мотыль 2004: 33–37).

II. Разнообразие империй

Важнейшей причиной, объясняющей сложности выработки единого определения империи, является их широчайшее разнообразие (Doyle 1986). Так, империи можно различать по *времени их возникновения*. С этой точки зрения наиболее древними империями являются Ассирийская империя, центр которой располагался в Северной Месопотамии, а владения простирались от Средиземного моря до Персидского залива, империя Ахеменидов с метрополией в Персии и двадцатью провинциями под управлением сатрапов, Римская империя с центром в Италии и провинциями по всему Средиземноморью. (Список империй древности ими, разумеется, не исчерпывается.) С другой стороны, Германская империя — так называемый Второй рейх, — созданная в 1871 году, являлась одной из самых молодых.

Различна и *степень стабильности* империй. В целом можно говорить о том, что империи были наиболее устойчивыми политиями до наступления Нового времени. Действительно, римляне поддерживали имперское правление на протяжении пяти столетий, византийцы — почти тысячелетие, турки-османы — также более пятисот лет. Однако возникшая гораздо позже советская империя просуществовала всего лишь немногим более семидесяти лет (мы здесь опускаем вопрос об исторической преемственности между Российской империей и Советским Союзом), а созданная Отто фон Бисмарком (1815–1898) Германская империя вообще прожила очень короткую жизнь — с 1871 года до окончания в 1918 году Первой мировой войны.

Важнейшей разграничительной линией выступает *морской* или *континентальный* характер имперского государства. За каждым из этих вариантов стоит самобытный тип колонизации — «естественный», когда метрополия расширяется за счет близлежащих земель, или «морской», связанный с занятием новых заморских территорий и созданием там поселенческих общин. По мнению известного английского теоретика имперского строительства Джона Сили (1834–1905), первый вид колонизации сравнительно легок: для него достаточны «ничтожные побуждения и умеренные усилия», второй же требует «громадной механической силы» (Сили 2004: 52). Но с этим утверждением довольно трудно согласиться, особенно если принять во внимание опыт российской колонизации: она потребовала колоссальных усилий, поскольку ей подвергались земли с довольно суровыми природными условиями, к тому же отделенные от ядра обширными пространствами.

Континентальные империи в принципе тяготеют к территориальной *монолитности*, в то время как морские империи почти всегда *разорваны*. В силу вполне объяснимых причин для морских империй характерны более резкие различия между ядром и периферией. Так, они были предельно явными в британской, французской, голландской, испанской, португальской империи, где метрополией выступало соответствующее национальное государство, а периферией — по большей части заморские владения. Кроме того, имперские государства могут также сочетать монолитность (целостность) и фрагментарность. Так, если Священная Римская империя германской нации обладала высоким уровнем целостности, а Британская империя имела фрагментированный, разорванный характер,

то Германский рейх с его колониями в Европе, Азии и на Тихом океане можно назвать гибридом.

Некоторые исследователи классифицируют империи в соответствии с той степенью властного насилия, которое элиты метрополии могут применять в отношении элит периферий. Так, периферийные элиты, располагающие лишь минимальной автономией, можно считать причастными к «формальной» империи; элиты же, имеющие более выраженную политическую автономию, например, элиты Финляндии и Польши в Российской империи или элиты восточноевропейских социалистических стран во времена Союза ССР принадлежали к так называемой неформальной империи.

Разнообразие исторических типов не отменяет наличия определенной *общей логики*, описывающей жизненный цикл всех имперских государств. В силу ряда структурных особенностей, связанных с принятием управленческих решений, все империи со временем делаются неэффективными и перестают «работать». Американский ученый эстонского происхождения Рейн Таагепера (р. 1933) в серии своих статей уподобил траекторию развития империи параболической кривой, следуя которой всякое имперское государство проходит точку максимума территориального расширения, после чего наступает полоса быстрой (или медленной) деградации и последующего краха. Здесь фактор разнообразия проявляется в том, что у каждой империи – свой собственный, самобытный жизненный цикл, который может быть более или менее продолжительным и ровным (Мотыль 2004).

III. Имперский порядок в современных условиях

С Нового времени и до наших дней имперский проект демонстрировал все меньшую актуальность. Сегодня, в эпоху глобализации, вообще крайне трудно представить возрождение «классической» империи. Правда, Соединенные Штаты Америки нередко называют «неоимперией» или «империей нового типа», однако в данном случае это, скорее, фигура речи, а не строгое научное определение. Так, за редкими исключениями, в отношении США невозможно говорить о прямой территориальной экспансии – ей на смену пришло навязывание партнерам новых форм экономической и поли-

тической зависимости. Разумеется, американская идеология ориентирована на экспорт американских ценностей, однако подобное стремление сталкивается с все более осязаемым противодействием за пределами США, которое, бесспорно, будет нарастать. Поэтому говорить об успехах на данном направлении тоже, по меньшей мере, преждевременно. Более того, в самих Соединенных Штатах нет консенсуса по поводу внешних проекций «американской мечты». В последние годы на фоне неудачного вмешательства в Ираке все большее число американцев выражало свое неодобрение слишком активному навязыванию американских «правил игры» остальному миру.

Кроме того, создание и, главное, поддержание империи требует огромного потенциала. И если в отношении финансово-экономических ресурсов претензии США на имперское лидерство выглядят до известной степени обоснованными (хотя и это нередко оспаривается), то человеческих ресурсов им явно не хватает (Ferguson 2004a). Наконец, что также очень важный аргумент, сами Соединенные Штаты — государство, построенное на идеях индивидуальной свободы и демократии, которые *прямо противоречат имперскому проекту*. Таким образом, эту страну вполне можно называть глобальным лидером, присвоившим себе право нарушать международные юридические нормы, но о возрождении классической империи в отношении ее говорить бессмысленно, ибо имперские возможности здесь многократно преувеличены.

Еще менее серьезным выглядит рассмотрение имперской идеи применительно к Европейскому Союзу. Действительно, в данном случае развитие нового объединения определяется региональной экономической интеграцией (внутреннее измерение) и формированием нового центра силы (внешнее измерение). Объединение Европы можно считать уникальным примером успешной экспансии на ограниченной территории континента, но при этом Союз как целое ни в коем случае не стремится к беспредельной экспансии вовне. Политический контроль над нестабильными регионами его не привлекает; по сути, новое интеграционное объединение выступает так называемой гражданской силой (*civilian power*), основные рычаги которой имеют экономический характер.

42 Ассимилируя составляющие их народы и демократизируя институты власти, империи могут трансформироваться в многонациональные федерации (Ливен 2007). Действительно,

генетическая *взаимосвязь империи и федерации* представляет собой довольно привлекательную тему для исследователя. В частности, обращает на себя внимание тот факт, что крушение почти всех европейских империй завершилось складыванием на их месте федеративных форм государственности. Сказанное верно в отношении австро-венгерской, германской, российской империй. Британская колониальная империя, историческое ядро которой начало масштабные эксперименты с федерализмом только в XX веке в ходе процессов деволуции, оставила после себя более десятка федераций в самых разных уголках мира. Очевидно, что тема преемственности во взаимоотношениях двух внешне антагонистичных моделей, имперской и федеративной, ждет тщательного изучения (Захаров 2008: 16–44).

IV. Российская империя

Важнейшей особенностью российской колонизации, в процессе которой строилась империя, выступала главенствующая роль государства и его администрации в управлении, развитии и заселении нерусских территорий. Данное обстоятельство объясняется тем, что вплоть до конца XIX века российская экспансия определялась в основном *стратегическими*, а не *экономическими* мотивами (Каппелер 2000). Стремление укрепить свои границы, обеспечить доступ к незамерзающим портам, помешать проникновению потенциальных конкурентов на сопредельные территории – таковы ключевые факторы российской территориальной экспансии. Непрерывающееся освоение и постоянное расширение территории – ключевой процесс российской истории, и это сближает ее с иными переселенческими странами, такими как США или Канада. Вместе с тем, сам размах российской колонизации был совершенно беспрецедентным. Сталкиваясь с нехваткой сельскохозяйственных земель, русские предпочитали не совершенствовать свои трудовые навыки, но переселяться на полностью или частично свободные земли по соседству. «У населения России почти всегда существовала возможность для колонизации – вот почему оно чаще всего обращалось именно к переселению, а не к интенсификации земледелия» (Миронов 1999: 27). Данное обстоятельство предопределяло масштабность территориального распространения российского государства.

В ходе строительства Российской империи использовались все типичные для прочих имперских государств методы территориальных приобретений. В составе империи имелись земли, которые были завоеваны (Прибалтика или Польша), присоединены по договору (Грузия или Бессарабия), интегрированы в ходе хозяйственного освоения (Север или Дальний Восток). В итоге Россия была выстроена как территориально-протяженная, континентальная, сложносоставная империя, в которой метрополия в лице императорской семьи, опиравшаяся на землевладельческий класс и бюрократию, господствовала над периферией. Причем в данном отношении ни царская, ни наследовавшая ей коммунистическая империя не являлись этнически «русскими», поскольку основную роль в них играли *многонациональные* институты господства (Хоскинг 2000). Более того, в XX век Россия вошла такой многонациональной империей, в которой «титовая» нация пребывала в меньшинстве. Если в 1646 году на долю русских приходилось около 95% населения страны, то в 1917 они составляли лишь 44,5%.

Одной из ключевых особенностей Российской империи выступало то, что некоторые окраины, например, Польша и Финляндия, по уровню развития заметно превосходили имперский центр. Кстати, подобная ситуация наблюдалась и в Германской империи, где столичный регион — Пруссия — далеко отставал от территорий, расположенных вдоль Рейна. Но немецкий случай был лишен национального подтекста, в то время как в России политика, направленная на приоритетное поощрение окраинных территорий, имела четко выраженные этнические основания. «Положение русских в царской империи во многих отношениях было больше похоже на положение туземцев в европейских заморских колониях, чем “господствующей расы” этих империй» (Ливен 2007: 408). В отличие от большинства своих европейских аналогов, русская империя не была *колониальной* в прямом смысле этого термина. Наиболее весомым доказательством этого тезиса выступает тот факт, что нерусские подданные царской короны всегда платили меньшие налоги по сравнению со своими русскими соседями, а также пользовались правовыми преимуществами, позволявшими, в частности, избегать крепостной зависимости и не служить в армии. Естественно, такое положение дел не могло не вызывать недовольства русских крестьян, но государство заставляло с ним мириться.

Важнейшим фактором укрепления империи выступала имперская идеология, основанная на риторике *завоевания* и божественного *промысла*. Отметим, что стратегия имперских элит по присоединению и дальнейшей инкорпорации территорий была в высшей степени диверсифицированной, ибо единообразие в управлении различными частями государства отсутствовало, а его методы зависели от местных условий и особенностей. Более того, на включаемых в состав России землях в большинстве случаев сохранялись административные, земельные, культурные, религиозные установления, сложившиеся в предшествующий период. Нерусские элиты, наделявшиеся правами русского дворянства, привлекались к самому широкому сотрудничеству с центральной властью.

В имперской политике России в отношении той или иной территории выделялись три этапа: а) завоевание или присоединение; б) инкорпорация региона и населяющих его народов в империю; в) та или иная степень ассимиляции. Реализация российскими властями третьей стадии, как уже отмечалось, во многом предопределялась тем, что это были за территории, как и когда произошло их обретение. Так, тезис о необходимости защищать единоверцев выступал хорошим обоснованием распространения имперского режима на земли Украины или Армении. Совершенно иначе протекало присоединение Прибалтики, Польши и Финляндии. Поскольку в этих случаях оно оказывалось результатом завоевания и оформлялось международными договорными отношениями, имперское правительство гарантировало данным территориям особый статус, ту или иную степень политической автономии и особые привилегии для местного правящего класса.

V. Имперский проект в современной России

В последние годы идея возрождения имперского проекта в России приобретает все большую популярность. Реконструкция империи, по мнению многих, могла бы помочь преодолеть кризисные явления, переживаемые сегодня нашей страной, ибо в прежние времена ее великие достижения неизменно были связаны с имперской мобилизацией. Империя для нас, как утверждается в подобных случаях, означает порядок, безопасность, эффективность управления и стабильность.

Если хотя бы условно принять эти аргументы, неизбежно возникают два вопроса: во-первых, каковы географические пределы новой империи и, во-вторых, где искать ресурсы для ее строительства? Что касается географии, то очертания нового государственного целого могли бы, по-видимому, укладываться в один из следующих гипотетических вариантов: а) евразийская империя, включающая в себя все страны СНГ; б) панславянская империя в составе России, Белоруссии и Украины; в) наконец, Россия с прилегающими окраинными «русскими» территориями — Крымом, Северным Казахстаном, Приднестровьем. При детальном рассмотрении, однако, ни одна из этих опций не кажется реалистичной: СНГ все более слабеет, тесный союз между Россией и Белоруссией в действительности не нужен ни одной из сторон, а Украина с недавних пор рассматривается как потенциальный источник «оранжевой опасности» и будущий форпост НАТО. Вовлечение же периферийных территорий, находящихся под чужим суверенитетом, в российскую орбиту неизбежно приведет к новым локальным конфликтам, что в полной мере продемонстрировала «пятидневная война» на Кавказе в августе 2008 года.

Что касается ресурсов, то у России, безусловно, есть богатые природные запасы, но цены на них неустойчивы, ибо диктуются исключительно мировой конъюнктурой. Кроме того, их дальнейшее освоение требует привлечения масштабных инвестиций и передовых технологий, с которым государство пока явно не справляется. Во времена Российской империи власть располагала ресурсами и другого рода — довольно сильной армией, опытной бюрократией и, наконец, хорошо разработанной имперской идеологией. Сегодня у страны нет ни одного из перечисленных инструментов: вооруженные силы уже два десятилетия пребывают в тяжелейшем состоянии, качество управленческих кадров неуклонно снижается в силу изгнания из политической системы конкурентных начал, а имперская идеология, если даже вообразить себе ее целенаправленное формирование, без первых двух составляющих не имеет смысла.

Помимо этого, следует учитывать и внешние условия. Если советская империя в XX веке держалась на изоляции от внешнего мира, то современной России, даже при наличии нацеленной на поддержание традиционного *status quo* политической воли ее властителей, не удастся избежать всесторон-

него вовлечения в процессы глобализации. Былая закрытость страны сейчас принципиально недостижима. Таким образом, живучесть имперского мифа в России следует считать остаточным явлением, свидетельствующим о крайне болезненном процессе — медленном расставании с амбициями великой державы. Аналогичным синдромом, кстати, переболели и другие государства, которым приходилось прощаться с имперским величием.

Кажущаяся осуществимость имперской идеи питается, помимо прочего, другим мифом — о «богатстве» нашей страны. Как правило, его апологеты ссылаются на два фактора — на запасы минерального сырья и огромную территорию. Возражая им, можно сказать, что физические пространства и располагающиеся на них *неосвоенные* сырьевые запасы уже давно не являются мерилем богатства страны; в качестве таковых выступают уровень и качество жизни населения, а также социальные показатели — детская смертность, продолжительность жизни и так далее. В такой перспективе, к сожалению, Россия предстает весьма бедной страной с крайне неудачной географией.

Так что единственно возможным путем возрождения Российской империи может стать реанимация имперской политики по отношению не к сопредельным, но к своим же территориям: Дальнему Востоку, Крайнему Северу и Сибири. На сегодня можно констатировать, что наши региональные элиты оказались не в состоянии противодействовать процессам рецентрализации, они быстро капитулировали перед лицом мобилизовавшегося после поражений 1990-х годов федерального центра и в результате были удалены из рядов правящей группы. По сути, эта капитуляция и означала восстановление имперского типа отношений между центром и регионами. А отсутствие общественного интереса к сохранению федералистского проекта облегчило федеральному центру перевод диалога с регионами в новый формат. [См. статьи *Регионализм* и *Федерализм*.]

Определенной новацией в осмыслении отечественной имперской проблематики в последние годы стала концепция *гражданской империи*, согласно которой объектами управления для современных многонациональных государств должны выступать не этнические группы, а институты индивидуализированного гражданства — прежде всего, школа и армия (Куренной 2005). Именно в их рамках происходит

социализация, лишенная националистической доминанты и приобщающая гражданина к ценностям общепризнанной политической культуры, — в России, впрочем, пока отсутствующей. Национальные чувства, языки, религии вытесняются в приватную сферу; они приветствуются на личном уровне, но не допускаются в гражданскую жизнь. По-видимому, прототипом такого рода видения выступает практика «гражданской религии», утвердившаяся, как известно, в США. Обосновывая собственные построения, наши авторы подчеркивают, что альтернативой гражданской империи в России может быть только национальное государство, опирающееся на господствующую этническую группу и рассматривающее все прочие группы как меньшинства. А это, в свою очередь, порождает риск усиления центробежных тенденций и угрозу разрушения страны. [См. статью *Национализм*.] Пока изложенные выше взгляды не получили широкого распространения; более того, господствующие тенденции развития России на ближайшую перспективу прямо противоположны этим построениям.

VI. Перспективы империи в XXI веке

Продолжающаяся универсализация мировой экономической жизни и подталкиваемое ею разложение традиционных представлений о суверенитете вновь оживили тему государственных объединений, преодолевающих национально-этнические границы. В опубликованной в 2000 году работе «Империя» неомарксисты Майкл Хардт (р. 1960) и Антонио Негри (р. 1933) выдвинули идею о том, что происходящее на наших глазах ослабление суверенных характеристик национального государства *не влечет за собой размывание суверенитета как такового*. «Суверенитет принял новую форму, образованную рядом национальных и наднациональных органов, объединенных единой логикой управления. Эта новая глобальная форма суверенитета и является тем, что мы называем Империей», — пишут названные авторы (Хардт, Негри 2004: 11–12). Новый имперский порядок лишен территориально очерченного центра, а его управленческий аппарат разнороден в этническом смысле. Иначе говоря, носителем имперского суверенитета, вполне в духе постмодернизма, оказывается *сетевая структура*, в состав которой входят руководители ведущих западных стран, транснациональных корпораций

и международных экономических организаций. [См. статьи *Постмодернизм и Суверенитет.*]

Разумеется, подобное понимание имперского порядка выглядит новаторски, но в целом в структурном смысле речь идет именно об *империи* — об иерархически организованной политической системе, внутри которой (многонациональная) элита (финансово-экономического) ядра доминирует над периферийными элитами и обществами. Роль национального государства, а также значение его суверенности в таком контексте решительно обесцениваются. Время национального империализма прошло: по утверждению цитируемых авторов, «ни Соединенные Штаты, ни какое бы то ни было национальное государство на сегодняшний день не способны стать центром империалистического проекта» (Хардт, Негри 2004: 13), то есть имперское устройство нового тысячелетия заведомо отвергает этничность, ибо возможно только в масштабах планеты в целом. Классическая же империя, как уже отмечалось, относится к этнической идентичности хотя и без восторга, но с пониманием, поскольку данный фактор способен выступать в качестве важнейшего инструмента властного контроля над имперской территорией.

Как справедливо отмечает английский историк Найэлл Фергюсон (р. 1947), «эксперимент по управлению миром в отсутствие империй нельзя считать безоговорочно успешным» (Ferguson 2004: 371). Приводимые им статистические данные явно свидетельствуют о том, что имперский миропорядок в гораздо большей степени способствовал вкладыванию денег в мировую периферию, нежели нынешняя экономическая глобализация в сочетании с политической фрагментацией, сменившая раздел мира между колониальными державами. Империи не только способствовали социальному прогрессу, но и политически упорядочивали мир, снижая его конфликтный потенциал. Наконец, имперская государственность заметно облегчала межкультурный диалог европейцев с иными цивилизациями, вводя его в более или менее четкие и понятные рамки. Неуклонно растущее сегодня число «несостоявшихся» или «проблемных» государств говорит о том, что возрождение империи как ключевого игрока мировой политики было бы сегодня *вполне желаемым*. Но, вместе с тем, столь же очевидно и то, что в XXI столетии подлинно имперское бремя не по силам ни одной стране, включая Соединенные Штаты.

Иными словами, классическая империя соблазнительна, но недостижима. А это означает, что в ближайшие десятилетия человечество ожидает полоса непредсказуемых конфликтов и потрясений, обусловленная отсутствием былых имперских регуляторов.

Литература

- *Захаров А.* 2008. Унитарная федерация. Пять этюдов о российском федерализме. М.: Московская школа политических исследований.
- *Капеллер А.* 2000. Россия – многонациональная империя: возникновение, история, распад. М.: Прогресс-Традиция.
- *Каспэ С.* 2008. Центры и иерархии: пространственные метафоры власти и западная политическая форма. М.: Московская школа политических исследований.
- *Куренной В.* 2005. Гражданская империя // *Политический журнал.* № 23. 27 июня.
- *Ливен Д.* 2007. Российская империя и ее враги с XVI века до наших дней. М.: Европа.
- *Миллер А.И.* 2008. Наследие империй: инвентаризация // *Миллер А.И. (ред.).* Наследие империй и будущее России. М.: Фонд «Либеральная миссия»; новое литературное обозрение.
- *Миллер А.* 2006. Империя Романовых и национализм. Эссе по методологии исторического исследования. М.: Новое литературное обозрение.
- *Миронов Б.Н.* 1999. Социальная история России периода империи (XVIII – начало XX в.). Т. 1. СПб.: Дмитрий Буланин.
- *Мотыль А.* 2004. Пути империй. Упадок, крах и возрождение имперских государств. М.: Московская школа политических исследований.
- *Ожегов С., Шведова Н. (ред.).* 1999. Толковый словарь русского языка. М.: Азбуковник.
- *Сили Дж.* 2004. Расширение Англии // *Сили Дж., Крэмб Дж.* Британская империя. М.: ЭКСМО. С. 7–326.
- *Хардт М., Негри А.* 2004. Империя. М.: Праксис.
- *Хоскинг Д.* 2000. Россия: народ и империя (1552–1917). Смоленск: Русич.
- *Doyle M.* 1986. Empires. Ithaca: Cornell University Press.

- *Ferguson N.* 2004. Empire: How Britain Made the Modern World. London: Penguin Books.
- *Ferguson N.* 2004a. Colossus: the Price of America's Empire. New York: Basic Books.

Институты

I. Понятие «институты» в современной политической науке

Один из популярных в России политологических учебников определяет институт как «совокупность фундаментальных форм или структур общественной организации, установленных законом или обычаями конкретного человеческого общества» (Мельвиль 2002: 261). Типовые дефиниции подобного рода, на наш взгляд, не столько проясняют, сколько запутывают дело, поскольку в них без внимания остаются вопросы о том, что именно представляют собой указанные «формы» или «структуры» или как можно прояснить степень их «фундаментальности». Кроме того, здесь имеет место серьезная методологическая проблема, ибо политический институт предстает одновременно и как организация, и как набор установлений, согласно которым она функционирует. Соответственно, специалисты нередко интерпретируют институты, предпочитая однозначность и игнорируя конкурирующие трактовки. Если, например, для одних авторов политические институты есть совокупность учреждений, «которые формулируют и воплощают в жизнь коллективные цели общества или существующих в нем групп», то для других институт — это «свод установлений и правил, обеспечивающих правильное и предсказуемое поведение» (Алмонд и др. 2002: 38; Хейвуд 2005: 19).

В данной связи в гуманитарных науках неоднократно предпринимались попытки предложить более простые и четкие определения. Наиболее весомый вклад в понимание природы институтов и процесса институционального развития внес лауреат Нобелевской премии в области экономики Дуглас Норт (р. 1920), который в своей работе «Институты, институциональные изменения и функционирование экономики» (1990) определил институты как «созданные человеком ограничительные рамки, которые организуют взаимоотношения между людьми» (Норт 1997: 17). Согласно этому автору, институты задают структуру побудительных мотивов человеческого поведения — в экономике, политике, социальной сфере. Их определяющая функция заключается в том, что они упорядочивают

жизнь, определяя и ограничивая набор альтернатив, которые имеются у каждого человека, и, тем самым, *снижая риски*. «Институты существуют для уменьшения неопределенностей, сопровождающих взаимодействие между людьми» (Норт 1997: 43). Соответственно, отталкиваясь от этого фундамента, можно сформировать и более узкое понимание институтов в их политической разновидности.

Взаимоотношения между людьми организуются с помощью множества разнообразных институтов — так, в повседневной жизни люди обращаются к ним, когда хотят сделать покупки, записать ребенка в школу или зарегистрировать бизнес. Однако подобные знания действительны лишь для конкретного общества; в разных странах к ним могут предъявляться различные требования. Следовательно, между институтами, включая политические и неполитические их разновидности, есть существенные различия, хотя в целом их можно уподобить *правилам игры в командных видах спорта*. Стоит обратить внимание на то, что Норт проводит принципиальное различие между институтами и организациями. Подобно первым, вторые тоже структурируют взаимоотношения между людьми. Однако если институты являются *правилами* в «игре», то организации — это сами *игроки*. Иными словами, всякая организация есть «группа людей, объединенных стремлением сообща достичь какой-либо цели» (Норт 1997: 19–20). Роль таких групп в том, что именно они реализуют и воплощают институциональные установления и правила.

Разграничение институтов, понимаемых как «правила игры», и организаций, функционирование которых задается этими правилами, вообще стало отличительной особенностью *неоинституционализма* — теоретического направления, сформировавшегося и популярного в последней четверти XX века, к которому принадлежит и сам Норт (Капелюшников 2004). Именно в данный период появилось множество работ, в которых функционирование и роль институтов изучались с помощью положений макроэкономики и теории игр. По мнению неоинституционалистов, оба феномена — институты и организации — структурируют социальную жизнь. Они тесно взаимосвязаны, что формирует превратное представление об их единстве, но, в конечном счете, нормативные установления все-таки обладают приоритетом по отношению к политическим организациям (Scott 1995).

Обращение к институтам исключительно важно для понимания тех закономерностей, в соответствии с которыми функционируют современные общества. Институциональный подход позволяет понять, как прошлое влияет на настоящее и будущее - то есть объяснить, в чем суть *зависимости нынешнего положения вещей от траектории предшествующего развития*. Норт пишет: «Настоящее и будущее связаны с прошлым непрерывностью институтов общества. Выбор, который мы делаем сегодня или завтра, сформирован прошлым. А прошлое может быть понято нами только как процесс институционального развития» (Норт 1997: 12). Раскрывая преемственность институтов во времени, он проверял свои гипотезы на истории США XIX века, доказывая, что развитие сельского хозяйства, банковского дела, транспорта, других отраслей объясняется через их институциональную организацию. То же самое было проделано им и в отношении экономической истории Западной Европы от Средневековья до XIX столетия, исследуя которую Норт показал, как экономические стимулы, основанные на индивидуальных правах собственности, выступили предпосылками ускоренного экономического развития западноевропейских стран.

II. Политические институты и институциональный анализ

Применяя понятие института к сфере политики, можно сказать, что политические институты представляют собой разновидность устойчивого социального взаимодействия, регулирующего отношения, которые складываются в обществе по поводу политической власти. Устойчивость политического института обеспечивается с помощью связанных с ним норм, санкций и привычек — атрибутов института, которые делают его объективным и самовоспроизводящимся целым, не зависящим от воли и желания отдельных индивидов. Вместе с тем, о полном отчуждении от людей в данном контексте говорить нельзя, ибо политические институты существуют *только* в действиях людей, воспроизводящих между собой соответствующий тип отношений. При таком подходе коллективные ассоциации с политическими целями и функциями будут выступать в роли субъектов политики — акторов, контролирующих власть или стремящихся к контролю над ней. Иными

словами, если выборы являются политическим институтом, то партии выступают их субъектами, и это различные, хотя и взаимосвязанные политические феномены.

В то время как анализ политических институтов можно отнести к довольно новым, хотя и весьма разработанным направлениям политической науки, сам объект исследований — политические институты как таковые — возник довольно давно. Люди, совместно проживавшие на определенной территории, повсеместно и постепенно, в ходе нескольких тысячелетий, осознали, что институты, как набор универсально разделяемых правил и установлений есть единственный способ противостоять хаосу и взаимному истреблению. Причем политические институты выстраиваются в определенную систему, в любых вариациях которой отстаивание консолидированных интересов общины предусматривает один и тот же основополагающий набор. В него входят законодательные институты, регулирующие общие интересы, исполнительные институты, реализующие эти интересы на практике, судебные институты, регулирующие спорные вопросы. Наконец, обязательно присутствуют и институты принуждения, позволяющие наказывать тех, кто не исполняет установленные правила. В институциональном смысле вся эта совокупность воплощается в понятии государственных институтов (Ротстайн 1999: 149—150).

Вплоть до начала прошлого столетия именно государство выступало концентрированным выражением понятия «политический институт», в котором видели, прежде всего, административные установления и правовые нормы. Основы такого подхода к институтам, получившего название *нормативно-юридического*, были заложены Томасом Гоббсом (1588—1679). В его рамках институциональное значение приобретали лишь те регулятивные механизмы, которые, так или иначе, были санкционированы государством, располагающим суверенитетом — властью абсолютной и принудительной. Однако, на рубеже XIX и XX веков в работах Эмиля Дюркгейма (1858—1917) и Макса Вебера (1864—1920) начало складываться альтернативное понимание политических институтов. Этот подход, называемый *социологическим*, обогатил предшествующие трактовки сразу в нескольких отношениях. Во-первых, под «институтами» здесь имеется в виду не только практическое оформление политических взаимоотношений, но и их идеальный образ. Например, по Дюркгейму, представление о том, как должно работать госу-

дарство, фиксируется в юридических нормах и одновременно в мифологических представлениях и религиозных верованиях. Вебер, в свою очередь, полагал, что легитимность политического порядка гарантируется как правом, так и господствующей в обществе условностью. Во-вторых, соответственно, в числе равноценных политических институтов оказались как формальные, так и неформальные практики. Наконец, в-третьих, политические институты теперь не ограничивались ареалом государства, но включали в себя и те аспекты человеческих взаимоотношений, которые не регулировались государственной властью. Новая программа достигла максимума своего развития в деятельности французского «социального институционализма» в третьей четверти XX века. На смену именно этому направлению пришел неоинституционализм, о котором шла речь в предыдущем разделе.

В рамках упомянутых теорий сложились базовые постулаты институционального анализа как метода постижения политической реальности. Его отправным пунктом можно считать тезис о том, что «политические роли значат гораздо больше, чем люди их занимающие» (Hague, Harrop 2001: 62). Иными словами, положение, занимаемое человеком в политической организации, во многом предопределяет его поведение. Обладая собственной историей, культурой и памятью, политические структуры предлагают вовлеченным в них лицам определенный набор норм и правил, вытекающих из места организации в политической системе и формирующих поведение конкретных персонажей. Согласно Норту, эта диалектика выглядит следующим образом: «Институты создаются людьми. Люди развивают и изменяют институты. В то же время ограничения, накладываемые институтами на человеческий выбор, оказывают влияние на самого индивида» (Норт 1997: 20). При таком подходе политическое развитие того или иного общества можно представить в виде эволюции ключевых для него организаций и учреждений. Соответственно, институциональный анализ не приемлет избыточную персонификацию политики и постановку ее базовых характеристик в жесткую зависимость от персональных особенностей политических деятелей. Более того, непрестанно воспроизводимые попытки социума искать «правильных» лидеров, вместо того чтобы исправлять учреждения, свидетельствуют о непрочности доминирующих в данной системе институциональных устоев и торжестве в

ней произвола и деспотизма. Стремление персонифицировать власть свидетельствует, прежде всего, об институциональной слабости социума.

III. Институциональные изменения

Из вышесказанного видно, что институты обеспечивают *устойчивые* взаимоотношения между людьми. «Основополагающей характеристикой институтов является длительность их существования: они не могут быть изменены в одночасье по воле агентов. Это главный принцип всех школ институционального анализа» (Ротстайн 1999: 167). Вместе с тем, это не означает, что они не способны *меняться*. Трансформации претерпевают все институты, как традиционные, так и формальные. Стоит также отметить, что в условиях постмодерна темпы институциональных изменений значительно ускорились. Каким же образом происходят институциональные изменения? Норт утверждает, что этот процесс обычно носит *инкрементный* характер, то есть идет постепенно и поступательно, а не спонтанно и судорожно. Указанное обстоятельство объясняется, в первую очередь, тем, что неформальные ограничения, принимаемые на себя тем или иным обществом, весьма устойчивы. Если формальные правила можно изменить достаточно быстро, приняв новые законодательные решения, то неформальные традиции и обычаи оказываются гораздо менее восприимчивыми по отношению к сознательным человеческим усилиям. «Неформальные ограничения, берущие начало в культуре, не могут сразу измениться в виде реакции на изменение формальных правил» (Норт 1997: 66). Обосновывая такую позицию, Норт вводит специальный термин – «эффект блокировки» (Норт 1997: 23), – который отражает блокирующую роль институтов при попытках повлиять на характер социальных изменений, а также указывает на способность общества к сохранению основной траектории социальных изменений за счет присущей ему институциональной структуры. Таким образом, наличие данного эффекта означает, что, несмотря на непредсказуемость эволюции конкретного общества в краткосрочной перспективе, долгосрочный характер социальных изменений вполне можно предвидеть со значительной долей вероятности. Для этого, правда, необходимо знать о его ин-

ституциональных особенностях и разбираться в специфике институтов (Кирдина 2003; Пивоваров 2006).

Исходя из преемственности институтов и их способности к самовосстановлению, неинституционализм пересматривает привычную трактовку революций, сложившуюся в эпоху модерна. [См. статью *Революция*.] Именно в его русле в последние десятилетия XX века оформилась так называемая «гипотеза *path dependence*», согласно которой траектории общественного развития довольно жестко предопределены предшествующей жизнью общества — точнее говоря, его институциональными устоями и обыкновениями. Принимая эту предпосылку, необходимо соглашаться и с тем, что институты не должны, по возможности, меняться дискретно; всякая подлинная революция предполагает восстановление исторической преемственности и очищение институциональной структуры социума от чуждых «наслоений» и «заимствований». Хорошим примером, на который обычно ссылаются в данном контексте, послужат преобразования Мэйджи, развернувшиеся в Японии в конце 1860-х годов, причем «сами японцы предпочитают называть этот переворот не “революцией”, но “реставрацией”, поскольку видят в нем восстановление нормального положения дел» (Ландес 2002: 45).

Идеи Норта, а также его предшественников и последователей, о характере институциональных изменений крайне важны для объяснения причин удач или поражений демократических транзитов, в ходе которых делается сознательная попытка изменить институты не инкрементно, а, напротив, дискретно. Как известно, в процессе перехода к демократии обычно выделяют три стадии — либерализацию, демократизацию и консолидацию. [См. статью *Демократия*.] Центральной выступает вторая из этих стадий, суть которой состоит в *институционализации*, то есть в выборе и внедрении новых политических институтов. Конечно, в зависимости от сигналов, посылаемых обществом, каждая политическая система выбирает тот набор демократических институтов, который позволит, как предполагается, решить ее основные проблемы. Однако институты, во-первых, создаются человеческими руками и, во-вторых, несут неизбежный отпечаток исторической традиции, поэтому зачастую не соответствуют тем надеждам, которые с ними связываются. [См. статью *Традиция*.] Более того, «институты не обязательно — и даже далеко не всегда — создаются для того, чтобы

быть социально эффективными; институты, или, по крайней мере, формальные правила, создаются скорее для того, чтобы служить интересам тех, кто занимает позиции, позволяющие влиять на формирование новых правил» (Норт 1997: 33).

Хорошей иллюстрацией данного тезиса служит российская Конституция, принятая в 1993 году — документ, который, вне всякого сомнения, разрабатывался под конкретного человека, которым был действующий президент страны. Теорию институциональных изменений стоит рассматривать в виде своеобразного логического «ключа» к пониманию российского транзита. Да, в нашем случае формальные правила создавались в интересах тех, кто, собственно, эти правила и писал, но дело не только в этом. В ходе преобразований в новой, «демократической» России появилась система искусственных и, вероятно, довольно чуждых институтов. При этом прежние траектории развития игнорировались, ибо возобладала уверенность в том, что «хорошие» институты в нашей стране заработают сами собой, автоматически. Они, однако, не заработали. Болезненно приживаясь на отечественной почве, многие из них оказались декоративными и почти не влияли на реальную политику. Соответственно, слабые демократические институты порождали неуверенность, дезориентацию и вызывали взаимное недоверие — как между элитами и обществом, так и между членами общества. Несмотря на принятие нового, сравнительно передового Основного закона, переход власти от «группы людей» к «группе институтов» в 1993 году фактически не состоялся, а поэтому и демократический транзит был провален.

Описанная история позволяет вновь обратить внимание на проведение четкой границы между *учреждениями* и *институтами*: формальное воспроизведение политических субъектов, наличествующих при демократии (партии, парламент, президент, конституционный суд, муниципальное самоуправление), не гарантирует благополучного переноса и последующей устойчивости определенной политической модели. Подобная имплементация должна дополняться усвоением *всей полноты институциональной структуры*, включая столь деликатный аспект социальных отношений, как приверженность большинства членов социума определенному набору сопутствующих демократии ценностей. Огромную роль в этом процессе играют политические элиты. По сути, именно они управляют институционализацией как процессом, посредством которого

правила, нормы и процедуры, присущие демократии, приобретают устойчивость и воспринимаются основными субъектами политического процесса как единственно допустимые (*“the only game in the town”*). По замечанию Норта, организации, вдохновляемые и направляемые элитами, выступают в роли «агентов институциональных изменений», что вновь обнаруживает взаимообусловленность институтов и субъектов политического действия.

IV. Институты и теория рационального выбора

Особого внимания заслуживает вопрос о соотношении институционализма и теории рационального выбора. Оно обусловлено тем, что именно ее последователи подтолкнули политическую науку к серьезному переосмыслению прежних установок политологии, согласно которым исследование поведенческой составляющей политики почти не связывалось с изучением институтов. Как известно, «рациональный выбор, прежде всего, предполагает наличие какого-то числа индивидов, каждый из которых имеет свои четко выраженные предпочтения», причем «все индивиды действуют стратегически, то есть максимизируют свои цели в рамках существующих ограничений» (Вейнгафт 1999: 183). Однако если исходить из максимально утилитарного характера человеческого поведения, остается неясным, каким образом и в силу каких обстоятельств индивиды порой отказываются от узко эгоистических интересов, предпочитая сотрудничать при решении общих проблем. Ведь рациональный человек является эгоистом по природе, для которого «нет оснований кооперироваться с другими ради достижения каких-то общих целей» (Ротстайн 1999: 159). Между тем люди, вопреки этой логике, все же решают проблемы, объединяясь в группы с ярко выраженным общим устремлением. По мнению Норта и его многочисленных сторонников, «во многих случаях следует говорить не только о максимизации личной выгоды, но и об альтруизме и самоограничении, которые радикально влияют на результаты выбора индивида» (Норт 1997: 37). Данный факт заставил по-новому взглянуть на саму природу политических организаций, а также на их институциональные практики. В ходе многочисленных исследований было установлено, что институты коллективного

действия способны преодолевать индивидуальные установки и предпочтения, навязывая актерам иные, «свои» ориентиры. Это явление называется «логикой соответствия» (Olson 1971).

Анализируя проблемы управления ресурсами, находящимися в общественном пользовании, ученые обнаружили, что они успешно решаются благодаря именно этой особенности человеческого поведения. Как доказала Элинор Остром (р. 1933), «решающую роль в изменении подхода людей к представлениям об их собственных интересах играет структура самого института принятия решений» (Ротстайн 1999: 165). Образно выражаясь, логика коллективного действия «перековывает» людей, заставляя их переориентироваться с узких и сиюминутных целей на устремления большинства (Ostrom 1990). О том же, фактически, говорил и Джон Роулз (1921–2002), указывавший, что институты представляют собой не только правила игры, но механизмы по корректировке ценностей. Следовательно, в институциональную ткань общества «встроены» такие приспособления, которые заставляют прирожденных эгоистов мыслить и действовать в русле коллективного интереса (Роулз 1995).

Причем, и это принципиально важный момент, «поскольку институты оказывают устойчивое воздействие на поведение и результаты деятельности людей, их существование также должно носить долговременный характер» (Вейнгагст 1999: 195). Только при таком условии может достигаться вышеописанный корректирующий эффект. Изыскания теоретиков рационального выбора подчеркнули необходимость стабильности в институциональном развитии. Чтобы быть эффективными, институты должны уметь укреплять себя, постоянно самовоспроизводиться — иногда даже вопреки воле и желаниям тех акторов, которым предписано обеспечивать институциональное развитие. Именно это обстоятельство, как предполагает теория рационального выбора, помогает институциональным структурам сохранять собственную неизменность на протяжении длительного времени.

V. Институциональный анализ и Россия

Политическая и экономическая эволюция нашей страны за последнюю четверть века в полной мере подтверждает основ-

ные выводы институционального направления в политической науке.

Во-первых, явный провал демократического транзита и сопутствующих ему проектов — перехода к подлинному федерализму, утверждения независимого суда, становления дееспособного гражданского общества и т.п., — во многом был запрограммирован историческим опытом России, ее неспособностью и неготовностью избавиться от институционального наследия прошлого. Стихийное и непрерывное воспроизведение одного и того же типа властных отношений — некоторые авторы именуют его «русской системой», — характеризуемого патологическим сплавом власти и собственности, поддерживаемым единоличной властью, которая остается, по сути, самодержавной независимо от типа политического режима, влечет за собой параллельное существование *двух управленческих систем*. В первой из них представлены институты в том смысле слова, какой и является единственно верным: это более или менее стабильные и более или менее соблюдаемые правила социальных взаимоотношений, которые, собственно, и позволяют пока именовать Россию демократической и рыночной страной. Но одновременно наличествует еще одна, неформализованная система управления, всецело базирующаяся на произволе узкого круга акторов, которые в силу сложившихся обстоятельств доминируют на политической арене. Она, разумеется, блокирует вызревание институтов, которые в потенции могли бы ее ограничить или даже упразднить.

Во-вторых, отечественный опыт подтверждает тезис о том, что проведение институциональных преобразований не инкрементным, но спонтанным образом негативно сказывается на развитии социума, на долгие десятилетия лишая его прочных и эффективных институтов. По степени и глубине разрушения социальной ткани русская революция 1917 года не имела прецедентов в истории. Более того, в силу принципа *“path dependence”* она и сегодня, по прошествии без малого ста лет, продолжает предопределять многие аспекты политического, социального и даже экономического развития России. В том, что выстроенная большевиками после произведенного ими государственного переворота система поведенческих и ценностных норм, принципов, установок жива и поныне, можно убедиться на примере весьма терпимого и «понимающего» отношения преобладающей доли нынешних россиян к

сталинскому террору. Институциональная преемственность между коммунистической и посткоммунистической Россией столь же наглядно прослеживается и в функционировании государственно-бюрократического аппарата в нашей стране, неизменно отдающего государству и государственным интересам приоритет при сопоставлении с благом отдельной личности.

В-третьих, стремление выстраивать политические институты, отталкиваясь от сиюминутных потребностей тех или иных политических акторов, также проявило на нашей почве свою крайнюю пагубность. Правила «политической игры», которые были заданы ныне действующей Конституцией 1993 года, разработанной и адаптированной под запросы одного, пусть и достаточно сильного, политического актора, отнюдь не выглядели равнодействующей интересов наиболее значимых социальных и политических групп. Отсутствие же в институциональной ткани элементов консенсуса влечет за собой неизбежную внутреннюю нестабильность системы, чреватую в будущем серьезными потрясениями и, следовательно, новым витком прерывания институциональной преемственности.

Литература

- *Алмонд Г., Пауэлл Дж., Стром К., Далтон Р.* 2002. Сравнительная политология сегодня: мировой обзор. Учебное пособие. М.: Аспект Пресс.
- *Вейнгагст Б.* 1999. Политические институты с позиций концепции рационального выбора // *Гудин Р., Х.-Д. Клингеманн (ред.)*. Политическая наука: новые направления. М.: Вече. С. 181–204.
- *Капелюшников Р.* 2004. Неинституционализм // *Отечественные записки*. № 6 (21). С. 82–87.
- *Кирдина С.Г.* 2003. Социальные изменения // *Социологическая энциклопедия*. Т. 2. М.: Мысль. С. 480–483.
- *Ландес Д.* 2002. Культура объясняет почти все // *Харрисон Л., Хантингтон С. (ред.)*. Культура имеет значение. Каким образом ценности способствуют общественному прогрессу. М.: Московская школа политических исследований. С. 38–54.
- *Мельвиль А.Ю. (ред.)*. 2002. Категории политической науки. М: РОССПЭН.

- *Норт Д.* 1997. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. М.: Фонд экономической книги «Начала».
- *Пивоваров Ю. С.* 2006. Русская политика в ее историческом и культурном отношении. М.: РОССПЭН.
- *Ротстайн Б.* 1999. Политические институты: общие проблемы // *Гудин Р., Х.—Д., Клингеманн (ред.).* Политическая наука: новые направления. М.: Вече. С. 149–180.
- *Роулз Д.* 1995. Теория справедливости. Новосибирск: НГУ.
- *Хейвуд Э.* 2005. Политология. М.: ЮНИТИ–ДАНА.
- *Hague R., Harrop M.* 2001. Comparative Government and Politics: An Introduction. 5th ed. Basingstoke: Palgrave.
- *Olson M.* 1971. The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups. Harvard: Harvard University Press.
- *Ostrom E.* 1990. Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Actions. Cambridge: Cambridge University Press.
- *Scott R.* 1995. Institutions and Organizations. London: Sage.

Интеграция

I. Значение термина

Интеграция – широкое понятие, применяемое в тех случаях, когда рассматриваемое целое представляет собой *нечто большее, нежели сумма составляющих его частей*. В современной политологии идея интеграции используется для характеристики структуры и функционирования политических систем, что стало особенно актуально в последние десятилетия. С крахом биполярного мира начинается становление так называемого мира «больших регионов» – Западной Европы, Южной Америки, Юго-Восточной Азии. Одновременно набирающие силу процессы глобализации, преобразуя традиционное национальное государство, также выдвигают на первый план связи межрегионального уровня, хотя здесь речь идет уже о внутригосударственных регионах. В итоге сегодня региональная интеграция выступает одной из основ будущей конструкции мироустройства. Соответственно, развивается и новая область научных разработок, объединяющая подходы сравнительной политологии и теории международных отношений. [См. статьи *Глобализация и Регионализм*.]

История интеграционных исследований накопила немало определений этого феномена. Так, Карл Дойч (1912–1992) видел в интеграции «взаимоотношения между странами, которые являются взаимозависимыми и совместно производят тот системный продукт, которого они порознь лишены». Он полагал, что жизнеспособными могут быть лишь те интеграционные объединения, которые руководствуются прогрессивными целями: «В конечном итоге решающим вопросом для каждого такого блока будет вопрос, встающий сегодня перед любым государством или нацией: станет ли он инструментом развития и роста или механизмом застоя и разрушения» (Deutsch 1978: 198). Интересно, что теоретические подходы теме интеграции менялись параллельно с углублением интеграционных процессов на европейском континенте. Если в 1960-е годы Эрнст Хаас (1924–2003) считал смыслом интеграции создание крупных политических систем, объединяющих независимые прежде территориальные образования, то в 1990-е годы Альберта Сбраджа (р. 1945) рассматривает интеграционное объединение

уже не просто как политическую систему, но как целостность, наделенную конкретными структурными характеристиками — федеративными или конфедеративными (Rosamond 2000: 12-13, 18). [См. статью *Федерализм*.]

Межгосударственная интеграция не имеет единого определения; поэтому, описывая ее, более продуктивно говорить о минимальных и максимальных признаках интеграционного объединения. Некоторые авторы считают «достаточным признаком» интеграции *выраженную участниками волю к многостороннему сотрудничеству для решения общих проблем, подтверждаемую регулярностью встреч для решения вопросов, выходящих за рамки обычного международного общения* (Beeson, 2007: 218). По нашему мнению, однако, данное определение описывает отнюдь не «достаточные», но «минимальные» признаки. Так, для интеграции в Азии они, возможно, и достаточны, но для процессов, развивающихся в Европе, их сегодня уже не хватает.

Согласно другой и, как представляется, более основательной версии, список «достаточных признаков» интеграционного объединения выглядит следующим образом (Hettne 1999: 3–24):

- высокий уровень сотрудничества в культурной, политической, экономической и, в меньшей степени, военной областях;
- наличие эффективных институтов принятия решений;
- наличие институтов, занимающихся обеспечением региональной безопасности;
- частичное и выборочное применение наднациональных методов принятия решений;
- способность регионального объединения выступать в качестве консолидированного субъекта международного общения, обладающего легитимностью в глазах других акторов мировой политики.

Следует отметить, что интеграция вносит существенный вклад в поддержание мирового порядка, поскольку региональные организации заметно компенсируют структурную слабость глобальных образований — таких, например, как Организация Объединенных Наций. Причем региональные группировки не только поощряют множественность центров политической силы, но и упорядочивают ее. Наиболее важной их задачей в данном контексте является поддержание власт-

ного равновесия внутри самого объединения, недопущение гегемонии какой-то одной державы в рамках конкретного геополитического пространства. Помимо этого региональные организации могут способствовать смягчению межгосударственных противоречий и конфликтов. Так, хронические трения между Францией и Германией были значительно сглажены в 1950-е годы с созданием первых европейских интеграционных объединений – Европейского объединения угля и стали, Европейского агентства по атомной энергетике, Европейского экономического сообщества.

II. Теоретические подходы к интеграции

В политической науке разработано несколько основных теоретических подходов к объяснению региональной интеграции. Среди них – межправительственный подход, функционализм и федерализм. Все эти теории складывались под приоритетным влиянием европейского интеграционного опыта.

Межправительственный подход сводит интеграцию к серии сделок между главами государств и правительств интегрирующихся сторон. В своем классическом варианте он подчеркивает роль государственных лидеров в процессах интеграции, исходя из того, что руководители мотивированы главным образом «интересами» собственных стран. Интеграция возможна только при существенном совпадении интересов, и поэтому ее пределы весьма ограничены и, что важнее, нестабильны. Согласно классической версии межправительственного подхода, в случае Европейского Союза речь идет всего лишь об одной, пусть и относительно успешной, форме международной организации, к которой применимы все законы и ограничения международных отношений.

Либеральная модификация межправительственного подхода фокусирует внимание на тех группах, которые непосредственно определяют политику государства по отношению к внешнеполитическим партнерам, подчеркивая при этом роль внутренней конкуренции за реальную возможность формулировать «интересы» государства. Интеграция, полагают сторонники этой версии, следует требованиям конкретных «специальных интересов» внутри каждой страны – таких как большой бизнес, транснациональные корпорации или профессиональные объединения. «Общий знаменатель», необходимый для

интеграции, возникает лишь в том случае, если близкие по интересам группы оказываются способными влиять на политику своих национальных правительств и при этом находят общий интерес.

В отличие от предыдущей концепции, *функционализм* подчеркивает непосредственную роль элит, заинтересованных в интеграции. Его первоначальная версия делала упор на необходимость любой ценой избегать политических конфликтов и сосредотачиваться на интеграции тех функций государственного управления, которые менее всего политизированы. Однако даже там, где интеграция, безусловно, взаимовыгодна, политики едва ли смогут найти общий язык и достичь компромисса, поэтому принятие объединительных решений необходимо, как предполагается, делегировать экспертам и профессионалам в конкретных областях интеграции.

По наблюдению функционалистов, в обеспечении непрерывного хода интеграции важнейшая роль принадлежит так называемому «эффекту переливания» (*spillover effect*). Как только общие институты начинают контролировать значимые властные функции, становится ясно, что для достижения более полной эффективности желательно затронуть интеграцией и смежные области. К примеру, совместная координация производства угля и стали невозможна без координации правил внешней торговли или, скажем, железнодорожных перевозок. В свою очередь, координация железнодорожного транспорта потребует координации правил автомобильных перевозок, и так далее. Как только пройден определенный рубеж, лидеры национальных государств — благодаря эффекту переливания — оказываются заложниками интеграции и вынужденно соглашаются на ее дальнейшее углубление.

Эрнст Хаас выдвинул модифицированную версию описанной концепции, названную «*неофункционализмом*». Если традиционный функционализм подчеркивал в интеграционных процессах технократическую составляющую, то неофункционализм настаивал на ведущей роли в ней национальных политиков. По мнению его сторонников, обеспечения экономической и технократической эффективности в деле объединения недостаточно: необходимо поставить национальных политиков в такое положение, при котором они будут вынуждены связывать свою политическую судьбу с достижениями интеграции.

Наконец, интеграционная роль федерализма изначально была обусловлена стремлением европейских политических деятелей к предотвращению войн. Ради решения этой проблемы федералисты уже давно предлагают сформировать *наднациональную власть*, которая регулировала бы поведение отдельных государств, присвоив себе многие из их суверенных прав. В отличие от функционалистов, они игнорируют роль, которую в процессе интеграции играют такие экономические факторы, как структура отраслей промышленности или особенности системы профсоюзов; их больше интересуют методы территориального распределения власти. По убеждению федералистов, обществом, состоящим из нескольких государств, можно управлять только с помощью совместных политических институтов, организованных по территориальному принципу. Образцами интеграции, на которые ориентируются представители этого направления, выступают «успешные» федерации – Швейцария, Соединенные Штаты Америки, Германия. [См. статью *Федерализм*.]

III. Интеграционные процессы в Европейском Союзе

Европейский Союз (ЕС) имеет более чем полувековую историю. Под нынешним наименованием это объединение существует с ноября 1993 года, когда вступил в силу Договор о Европейском Союзе. В настоящее время полноправными членами ЕС являются двадцать семь государств. После Второй мировой войны институт национального государства подвергался в Западной Европе довольно частым и резким нападкам. Народы требовали от своих правительств большей эффективности и большей ответственности, нежели эти органы власти были в состоянии обеспечить. Идея региональной интеграции казалась эффективным ответом на прошлые и будущие вызовы, тем более что ее подкрепляло наличие общеевропейских ценностей, а также разработка в предшествующие годы многочисленных проектов «единой Европы», которые хотя и не были реализованы, но существенно продвинули сам замысел европейского объединения. [См. статью *Регионализм*.]

Послевоенный идейный климат исключительно благоприятствовал укоренению представлений о том, что строительство интеграционной структуры может стать инструментом преодо-

ления недостатков, присущих государству-нации. Выдающимся проводником этих идей, активной фигурой первой стадии интеграционного процесса, политиком, которого признали «отцом Европы», стал французский государственный деятель Жан Монне (1888–1979). На практике же начало европейской интеграции было положено Декларацией Робера Шумана (1886–1963), названной так в честь министра иностранных дел Франции, который в мае 1950 года предложил правительству Германии создать совместный консорциум по выплавке стали, а также добыче угля и железной руды. Это предложение стало первым шагом к созданию интеграционного объединения. В соответствии с логикой авторов этого проекта, в начале 1950-х годов появился особый набор наднациональных институтов, полномочия которых постепенно расширялись. В 1958 году начал функционировать Общий рынок (Европейское экономическое сообщество – ЕЭС), который с тех пор занимал центральное место на поле практической интеграции (Монне 2001; Шуман 2002).

Вместе с тем западноевропейское пространство никогда не было монолитным, так что говорить о единой политической культуре современного ЕС было бы неверно. Население государств союза слишком разнородно, непохожи друг на друга их политические режимы, наконец, различны уровни экономического развития. В ЕС–27 сорок языков используются группами, численность которых превышает 300 тысяч человек. Далее, двадцать государств-членов представляют собой республики, а семь – монархии. Наконец, двадцать два государства имеют парламентскую систему, при которой глава исполнительной власти избирается парламентом, а в пяти президент избирается всеобщим голосованием и имеет существенные полномочия.

Важно подчеркнуть, что лидеры разных стран ЕС (а порой даже одной и той же страны) преследовали в процессе интеграции разные намерения. Фактически, за пределами самых общих деклараций более или менее полного единства целей никогда не было, и поэтому для успеха интеграционного процесса было крайне важно выстроить *институциональный механизм*, позволяющий находить компромиссы и развивать интеграцию, невзирая на противоречия между участниками. В разные периоды основа компромисса была различной. Так, начальным стимулом для интеграции послужила проблема послевоенной Германии. Европейские государства, и, прежде

всего, Франция, столкнулись в тот период с дилеммой: как создать условия для скорейшего восстановления Германии, не потеряв при этом контроль над ней? Возникла необходимость в новой форме взаимоотношений государств континента, которая была бы способна гарантировать то, что окрепшая Германия никогда больше не станет угрожать Европе и миру. Техническим выходом из этого затруднения представлялась организация общеевропейского контроля над производством угля и стали, которые в то время были основным стратегическим сырьем. Затем интеграция долгие годы строилась вокруг решения сугубо прагматических экономических задач: таких, как стабильность денежной политики, сокращение дефицита бюджетов, снижение раздутых социальных гарантий и расходов. В последние годы в Западной Европе все чаще раздаются призывы развивать интеграцию европейских стран в противовес доминированию на мировой арене Соединенных Штатов Америки.

Первоначально ЕЭС состояло из шести членов – Франции, Германии, Италии и трех стран Бенилюкса (Бельгия, Нидерланды, Люксембург). В 1970-е годы в него вошли Великобритания, Ирландия и Дания, а в 1980-е годы последовало средиземноморское расширение – принятие Греции, Испании и Португалии. В 1995 году к Европейскому Союзу, ставшему преемником ЕЭС, присоединились Финляндия, Австрия и Швеция, а с 1 мая 2004 года его членами стали еще десять государств, расположенных преимущественно на территории Центральной и Восточной Европы. Наконец, в ходе последней на данный момент волны расширения в ЕС были приняты Болгария и Румыния.

Вплоть до самого последнего времени объединяющаяся Европа функционировала на основе межправительственных договоров. Так, 25 марта 1957 года шесть государств подписали в Риме два договора, учредившие Евратом (Европейское сообщество по атомной энергии) и упоминавшееся выше ЕЭС (Европейское экономическое сообщество). Второй из этих документов был направлен на создание таможенного союза и общего рынка со свободным движением товаров, людей, капиталов и услуг на территории Сообщества, а также на введение единой сельскохозяйственной политики, гармонизацию национальных законодательных систем, сближение экономической политики и условий труда.

7 февраля 1992 года в Маастрихте (Нидерланды) был подписан исторический Договор о Европейском Союзе. После трудного и длительного процесса ратификации государствами-членами он вступил в силу 1 ноября 1993 года. Важнейшей целью Маастрихтского договора стало создание экономического и валютного союза. Кроме того, он был призван обеспечить переход к общей внешней политике и политике безопасности, а также сотрудничество в области внутренней политики и правосудия. Этот документ ввел также единое гражданство ЕС. Маастрихтский договор был уже дважды пересмотрен и дополнен — через договоры, подписанные в Амстердаме и Ницце. Сейчас в процессе ратификации находится последний, Лиссабонский договор.

В институциональном смысле нынешний Европейский Союз, безусловно, более структурирован, чем любая другая международная организация. При этом, однако, его нельзя рассматривать как новое государство и, тем более, как государство классического, «вестфальского» типа. [См. статью *Суверенитет*.] Вместе с тем наличие ряда критериев позволяет говорить о ЕС как об особой политической системе.

Во-первых, союз имеет сложившуюся и развитую систему институтов. *Во-вторых*, процесс интеграции предполагает делегирование компетенций с национального уровня на уровень наднациональный: иначе говоря, распределительной и регулирующей инстанцией все чаще становятся общеевропейские структуры, а не органы государств-членов. *В-третьих*, союз оказывает серьезное влияние на социально-экономическое и политическое развитие своих членов: сфера его компетенции постоянно расширяется. Правовые нормы ЕС имеют прямое действие, то есть не требуют инкорпорации в национальное законодательство, и это исключительно важно. Членство в ЕС оказывает самое серьезное влияние и на национальную экономику. Наконец, *в-четвертых*, между процессами, происходящими в политике и экономике союза, и его институциональной системой сложились устойчивые обратные связи.

Между тем, специалисты неоднократно обращали внимание на то, что Европейский Союз лишен важнейшего признака, присущего полноценной государственности. Речь идет об инструментах принуждения и силовых органах, которые, несмотря на все интеграционные процессы, по-прежнему остаются в ведении государств-членов. Именно на этом основании ЕС

нередко называют гражданской силой (*civilian power*), действующей, в первую очередь, с помощью экономических рычагов и институтов. Но можно ли в современную эпоху считать силовое принуждение и обладание «полноценным» аппаратом насилия неперенным условием полноценности политической системы? Ведь государство как форма политической организации возникло в определенном географическом, культурном, политическом, социально-экономическом контексте и, видимо, не является единственной формой территориальной организации общества. Европейский Союз можно рассматривать в качестве нового типа общественного устройства, который в будущем, возможно, предстанет не чем-то исключительным, но окажется вполне «нормальной» формой организации общества (Nix 2005: 2–5).

IV. Интеграция как всемирный феномен

Термин «интеграция» ассоциируется обычно с процессами, идущими в Европе, то есть с описанным выше Европейским Союзом. Однако региональную интеграцию нельзя считать исключительно европейским явлением. Так, в Латинской Америке первым объединительным проектом был проект Симона Боливара (1783–1830), лидера борьбы за независимость испанских колоний, предлагавшего создание конфедерации латиноамериканских государств ради совместной защиты от внешних врагов и ускорения экономического развития континента. Однако планы «Освободителя» не были реализованы, и первые шаги к здешней региональной интеграции относятся только к началу 1960-х годов. Для южноамериканской ее версии характерно наличие нескольких субрегиональных интеграционных центров, а это означает, что практически каждая страна Латинской Америки является одновременно членом нескольких интеграционных блоков. В 2004 году главы двенадцати государств подписали декларацию, которая провозгласила создание Южно-Американского сообщества наций. В него вошли страны-члены трех группировок: Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай из МЕРКОСУР, Боливия, Венесуэла, Колумбия, Перу и Эквадор из Андского сообщества наций, Гайана и Суринам из Карибского сообщества. Кроме того, в качестве ассоциированного члена к ним примкнула и Чили. «Мотором» данного интеграционного движения вы-

ступает Бразилия, подход которой основывается на развитии именно латиноамериканской — то есть без участия северных соседей — интеграции.

Активно развиваются процессы региональной интеграции и в Азии, в частности, в рамках таких организаций, как Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Организация азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Региональная интеграция «азиатского типа» имеет, прежде всего, экономический характер и не претендует на выстраивание сложной системы наднациональных органов, отличающей, скажем, Европейский Союз. С одной стороны, «азиатский» стиль интеграции можно считать более гибким по сравнению с «европейским» ее типом; для него действительно не слишком типична институционализация и регламентация, но издержки такого подхода состоят в том, что государства-участники не связаны значимыми обязательствами. Еще более рыхлыми в указанном смысле являются интеграционные структуры в Африке. На этом континенте с 1960-х годов работала Организация африканского единства (ОАЕ), а в 2002 году лидерами пятидесяти двух африканских государств было провозглашено создание Африканского Союза, сменившего ОАЕ. Здесь интеграционные процессы носят, по большей части, формальный и поверхностный характер.

Как правило, в политологии и теории международных отношений понятие «интеграция» наделяется позитивным смыслом. Оно ассоциируется с прогрессом, справедливостью, взаимной выгодой, качественным управлением. Между тем, для успеха интеграции, необходимо наличие предпосылок как объективного, так и субъективного свойства. В ряду объективных предпосылок главной выступает *взаимодополняемость* экономических систем интегрирующихся государств, поскольку экономическая интеграция всегда предшествует политической. Однако не менее важны и субъективные предпосылки; речь здесь идет о доминирующих в обществах *ценностях*, таких, как культура договора, способность к поиску компромиссов и так далее. Кроме того, успешная интеграция требует определенного *равенства и соразмерности* сторон, то есть партнерских отношений, а не отношений зависимости, иначе она рискует превратиться в эвфемизм «гегемонии» (Бусыгина 2002). Сказанное хорошо иллюстрируется ситуацией на североамериканском континенте, где одним из препятствий

для углубления интеграции в рамках Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА), объединяющего США, Канаду и Мексику, как раз и выступает «неравновесие» партнеров, оборачивающееся фактическим доминированием США. Многие эксперты видят в этом объединении наиболее противоречивый пример интеграционного процесса в современном мире (Nakim, Litan 2002).

V. Интеграция на постсоветском пространстве

На постсоветском пространстве интеграционные процессы разворачивались «на развалинах» Советского Союза. 12 декабря 1991 года в Алма-Ате была подписана Декларация об образовании Содружества Независимых Государств (СНГ). Первоначально в состав СНГ вошли одиннадцать стран – бывших союзных республик, а в 1993 году к нему присоединилась Грузия. (Вне Содружества остались Латвия, Литва и Эстония, которые в настоящее время являются членами ЕС.)

В январе 1993 года главами ряда республик-участниц был принят Устав СНГ, в котором разработана система институтов Содружества. Так, высшим его органом является Совет глав государств, который должен заниматься обсуждением и решением принципиальных вопросов. Координацией сотрудничества органов исполнительной власти занимается Совет глав правительств. По формальным признакам прообразом объединенного парламента выступает Межпарламентская ассамблея СНГ, которая, однако, остается чисто консультативным органом, не имеющим полномочий для принятия каких-либо значимых политических решений.

Многосторонний Договор об экономическом союзе был подписан в 1993 году в Москве представителями одиннадцати правительств – Украина избрала для себя ассоциированный статус. В 1994 году было принято решение о создании платежного союза и заключено соглашение об образовании зоны свободной торговли. В январе 1995 года последовали соглашения о таможенном союзе, так и оставшиеся, впрочем, нереализованными. В марте 1997 года на сессии глав правительств была принята Концепция интеграционного развития в СНГ, согласно которой экономическую политику в этом межгосударственном объединении надлежало ориентировать на подъем

внутреннего рынка и защиту национальных производителей. Вновь были запланированы формирование платежного союза, общего технологического и информационного пространства, обеспечение свободы перемещения капиталов и рабочей силы. Однако все эти декларации об интеграционных намерениях до сих пор не перешли *в стадию практической реализации*.

С теоретической точки зрения, экономическая интеграция должна дополняться политическим и военно-политическим измерениями. Однако сотрудничество в коллективном обеспечении обороны стран СНГ за минувшие годы так и не получило существенного развития. Отчасти это обусловлено тем, что для территорий бывшего Советского Союза характерно наличие многочисленных открытых и латентных конфликтов, осложняющих отношения между соседями. Огромная проблема связана также с тем, что после одномоментной дезинтеграции СССР около 25 миллионов носителей русского языка и культуры остались за пределами границ Российской Федерации. Помимо этого, успеху военно-политической интеграции на базе СНГ препятствует отсутствие общей для всех стран Содружества внешней угрозы, которая сплачивала бы его членов.

Казалось бы, развитие интеграционных процессов на постсоветском пространстве соответствует современным общемировым тенденциям. Эти процессы выгодны и России, и другим постсоветским государствам, хозяйственные системы которых еще с советских времен взаимно дополняют друг друга и не имеют реальных шансов на самостоятельный успех в глобальной экономической конкуренции. С этой точки зрения представляется важным тот факт, что все постсоветские государства, включая Россию, были и остаются относительно отстающими в технологическом смысле. Но, тем не менее, СНГ остается *крайне аморфным* объединением, причем его дальнейшие перспективы оцениваются специалистами все более пессимистично.

Дело в том, что для углубления интеграционных контактов экономическая взаимозависимость бывших советских республик представляет собой скорее негативный фактор, поскольку во времена СССР она по своей структуре носила преимущественно колониальный характер. Многие хозяйственные проблемы, общие для республик СНГ, нередко оцениваются политиками стран Содружества диаметрально противоположным образом. В СНГ ощущается огромный дефицит взаимного

доверия (а это, как было сказано выше, важная предпосылка интеграционного успеха) — еще одно следствие десятилетий совместного проживания в Советском Союзе (Волкова 1995). Отметим, что геополитические приоритеты государств-членов СНГ тоже различаются кардинальным образом. Наконец, СНГ не является равновесной системой, так как в нем присутствует бесспорный гегемон — Российская Федерация. [См. статью *Империя.*]

Итак, если видеть итогом интеграционных усилий достижение какого-то общего блага, то применительно к СНГ речь об интеграции вообще не может идти. Если же говорить об интеграции в абстрактном плане — как о возникновении прообраза новой целостности из разрозненных территориальных элементов, — то следует обратить внимание на то, что наличие Содружества все же устанавливает некие правила игры для национальных лидеров, каждый из которых представляет свое государство. Так, сам факт существования Содружества используется руководителями государств СНГ в качестве дополнительной легитимации, средства поддержки собственной власти на национальном уровне.

Помимо СНГ, бывшие советские республики входят в состав и других региональных группировок. Одной из организаций, динамично развивающихся в последние годы, стала Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) в составе России, Китая, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. В 2004 году в Астане главы пяти государств — России, Казахстана, Белоруссии, Киргизии и Таджикистана — подписали Договор об учреждении Евразийского экономического сообщества (ЕВРАЗЭС), к которому спустя два года присоединился Узбекистан. В 2006 году на саммите ЕВРАЗЭС было принято решение о создании Таможенного союза в составе трех из шести государств — членов этого сообщества — России, Казахстана и Белоруссии.

В целом российское руководство готово рассматривать политическую интеграцию на постсоветском пространстве *вокруг России* как приоритетное направление внешней политики. Но здесь возникает вопрос: если независимые государства согласятся на политическую ре-интеграцию вокруг России, как можно будет гарантировать им сохранение национального суверенитета и эффективного контроля над общими органами? Без таких гарантий лидеры бывших союзных республик, скорее

всего, будут сопротивляться попыткам создать эффективные наднациональные институты и отвергать планы реформ, потенциально ведущих к федеративному союзу постсоветских государств.

С одной стороны, объективно обусловленное центральное положение России на постсоветском пространстве по-прежнему питает оптимизм тех, кто верит в возможности новой интеграции. С другой стороны, это доминирование России действует против нее самой: очевидный дисбаланс между российским потенциалом и потенциалами остальных государств — членов СНГ будет источником постоянных внутренних конфликтов. Иначе говоря, ресурсы интеграции на постсоветском пространстве ограничены множеством как объективных, так и субъективных обстоятельств. Опираясь на опыт европейской интеграции, можно предположить, что при наличии подобных ограничений наиболее перспективными оказались бы не попытки развивать все сферы сотрудничества сразу при максимально широком составе участников, а деятельность «целевых», функциональных объединений. При этом для России не обязательно участвовать во всех начинаниях СНГ без исключения; а от масштабных проектов и пропагандистских заявлений о проведении общей внешней политики лучше на время вообще отказаться.

VI. Региональная интеграция и глобализация

Соотношение процессов глобализации и региональной интеграции является довольно сложным и противоречивым. В целом глобализация заметным образом стимулирует региональную интеграцию, однако последнюю было бы неверно воспринимать в качестве «территориальной формы» глобализации. Хотя во внешних сторонах этих процессов немало общего — происходит диффузия власти, роль государства меняется, границы делаются проницаемыми, — их природа фундаментально *различна*. Если интеграция есть результат сознательных усилий, проявление политической воли, то глобализация охватывает круг явлений естественноисторического плана, возникающих и развивающихся независимо от замыслов и желаний индивидуальных или коллективных действующих лиц. В ряду подобных феноменов — глобальное распространение информации,

вызревание глобального гражданского общества, становление глобальных финансовых рынков (Бусыгина 2002).

Если же обозначить и ранжировать факторы, способствующие экономической и политической интеграции — а такие исследования проводятся, — то на первом месте окажется фактор пространственной близости интегрирующихся территориальных сообществ. Иными словами, интеграция эффективна только для территорий, имеющих общие границы — для непосредственных соседей. И, напротив, система взаимосвязей будет иметь глобальный характер только при наличии транс-континентальных расстояний, принципиально превышающих дистанции регионального масштаба. [См. статьи *Глобализация* и *Регионализм*.]

Ключевым моментом для развития интеграции (прежде всего в Европе) является создание собственной системы институтов. Так, институциональная система Европейского Союза, несмотря на критику ее недостаточной эффективности и призывы к ее трансформации, более или менее успешно продолжает работать. Что касается глобальных процессов, то они в состоянии создавать лишь отдельные институты, но не систему. Предположения о том, что глобализация означает становление всепроникающего и всемогущего «мирового правительства», которые время от времени озвучиваются политиками и исследователями, тяготеющими к левому флангу, пока не слишком обоснованы. [См. статью *Институты*.]

Отличие между глобализацией и интеграцией выражается и в отношении к государству-нации. Ни один из этих процессов не отменяет привычное государство, и в этом они схожи. Однако в рамках интеграции поэтапная передача национального суверенитета на наднациональный уровень реализуется только по согласию интегрирующихся государств. (В частности, в ЕС это происходит через инициативы Совета министров и ратификацию основополагающих документов национальными парламентами, а также через национальные референдумы.) Глобализация также не упраздняет национальное государство, но зато она способна «взломать» его извне, действуя поверх национальных барьеров. Так, по мнению специалистов, голод в африканских странах есть результат не только дурного управления и эрозии почв, но и принудительного разрушения аграрных и слабо развитых экономических систем силами международной конкуренции. Региональной интеграции, в

отличие от глобализации, игнорирование интересов остальных территориальных сообществ или социальных групп вовсе не присуще (Бусыгина 2002).

Процессы глобализации и интеграции развиваются неравномерно по отраслям и регионам, они не тождественны тотальному выравниванию и приведению к общему знаменателю. Бедные страны и регионы не в состоянии усвоить преимущества и выигрыши, предоставляемые глобализацией и интеграцией. Интеграция и глобализация *усиливают и обостряют* как межнациональное, так и межрегиональное соперничество. Причем глобализация, естественно, не предполагает равенства условий конкуренции; глобальная конкуренция бескомпромиссна, в ней сильны монополистические мотивы. Иной характер имеет конкуренция в условиях интеграции – по крайней мере, европейской. Европейский Союз с самого начала признавал необходимость проведения не только особой конкурентной, но и антимонопольной политики, и его основополагающие договоры содержат соответствующие главы. В качестве главных целей этой политики были зафиксированы: противодействие барьерам на пути перемещения товаров и услуг, предупреждение концентрации экономической мощи, а также предотвращение со стороны государств-членов такой помощи отдельным отраслям национальных экономик, которая искажала бы условия конкуренции.

Глобализация, в свою очередь, будучи процессом естественным, изначально неравномерна и нерациональна. Целые государства и социальные группы из этих процессов выпадают полностью. В то же время, интегрирующееся наднациональное объединение проводит целенаправленную и продуманную региональную, структурную, социальную политику, а также реализует программу сплочения. Все эти меры нацелены на компенсацию регионам, странам и социальным группам негативных последствий интеграции, на повышение конкурентоспособности отстающих стран и регионов и, в конечном счете – интеграционной группировки в целом.

Литература

• Бусыгина И.М. 2002. Стратегии европейских регионов в контексте интеграции и глобализации. М.: Институт Европы РАН.

- *Волкова Е. (ред.).* 1995. СНГ: надежды, иллюзии, действительность. М.: ИМЭМО.
- *Монне Ж.* 2001. Реальность и политика. Мемуары. М.: Московская школа политических исследований.
- *Шуман Р.* 2002. За Европу. М.: Московская школа политических исследований.
- *Beeson M.* 2007. Regionalism and Globalization in East Asia. London: Palgrave Macmillan.
- *Deutsch K.* 1978. The Analysis of International Relations. New Jersey: Prentice-Hall.
- *Hakim H., Litan R. (eds.).* 2002. The Future of North American Integration: Beyond NAFTA. Washington, D.C.: Brookings Institution Press.
- *Hettne B.* 1999. Globalization and the New Regionalism: the Second Great Transformation // *Hettne B., Inotai A., Sunkel O. (eds.).* Globalization and the New Regionalism. London: Macmillan. P.3–24.
- *Hix S.* 2005. The Political System of the European Union. London: Palgrave Macmillan.
- *Rosamond B.* 2000. Theories of European Integration. Basingstoke: Palgrave.

Консерватизм

I. Истоки консерватизма

Наряду с либерализмом и социализмом консерватизм причисляют к числу метаидеологий, зарождение и концептуальное оформление которых связывают с *эпохой модерна*, преобразовавшей мир из «досовременного» в «современный». Откликаясь на потрясшие их события Великой французской революции, Эдмунд Бёрк (1729–1797), Жозеф де Местр (1753–1821) и Луи Габриэль Амбруаз Бональд (1754–1840) выдвинули ряд программных идей, позже составивших основу консервативной философии. По утверждению лорда Хью Сесила (1869–1956), автора популярной брошюры о консерватизме, вышедшей в начале XX века, применительно к периоду до 1790 года вообще невозможно говорить о «сознательно разработанном учении консерваторов» (Cecil 1912). Фактически, его породила обусловленная революцией конфигурация политических событий, и в данной связи прав Иммануэль Валлерстайн (р. 1930), полагающий, что «консервативная идеология была “реакционной” в прямом смысле этого слова, ибо стала реакцией на пришествие современности» (Валлерстайн 2003: 77). Что же касается самого термина, то его творцом выступил французский писатель Франсуа Рене де Шатобриан (1768–1848), в первой четверти XIX века издававший журнал «Консерватор» («*Conservateur*»), который ставил своей целью пропаганду идей Реставрации. В 1830 году одно из английских изданий впервые использовало этот термин для характеристики партии тори; примерно в то же время он пришел в Соединенные Штаты Америки, Германию и Россию.

Как и всякая идеология, консерватизм являлся в первую очередь *не столько определенным состоянием ума, сколько политической программой*. В изложении каждого из его основателей эта программа выглядела по-разному, но во всех интерпретациях имелись неоспоримые общие признаки. Во-первых, «классические» консерваторы *отвергали тезис о народном суверенитете*, составлявший концептуальную основу революционного брожения. Подмена суверенитета абсолютного монарха суверенитетом народа, совершенная Великой французской революцией, их категорически не устраивала. По мнению

основателей консерватизма, идея народа-суверена приписывает индивидам власть, принадлежащую исключительно Богу, а это с неизбежностью порождает социальные конфликты. Во-вторых, ключевым признаком, подтверждающим правильность социальных установлений, консерваторы считали следование *традиции*, и поэтому термины «традиционализм» и «консерватизм» почти сразу стали синонимами. [См. статью Традиция.] Только систематическое воспроизведение сложившихся норм, обычаев, представлений гарантирует стабильность социального порядка. С этой точки зрения наиболее эффективными инструментами противодействия революционной стихии оказываются три института — *религия, монархия и семья*. В-третьих, первые консерваторы отстаивали *трансцендентные основы социального бытия*, напрямую связывая разрушение социальной ткани с повреждением органичной взаимосвязи земного и Небесного. В частности, Бональд, по замечанию Исаяи Берлина (1909—1997), «искренне пытался приложить интеллектуальные, нравственные и политические каноны, почерпнутые из сочинений Фомы Аквинского, к современным ему событиям» (Берлин 2001: 216). В-четвертых, *государство в построениях консерваторов всегда играло ключевую роль*, ибо именно в нем они — как, впрочем, и представители иных идеологий, — видят главный инструмент реализации своей социальной программы. Причем в данном случае подразумевалось государство особого типа: монархическое, корпоративное, опирающееся на религиозные институты.

В рамках консервативной мысли принято выделять умеренное и радикальное направления, ведущими представителями которых были, соответственно, Бёрк и де Местр. По словам авторов Британской энциклопедии, «в то время как консерватизм Бёрка по сути является эволюционным, консерватизм де Местра контрреволюционен. Оба мыслителя предпочитают традицию новшествам 1789 года, но традиции у них разные: первый сражается с Французской революцией ради поправленных ею традиционных свобод, а второй — ради традиционной идеи власти» (Britannica: 428). Именно поэтому, в частности, беспощадно критикуя якобинцев, Бёрк выступал в защиту американской революции 1776 года (Бёрк 1993). Необходимо отметить, что наиболее значительное влияние на развитие консервативной идеологии XIX и XX столетия оказал умеренный консерватизм.

В ходе исторической эволюции консерватизм проделал значительный и сложный путь, весьма далеко отклонившись от своих истоков. В первой половине XIX века он прочно ассоциировался с отстаиванием монархических и аристократических начал. Присущий ему авторитаризм обрел второе дыхание спустя столетие — в популистских движениях, которые возобладали в бывших колониальных, зависимых и слаборазвитых странах. В конце XX века консервативное сознание колебалось между патерналистскими надеждами на государство и постоянно укрепляющейся верой во всемогущество свободного рынка. Двусмысленность и противоречивость этих идейных установок обусловили как слабость, так и силу современных консерваторов: их способность к заимствованиям и внешним обогащениям в наши дни превзошла все ожидания, сделав консерватизм весьма гибкой и устойчивой политико-мировоззренческой системой.

II. Основные ценности консерватизма

Условия и особенности становления консервативной идеологии предопределили ее ценностное наполнение. Поскольку революция, в глазах первых консерваторов, стала следствием утраты связи между человеком и Богом и вытекающего отсюда распада социальной жизни на индивидуальные составляющие, они радикально противопоставили христианскую религию атеизму и агностицизму, социальное и духовное родство людей — общественной атомизации, чувственно-мистическое постижение мира — рационализму. Сэмюэль Хантингтон (р. 1928) особо подчеркивает это тяготение консерватизма к *ситуативной самоидентификации*, поскольку он ориентирован в прошлое, а толкование последнего неизменно задается настоящим (Huntington 1957). Иными словами, представляя собой негативную реакцию на экспансию Просвещения, консерватизм формировал свой ценностный свод, отталкиваясь от идеалов своих противников: сторонники этой идеологии последовательно отвергали все просветительские ценности. [См. статьи *Либерализм* и *Социализм*.] Но при этом ранней консервативной мысли был присущ наступательный характер; так, страстно нападая на «тупое безразличие, называемое *толерантностью*», де Местр отрицал присущий рационализму дух компромисса, считая синтез традиции и модерна абсолют-

но невозможным, что позволило некоторым исследователям сравнивать его с наиболее неистовыми якобинцами. По словам Берлина, такая деятельность «не пассивна, но активна; это не тщетная попытка воспроизвести прошлое, но колоссальное и успешное усилие подчинить будущее образу минувшего» (Берлин 2001: 257).

По мнению Александра Галкина (р. 1922), базовой ценностью консерватизма является «недоверчиво-отстраненное отношение к человеческой личности, рассматриваемой как несовершенный продукт творения, “сосуд греха”, нуждающийся во имя собственного блага в твердой руке» (Галкин 2000). Соответственно, эта ценность определила и все прочие: настороженное отношение к разуму, отрицание равенства как принципа социальной жизни, необходимость иерархии, потребность в сильных институтах принуждения. Разумеется, в разные эпохи консерватизм по-разному расставлял ценностные приоритеты, перетолковывая и заново интерпретируя собственные идейные принципы, но общий контекст во все времена оставался более или менее неизменным.

Противодействуя переменам, консерваторы опираются на разнообразные аргументы, но их главным концептуальным оружием выступает ссылка на *традицию*. «Консерватизм представляет собой тип политической мысли, политическую идеологию, главным систематизирующим принципом которых выступает принцип следования социальной традиции» (Гусев 2001: 240). Под традицией имеются в виду ценности, практики и институты, переходящие от поколения к поколению, что и является основным свидетельством их разумности и состоятельности. [См. статью Традиция.] Разумеется, подобный критерий не воспринимается либералами, которые оценивают общественные установления, исходя из их эффективности в защите индивидуальных прав и свобод. Для консерватора же именно традиция выступает тем ядром, на которое наращивается вся социальная ткань. «Традиция означает голосование за самый неосязаемый из общественных классов, за наших предков, — говорил английский писатель Гилберт Кит Честертон (1874–1936). — Это демократия мертвых» (Heywood 2003: 73).

Учитывая все сказанное, трудно согласиться с теми, кто полагает, будто, в отличие от либерализма и социализма, консерватизм не обладает устойчивым идейным ядром. Более того,

у консерватизма есть серьезное преимущество: в то время как социалисты и либералы отстаивают *ценности нормативные, еще не имеющие места в реальной жизни*, консерваторы борются за *ценности предметные, осязаемые и состоявшиеся*. «Либерализм постоянно вынужден отстаивать свое право на существование, а консерватизм просто *есть*», — замечают авторы Британской энциклопедии (Britannica: 427). С этой точки зрения консервативную доктрину следует признать весьма жизнеспособной и вполне обоснованно претендующей на общественную поддержку.

III. Консерватизм и государство

Отношение классического консерватизма к государству произрастает из его понимания человеческой природы. Как неоднократно отмечалось, в основе консервативной идеологии лежит «философия человеческого несовершенства». В то время как иные идеологические течения исходят из того, что люди по природе «добры» или же что их можно сделать «добрыми», изменив материальные обстоятельства их жизни, консерватизм настаивает на порочности и неизменности человеческой сути. Для того чтобы быть абсолютно свободными, люди слишком испорчены. По этой причине их постоянно приходится ограничивать, ибо полностью раскрепощенный разум с неизбежностью влечет за собой порок и разрушение. Наука, по утверждению де Местра, портит человека, она «наполняет его высокомерием и гордыней, отвращает от самого себя и подобающих мыслей, делает его врагом всякого повиновения, восстающим на все законы и установления, и безоглядным поборником любого нововведения» (Берлин 2001: 237–238). А порождаемый ею избыток своеволия ведет к ошибочному представлению о равенстве всех людей, которое, как полагал Бёрк, противоречит универсальному закону естественной конкуренции.

Предназначение государства состоит в том, чтобы держать индивидуальный разум в узде, противопоставляя его безграничным притязаниям непостижимую тайну властвования. «Правительство — это настоящая религия. Она имеет свои догматы, свои таинства, своих священнослужителей. Позволить каждому обсуждать правительство — значит, разрушить его», — говорит де Местр (Берлин 2001: 244). По его мнению, не выдуманный

просветителями «общественный договор», но изначальное превосходство сильных над слабыми выступает основой претензии на государственную власть. Признание правителями тех, кто выше по рождению, на чем и держится все общественное здание, не нуждается в рациональном обосновании и недоступно таковому. В основе государства, таким образом, лежит *тайна*; его пути непостижимы рациональными средствами, и потому все, что остается подданному — это слепое повиновение.

Понятно, что власть, утвердившаяся на подобном иерархическом фундаменте, будет регулярно обращаться к насилию. Традиционный консерватизм, в отличие от неоконсерватизма, всегда выступал в пользу «твердой руки», интерпретируемой вполне буквально. С позиций классического консерватизма насильственные методы разрешения конфликтов и споров следует считать неотъемлемой частью общественной жизни. «Род человеческий можно уподобить дереву, которое невидимая рука неустанно подстригает и которое часто от этого выигрывает» (де Местр 1997: 48). Регулируя степень применяемого к гражданам принуждения, государственный аппарат компенсирует два главных бедствия, поражающих современный социум: избыток свободной мысли и дефицит религиозной веры. Здесь исключительно важен описанный де Местром собирательный образ палача, символизирующий карающую мощь государства: «Лишите мир этой непостижимой силы — в одно мгновение порядок обратится в хаос, троны рухнут и общество исчезнет» (Берлин 2001: 257).

Но, несмотря на принципиальную роль, которую отводит государству консервативная идеология, отношение ее последователей к власти не всегда было столь однозначным. С одной стороны, именно государственные институты служили для них залогом социальной устойчивости и процветания. В их интерпретации государство, безусловно, отнюдь не тот «ночной сторож», о котором говорили либерально настроенные мыслители, поскольку оно активно, деятельно, зримо. [См. статью *Либерализм*.] С другой стороны, эксцессы Французской революции приучили консерваторов относиться к притязаниям государственной власти с большой настороженностью, так как, по их мнению, государство, игнорирующее роль первичных социальных групп — семьи, церкви, корпорации, — превращается в необузданного тирана. Впоследствии все эти сомнения, по-

рожденные самой историей, были отражены в теоретических построениях неоконсерватизма.

В сфере практической политики консервативной идеологией с XIX века руководствовались довольно многочисленные политические партии, среди которых наиболее заметными были консервативная партия в Великобритании, христианско-демократические партии в Италии и Германии, либерально-демократическая партия в Японии. На протяжении своей истории эти организации неизменно высказывались в пользу органического и эволюционного подхода к общественному развитию, отвергая радикализм во всех его формах и ориентируясь, скорее, на умеренное крыло консервативной мысли. Присущие им мировоззренческие установки не всегда подкреплялись наличием четко выстроенной идеологии или политической философии, но данное обстоятельство не отражалось на влиятельности этих партий, поскольку они апеллировали к традиции в самом широком смысле этого слова. По-видимому, их авторитет будет весомым до тех пор, пока наиболее значимой ценностью для граждан развитых государств останется политическая и экономическая стабильность.

IV. Консерватизм и концепция свободы

«Всякий, кто заявляет, что человек рожден свободным, изрекает слова, лишённые смысла», — утверждал де Местр (Берлин 2001: 270). С самого рождения люди вписаны в плотную сеть конвенций и условностей, регламентирующих их социальное поведение. Разумеется, наличие свободной воли неоспоримо, но падшая природа человека, изначальная ущербность его бытия неуклонно толкают его к пороку. В этом смысле для консерваторов важнейшей задачей социальной организации выступает *не поощрение свободы*, как у либералов, но, напротив, *ее всемерное ограничение*. Если государство не преуспевает в этом деле, происходит революция — худшее из возможных общественных зол, предельное воплощение людского своеволия.

Иными словами, консерватор выступает не против свободы как таковой; тревогу у него вызывает злоупотребление свободой. Главная проблема здесь в том, что свободный человек ориентирован в будущее и, следовательно, склонен к трансформации настоящего, в то время как консервативное сознание

заинтересовано не столько в *изменении*, сколько в *удержании* наличного положения вещей. Впрочем, за свою долгую и непростую эволюцию консерватизм научился уважать свободную личность и порой даже ставить ее интересы выше интересов государства. Это особенно заметно в различных направлениях неоконсерватизма.

Неоднозначное отношение консерваторов к свободе хорошо иллюстрируется их воззрениями на частную собственность. Традиционный консерватизм видел в этом институте гарантию непрерывности социальной жизни, из которой произрастают семья, религия, государство. Но, последовательно поддерживая собственника в его праве распоряжаться своим имуществом, консервативная идеология, фактически, поощряла индивидуализм и социальную атомизацию, которые разрушали семейные ценности, церковную жизнь, государственные устои, столь дорогие для каждого консерватора. В этом аспекте *консервативная мысль смыкалась с либеральной*, отстаивавшей неограниченное самоопределение человеческой личности и, как следствие, свободу частной собственности. [См. статью *Либерализм*.]

Консервативно истолкованная свобода неотделима от довольно жесткого понимания ответственности, которая, кстати, возлагается не только на подданных, но и на тех, кто призван к управлению ими. Английский политический мыслитель и премьер-министр Бенджамин Дизраэли (1804–1881), развивавший привычную для англосаксонского консерватизма патерналистскую линию, настаивал на том, что богатые и бедные несут *солидарную ответственность* за поддержание социального порядка. В его трактовке долг успешных слоев общества перед неблагополучными слоями рассматривался в качестве одной из ключевых моральных ценностей. Эти взгляды легли в основу политики британских консерваторов, начиная с середины XIX века. Точкой триумфа этой традиции стали 1950-е и 1960-е годы, когда, приняв на вооружение учение Джона Мейнарда Кейнса (1883–1946), партия тори попыталась обосновать «третий путь», преодолевающий крайности и безудержного либерализма, и всеобъемлющего коллективизма. Наблюдатели, впрочем, отмечали, что конечной целью подобных построений было не *упразднение* социальной иерархии, но, напротив, ее *консолидация*.

Несколько иной взгляд на свободу был предложен европейской христианской демократией, опиравшейся на *социальное*

учение католицизма. Католическая мысль традиционно противопоставляла индивидуальному своеволию мнение социальных групп, а общественную гармонию считала гораздо важнее конкуренции. Согласно этой ветви консерватизма, в основе социального партнерства лежит понятие *субсидиарности*, предполагающее передачу на нижние этажи управления всех тех решений, которые можно вырабатывать без вмешательства сверху. Свобода управляемых ограничивается здесь изначально иерархическим взглядом на общество, ибо именно на верхних, а не на нижних этажах социальной пирамиды определяется то, до каких пределов будет доходить рассредоточение власти. Инициатива личности связывается своеобразным «демократическим корпоративизмом», подчеркивающим важность посреднических институтов — церкви, профессиональных или предпринимательских союзов. Именно данная концепция в последние десятилетия служит главным инструментом европейской интеграции. [См. статью *Интеграция.*]

V. Неоконсерватизм

Рассуждая о главных тенденциях эволюции метаидеологий в XX столетии, политическая наука отмечает их *неуклонное и все более тесное сближение* друг с другом (Валлерстайн 2003). Заимствования, которые консервативная мысль позволяла себе и у либералов, и у социалистов, привели к оформлению в 1960-е — 1970-е годы такого феномена, как неоконсерватизм. Наиболее существенному переосмыслению в нем подверглись традиционные для консерваторов роль государства и принципы социального управления. В отличие от классического консерватизма, неоконсерваторы с подозрением относятся к современному государству, призывая решительно сократить его регулирующую роль в экономике, политике, социальной сфере. Отстаивая децентрализацию и радикальное сокращение управленческого аппарата, они широко используют аргументы из арсенала либерализма. Причем государственное управление — не единственная сфера, где новые консерваторы усвоили традиционно либеральные подходы, органично вписав их в собственную систему ценностей. Нежелание защищать наиболее ущемленные и нуждающиеся слои населения, а также перераспределять в их пользу общественный продукт, призывы к самостоятельной заботе о выживании в рыночных условиях,

пропагандируемые неоконсервативными правительствами в конце XX века, также заставляют вспомнить об идеях либералов эпохи *laissez-faire*. Порой аналитики вообще склонны игнорировать связь неоконсерватизма с традиционной консервативной идеологией, считая его *своеобразным ответвлением либеральной мысли* (Heywood 2003: 67–104).

Наибольшую известность в практической реализации подобного курса приобрели правительство Маргарет Тэтчер (р. 1925) в Великобритании и администрация президента Рональда Рейгана (1911–2004) в США. Именно эти фигуры стали наиболее яркими выразителями неоконсервативной политики. В центре внимания практического неоконсерватизма всегда оказывались экономические вопросы. По мнению его приверженцев, максимально свободный рынок, поощряющий неравенство, в конечном счете, выгоден всем, ибо постоянное реинвестирование прибылей наиболее состоятельной части населения повышает жизненные стандарты всех остальных. Рыночные отношения идеально соответствуют человеческой природе, а присущая им несправедливость органично вытекает из ее изначальной поврежденности и порочности. Но правительству не следует заниматься исправлением человека, поэтому его вмешательство в экономическую и социальную жизнь должно оставаться минимальным. Каждый сам обязан заботиться о себе; любые попытки коллективной заботы, например, деятельность профсоюзов или развертывание программ социальной помощи, лишь искажают естественное развитие рыночных отношений. Неоконсерваторы, уподобляясь либералам, защищают индивидуализм во всех его проявлениях, старательно сдерживая при этом притязания государства или общества ограничить свободу личности.

Довольно заметной разновидностью консерватизма, зародившейся в США в конце XIX столетия и окончательно сложившейся к первой половине XX столетия, стал *либертариизм*. Эта доктрина базируется на идее максимизации личной свободы – прежде всего, свободы выбора. Предполагается, что для реализации данной основополагающей цели необходимо сокращение государственного аппарата и, соответственно, масштабов вмешательства государства в социально-экономическую сферу. В нынешнем американском варианте либертариизм предусматривает также отказ от ограничений на аборт, огнестрельное оружие и скоростной режим на до-

рогах. Все эти положения входят в политическую программу Либертарианской партии США, которая была основана в 1971 году. Основными идеологами либертарианского консерватизма выступали экономисты Фридрих фон Хайек (1889—1992) и Людвиг фон Мизес (1881—1953), а также политический мыслитель Роберт Нозик (1938—2002). В работе «Анархия, государство и утопия» (1974) последний автор настаивал на том, что над хорошо организованным обществом постоянно нависают две угрозы: ведущая к хаосу безгосударственность и чрезмерное разрастание государства. По мнению Нозика, оптимальное преодоление этой дилеммы возможно только с помощью «минимального», но «сильного» государства, которое в состоянии гарантировать индивиду свободу распоряжения собственностью, являющуюся высшей социальной ценностью.

Для понимания либертарианской философии крайне важно то, что, сохраняя внешнюю форму классического либерализма, она сообщает ей ярко выраженное консервативное содержание. По-видимому, само существование либертариизма отражает неустойчивость социальной базы консерватизма: сегодня, как и в период своего зарождения, он по-прежнему выступает как идеология тех социальных групп, положение которых начинают угрожать те или иные объективные тенденции общественного развития. Но поскольку группы эти различны, консервативную функцию могут брать на себя *разные идеологии*. Это обстоятельство еще раз подтверждает вторичность консерватизма, его производность от иных идеологий, а также прогрессирующий синтез консервативной идеологии с ее прежними конкурентами (Мельвил 2002: 547—548).

VI. Консервативная идеология в России

По мнению ряда авторов, в отличие от либерализма, который всегда был в России наносным и заимствованным, теоретические построения русских консерваторов отличаются оригинальностью и самобытностью. Как отмечает Борис Миронов (р. 1942), «русская консервативная мысль от Н.М. Карамзина до Л.А. Тихомирова вовсе не была оторвана от русской жизни, она отражала воззрения народа на власть, архетипы русского сознания, а также трудности европеизации России» (Миронов 1999: 216). При этом следует подчеркнуть, что отечественный консерватизм не ограничивался скупым охранительством и

не был монолитным идейным сводом, отторгавшим любые изменения. Как и в Европе, наши консерваторы испытывали сильное влияние со стороны либеральной мысли, творчески усваивая некоторые ее подходы и установки. Так, защищая потребность России в сильной государственной власти, способной проводить либеральные реформы, Борис Чичерин (1828–1904) в 1860-е годы сформулировал концепцию *консервативного либерализма*, в которой попытался синтезировать обе идеологии. Тем же путем ранее шли и славянофилы, в учении которых, по словам современников, сочетались два противоположных начала — власти и свободы. [См. статью *Либерализм*.]

Кредо российского консерватизма было сформулировано Николаем Карамзиным (1766–1826) в «*Записке о древней и новой России*», обнародованной в 1811 году: «*Всякая новость в государственном порядке есть зло, к которому надо прибегать только в необходимости*». Несмотря на то, что разграничительные линии, отделявшие консерватизм от прочих идеологий, в России были подвижны и со временем менялись, русские консерваторы всех эпох разделяли следующие убеждения: а) православие и вытекающие из него социальные нормы составляют абсолютную ценность; б) сильное и централизованное государство является политическим идеалом; в) основную угрозу для национального бытия и лежащего в его основе православия представляет экспансия Запада (Гусев 2001: 242–243). В принципе, этот идейный свод благополучно пережил все катаклизмы российской истории XX столетия и почти в неизменном виде вошел в новое тысячелетие.

Объясняя отличавшую русский консерватизм организационную слабость, исследователи чаще всего ссылаются на то, что в роли политического лидера общества в России традиционно выступала *единоличная власть*, не слишком нуждавшаяся в идейной поддержке со стороны. Данное обстоятельство обусловило отсутствие в Российской империи сильных партий консервативного толка. Им же, кстати, во многом объясняется и современное положение дел, когда власть широко применяет консервативные идеи и подходы, в обществе идут активные дебаты касательно тех или иных аспектов консерватизма, значительная часть населения стойко придерживается консервативных взглядов, но при этом влиятельных политических движений, вдохновляемых консервативными установками, по-прежнему нет. Действительно, в России у консерватив-

ной идеологии как издавна не было, так и по-прежнему нет влиятельных конкурентов. «В то время как на Западе консервативная идеология возникла в качестве реакции на эксцессы Просвещения, выплеснувшиеся в ходе Великой французской революции, в России консерватизм всегда был базовой теорией власти: его последовательно поддерживала корона, и он доминировал в общественном мнении» (Pipes 2005: XII).

Политическое бесплодие консервативной идеологии в России было тонко проанализировано Николаем Бердяевым (1874–1948): «Русский консерватизм невозможен потому, что ему нечего охранять. Славянофильская романтика выдумала те идеальные начала, которые должны быть консервированы, их не было в нашем историческом прошлом. Поэтому консерватизм наш не утверждал какую-то своеобразную культуру, а отрицал творчество культуры» (Бердяев 1907: 236). Несмотря на то, что изложенные тезисы кому-то могут показаться излишне категоричными, размышляя о судьбе русской консервативной идеи в эпоху глобализации, стоит задуматься над этим диагнозом вековой давности.

Литература

- *Бердяев Н.* 1907. Судьба русского консерватизма // *Бердяев Н. Sub specie aeternitatis. Опыты философские, социальные и литературные. 1900–1906.* — СПб.: М.В. Пирожков. С. 227–236.
- *Бёрк Э.* 1993. Размышления о революции во Франции. М.: Политиздат.
- *Берлин И.* 2001. Жозеф де Местр и истоки фашизма // *Берлин И. Философия свободы. Европа.* М.: Новое литературное обозрение.
- *Валлерстайн И.* 2003. После либерализма. М.: УРСС.
- *Галкин А.А.* 2000. Консерватизм вчера и сегодня // *Власть.* № 2. С. 37–46.
- *Гусев В.А.* 2001. Русский консерватизм: основные направления и этапы развития. Тверь: Тверской государственный университет.
- *Мельвиль А.Ю. (ред.).* 2002. Категории политической науки. М.: РОССПЭН.
- *Местр Ж. де.* 1997. Рассуждения о Франции. М.: РОССПЭН.

- *Миронов Б.Н.* 1999. Социальная история России периода империи (XVIII – начало XX в.). Т. 2. СПб.: Дмитрий Буланин.
- *Cecil H.* 1912. *Conservatism*. London: Williams & Northgate.
- *Heywood A.* *Political Ideologies: An Introduction*. 3rd ed. New York: Palgrave Macmillan, 2003.
- *Huntington S.* 1957. *Conservatism as Ideology* // *The American Political Science Review*. Vol. 51. No. 2. P. 454–473.
- *Modern Socio-Economic Doctrines and Reform Movements* // *The New Encyclopedia Britannica*. 2005. London. 15th ed. Vol. 27. P. 393–435.
- *Pipes R.* 2005. *Russian Conservatism and its Critics: A Study in Political Culture*. New Haven & London: Yale University Press.

Либерализм

I. Истоки либерализма

Либерализм представляет собой довольно старую систему взглядов и убеждений. Приблизительно с XIV века латинским термином “*liber*” обозначали свободных людей, тех, кто не были ни крепостными, ни рабами. Генеалогию самой либеральной доктрины иногда возводят к более раннему периоду, к Великой хартии вольностей, которая в XIII столетии ограничила абсолютизм королевской власти в Англии. Однако о либерализме как о политическом течении заговорили гораздо позже; впервые это произошло в Испании в 1812 году, а с 40-х годов XIX века термин получил общеевропейское признание. Английская партия вигов начала называть себя либеральной на десятилетие раньше, хотя первое правительство, именуемое «либеральным», было сформировано Уильямом Гладстоном (1809–1898) лишь в 1868 году (Neuwood 2003: 25).

Приверженность «свободам» в экономике, политике, социальной жизни органически связывает классический либерализм с генезисом буржуазного общества, становлением рыночных отношений, борьбой с феодализмом. Либерализм — это метаидеология, которая, наряду с социализмом и консерватизмом, определяет фундаментальные принципы и направления общественного развития, начиная с конца XVIII века и до наших дней. Следует отметить, что в качестве такой идеологии либерализм в большей степени, нежели конкурирующие с ним течения, оказался способным к серьезной эволюции, поскольку смог сочетать в себе не слишком совместимые, а зачастую и явно противоречивые, идеи, доктрины и концепции. Исследуя причины популярности либеральной идеи, крайне важно учитывать, что либерализм считает своей целью благополучие и счастье *не социальных групп, а всех людей* и, следовательно, расширение возможностей, обеспечивающих каждой личности беспрепятственное развитие. Именно об этом говорили апологеты либерализма из числа английских утилитаристов в известной формуле: «Величайшее счастье для величайшего числа».

рые провозгласили права на «жизнь, свободу и собственность» в качестве *естественных прав человека*. Этим они существенно повлияли, в частности, на Американскую революцию 1776 года (Мельвиль 2002: 538). Позже, в XIX веке, либеральную мысль развивали Бенжамен Констан (1767–1830), Алексис де Токвиль (1805–1859), Джон Стюарт Милль (1806–1873). В XX столетии наиболее заметными теоретиками либерализма стали экономисты, в частности, Людвиг фон Мизес (1881–1973) и Фридрих фон Хайек (1899–1992). Идеал практически неограниченного индивидуализма является в классическом либерализме центральным. Именно из этого идеала выводится представление о государстве как о «ночном стороже», который занимается по преимуществу проблемами внешней безопасности и не вмешивается в экономическую, социально-политическую и культурную жизнь общества.

На тезисах Джона Локка формировалась концепция *либеральной демократии*. Разработанные им теории общественного договора и естественного права были восприняты и развиты Шарлем Луи Монтескьё (1689–1775) и другими мыслителями. [См. статью *Демократия*.]. В противовес концепции эгоистического человека, выдвинутой Томасом Гоббсом (1588–1679), Локк утверждал, что в естественном состоянии все люди взаимно доброжелательны, свободны и равны, а значит, не враждуют друг с другом; изначально поведение человека подчиняется морально-этическим установлениям, имеющим божественное происхождение и силу природных законов. Для Локка война была делом противоестественным, ибо она есть «состояние вражды и разрушения». Исходное положение доктрины Локка – *независимость индивида*, из которого вытекают представления о труде как основании и оправдании собственности, а также о договорном характере полномочий государства. Локк вывел четыре качества человека, которые являются производными от его естественного состояния. В этом ряду природное равенство с другими людьми, полная свобода, наличие собственности как результата деятельности личности, право защищать равенство, свободу и собственность.

На классический вопрос Гоббса – если имеет место «война всех против всех», то каким образом возможен социальный порядок? – Локк дал ответ, который и составляет, обобщенно, суть либеральной альтернативы: восстановление социального порядка из хаоса возможно лишь *при обеспечении частного ав-*

тономного пространства для каждой личности. Таким образом, социальный порядок зиждется на предпринимательском духе и воле отдельных лиц и оправдывается в той мере, в какой он защищает права личности. Причем, согласно либеральным идеологам, минимальное пространство личной свободы можно гарантировать лишь в том случае, если естественный индивидуализм будет введен в рамки закона. «Либерал вполне ясно понимает, что без помощи принуждения существование общества будет в опасности и за правилами поведения, соблюдение которых необходимо для обеспечения мирного сотрудничества, должна стоять угроза силы, иначе всей системе общества будет постоянно угрожать произвол любого из его членов, — утверждал Людвиг фон Мизес. — Нужно иметь возможность принудить человека, который не уважает жизнь, здоровье, личную свободу или частную собственность других, следовать правилам жизни в обществе» (фон Мизес 1994: 82).

Основные принципы индивидуалистического общественного порядка, отстаиваемого либерализмом, предельно кратко и ясно изложены во французской Декларации прав человека и гражданина 1789 года. Этот документ провозглашает четыре главных права, представляющих собой основу либерального социума: а) свобода; б) собственность; в) безопасность; г) право на сопротивление насилию или подавлению. Что касается постоянного подчеркивания либералами той значимости, которой обладает индивид, то оно влечет за собой важные и контрастирующие друг с другом следствия. С одной стороны, либерализм настаивает на уникальности каждого человеческого существа, но, с другой стороны, каждый человек может претендовать на тот же личностный статус, которым обладают прочие люди. Этим соперничеством идеи непохожести и идеи равенства обусловлены многочисленные внутренние противоречия либеральной идеологии.

II. Основные ценности либерализма

В качестве своих основных ценностей и приоритетов либерализм выдвигает следующие позиции.

Во-первых, это максимально широкая *свобода* индивида во всех сферах общественной жизни. При этом либералы, в частности, Исайя Берлин (1909–1997), полагают, что она все же «не может быть безграничной, ибо тогда все непрерывно

сталкивались бы друг с другом, и “естественная” свобода привела бы к социальному хаосу, при котором не удовлетворялись бы даже минимальные нужды, а свободу слабых подавили бы сильные» (Берлин 2001а: 127). Разумное ограничение свободы закрепляется общественным договором, предполагающим конституционализм, разделение властей, принцип сдержек и противовесов. Говоря о свободе как о либеральной ценности, стоит упомянуть и крайне популярную среди либералов идею о необходимости добровольного согласия подчиненных на власть над ними. Кроме того, ранние, или классические, либералы были приверженцами «негативного» понимания свободы, не предполагающего какого-либо сдерживания индивидов, намеревающихся сознательно нанести физический или моральный ущерб себе лично.

Во-вторых, в роли базового экономического, политического и социального принципа выступает *индивидуализм*. При этом, однако, либерализм защищает не индивидуализм «вообще», зачастую оказывающийся непродуктивным, но автономную активность, направляемую в социально конструктивное русло. Так же обстоит дело и со свободой: задача либерализма — не декларация свободы индивида «вообще», но защита свободы той личности, которая достигла определенного уровня развития и доказала на основе выдвигаемых либерализмом критериев свой высокий цивилизационный статус. Причем, в то время как классические либералы и так называемые новые правые отстаивают *эгоистический* индивидуализм, основывающийся на преследовании самодостаточной личностью своих узких интересов, современные либералы в основном защищают *развивающий* индивидуализм, ставящий человеческое развитие выше эгоистичного удовлетворения собственных потребностей.

В-третьих, либерализм пропагандирует правовое и политическое *равенство*, трактуемое, прежде всего, как равенство *возможностей*, поскольку все люди рождены *одинаково свободными*. В силу этого наиболее важными видами формального равенства оказываются *легальное* равенство и *политическое* равенство. Данные категории равенства признаются вполне справедливыми — в отличие от имущественного равенства, которое несправедливо, ибо игнорирует личностную неодинаковость людей в плане их социальной активности. Равенство в свободе выступает одним из оснований либеральной морали.

Исходя из принципа равенства, либеральная доктрина не признает сословных и прочих привилегий, не обусловленных индивидуальным усилием человека.

В-четвертых, *терпимость и плюрализм* рассматриваются либерализмом в качестве важнейших основ социально-политического взаимодействия в обществе. Этот принцип связан со всеми вышеперечисленными и напрямую вытекает из них. Важно отметить, что сочетание идеалов свободы, индивидуализма, равенства и терпимости в идеологии классического либерализма образует линию внутреннего напряжения, которая с эволюцией либеральной идеологии становится все более выраженной и значимой. Гармоничное их единство, на которое рассчитывал классический либерализм, оказалось невозможным, и нынешняя эпоха являет все больше подтверждений этому.

Наконец, в-пятых, либеральная идеология проникнута *прогрессистским* духом и при этом сугубо *рационалистична*, то есть исходит из веры в прогресс и силу человеческого разума. Как отмечает Иммануил Валлерстайн (р. 1930), она всегда «отражала уверенность в том, что для обеспечения естественного хода истории необходимо сознательно, постоянно и разумно проводить в жизнь реформистский курс» (Валлерстайн 2003: 78). Либерализм рассматривает историю как однозначно прогрессивный процесс, подверженный рациональному управлению. В середине XIX века, развивая данную установку, идеологи британской партии вигов сформулировали *принцип мелиоризма*, согласно которому человечество может и должно постоянно совершенствоваться. Приверженность этому убеждению отличает либералов и сегодня, представляя собой одну из важнейших составляющих идеологии либерализма.

III. Либерализм, государство и международные отношения

Локк объяснял договорный характер государства таким образом: люди добровольно подчиняются политической власти посредством «соглашения с другими людьми об объединении в сообщество для того, чтобы удобно, благополучно и мирно совместно жить, спокойно пользуясь своей собственностью и находясь в большей безопасности, чем кто-либо, не являющийся членом общества» (Локк 1988: 317). При таком взгляде

государство представляет собой единый политический организм, в котором большинство имеет право решать и действовать за всех остальных, а участие в политическом сообществе накладывает на индивида обязанность подчиняться его решениям. Главной же целью объединения в государство является сохранение собственности объединившихся граждан; при этом собственность трактуется крайне широко — как «жизнь, свобода и владение».

Таким образом, всякое государство создается индивидами и для индивидов; оно существует, чтобы обслуживать их интересы и потребности. Любое правительство опирается на согласие тех, кем оно управляет, и, следовательно, его власть не абсолютна: если оно нарушает условия изначально заключенного контракта, народ имеет право на восстание. Эта точка зрения использовалась Локком для оправдания «славной революции» 1688 года, установившей в Англии конституционную монархию, а спустя столетие — для обоснования отделения североамериканских колоний от метрополии. [См. статью *Революция*.]

В целом либеральному толкованию государства и его места в общественной жизни присуще фундаментальное противоречие. Корень его в том, что, защищая личность от «избыточных» притязаний со стороны государственной власти, либералы традиционно настаивали на внедрении всеобщего избирательного права, которое, в свою очередь, заметно укрепляло государство и его институты, придавая им еще большую легитимность. Таким образом, они одновременно и тяготели к государству, и отторгали его. «В Европе либералы боялись государственной власти, но и фантазировали по ее поводу, — отмечает Фарид Закария (р. 1964). — Они стремились ее ограничить, но нуждались в ней же для модернизации своих обществ» (Закария 2004: 42). В частности, этот конфликт довольно ярко проявился в деятельности либеральных партий в России, начиная с конституционных демократов и заканчивая Союзом правых сил.

Либеральная идеология полагает, что взаимодействие государств на международной арене, по сути, ориентировано на то, чтобы покончить с войной, утвердить мир и добиться всеобщего экономического процветания (Мельвиль 2002: 601–608). Слова «собственность», «свобода» и «мир» в программе либерализма пребывают в одном ряду. Отметим, что либеральное видение развития мировой политической системы во многом связано с именем Вудро Вильсона (1856–1924), двадцать восьмого пре-

зидента Соединенных Штатов и одного из основателей Лиги Наций, который в своих научных работах и политических декларациях провозглашал открытость, демократичность и этичность внешнеполитической деятельности и дипломатии. По мнению Вильсона, подобно тому, как каждый гражданин достоин индивидуального политического права на участие в выборах, каждый народ может претендовать на коллективное политическое право – на суверенитет. Иначе говоря, «призыв Вильсона к самоопределению наций стал всемирным эквивалентом всеобщего избирательного права» (Валлерстайн 2003: 104). [См. статью *Суверенитет*.]

Хотя государства при либеральном подходе признаются главными участниками международных отношений, они являются далеко не единственными игроками на этом поле: взаимодействие государств, по мнению либералов, обязательно должно регулироваться межправительственными организациями и международными режимами. Наряду с ними активную роль призваны играть и неправительственные организации – правозащитные, экологические, транснациональные корпорации и прочие. Согласно либеральной модели, государства ориентируются не только на максимизацию прибыли, но и на взаимовыгодное сотрудничество. Фактор силы в этой модели уступает место другим, более эффективным средствам влияния – экономическим и правовым рычагам и механизмам.

IV. Либерализм и концепция свободы

Как уже отмечалось выше, на первое место в своей ценностной системе либералы ставят свободу индивида – по известной формуле Милля, «человек сам лучше любого правительства знает, что ему нужно». Для приверженцев классического либерализма борьба за свободу означала борьбу за уничтожение внешних ограничений, накладываемых на физическое, экономическое, политическое и интеллектуальное самоопределение человека.

Представляется возможным выделить несколько общих взаимосвязанных положений либерального видения свободы. Во-первых, важен сам *примат экономической свободы*, которая является ключевой частью общей свободы индивида. При этом гарантом и мерой свободы предстает частная собственность.

102 Иными словами, собственность «производит» свободу, кото-

рая со своей стороны нуждается в собственности. «Обогадив английских граждан, коммерция помогла им обрести свободу, а свобода, в свою очередь, способствовала дальнейшему распространению коммерции», — писал в свое время Вольтер (1694–1778).

Во-вторых, принципиальное значение имеет наличие *экономического порядка рыночного типа*, которое выступает как необходимое (хотя и явно недостаточное) *условие* индивидуальной свободы. «Современная версия свободы — наряду с тесной связью с индивидуализмом — отмечена еще и глубокой связью с капитализмом» (Бауман 2006: 62). Рынок способствует не только утверждению экономического самоопределения, но и укреплению политической самостоятельности индивида, которая трактуется как отсутствие принуждения одних людей другими. Причем такой экономический порядок либералы стремятся утвердить не только в национальном, но и в общемировом плане: подобно социализму и в отличие от консерватизма, либеральное учение оперирует масштабом всего человечества. [См. статьи *Консерватизм* и *Социализм*.]

В-третьих, экономическая свобода, как индивидуальная, так и общественная, является в глазах либералов *средством достижения* всех прочих свобод. Именно торжество рынка позволяет резко сократить прямое вмешательство государства в жизнь общества. Отсюда и известные лозунги современного либерализма: «максимум личных свобод — минимум государственного вмешательства», «государство — слуга народа, а не его хозяин». Современные либералы постоянно указывают на неоспоримую взаимосвязь между уровнем материального благосостояния общества и прочностью конституционного порядка.

Защищая автономию личности и провозглашая права этой личности наивысшей целью общественного развития, либеральная концепция свободы, тем не менее, находится в довольно сложных отношениях с понятием демократии (Heywood 2003: 43–47). Либерализм с присущей ему приверженностью к равенству и самоопределению людей всегда и повсеместно способствовал становлению политических режимов либерально-демократического типа. Проблема, однако, заключается в том, что на определенной стадии развития демократии массовое вовлечение населения в политические процедуры начинает оборачиваться не расцветом, но, напротив, упадком либеральных

ценностей. Породив такой феномен, как *нелиберальные демократии*, история XX века заставляет пересмотреть привычные представления о взаимном благоприствании либеральных и демократических ценностей (Закария 2004). Действительно, как отмечал еще Бенжамен Констан, с точки зрения индивида нет никакой разницы, угнетает ли его индивидуальный тиран или некая совокупность лиц.

Двойственное восприятие демократии проистекает из противоположных импликаций присущего либеральной мысли превознесения индивидуализма, который в одно и то же время воплощает в себе и боязнь политического доминирования коллектива, и стремление к политическому равенству всех людей. «Классический либерализм пал жертвой раздвоенности: он разрывался между великим освободительным порывом, рожденным революциями, с которыми он ассоциировался, и опасениями среднего класса, касающимися того, не упразднит ли демократия частную собственность» (Britannica: 424). Либералы XIX столетия зачастую видели в демократии прямую угрозу, ассоциируя ее с господством толпы и подавлением личности, что заставляло их настаивать на введении образовательного ценза в предоставлении избирательных прав. [См. статью *Демократия*.] Джон Стюарт Милль, например, призывал не допускать к голосованию неграмотных: «Всеобщее обучение должно предшествовать общему избирательному праву. ... Можно говорить только о вреде, а не о пользе, когда основные законы страны провозглашают, что невежество имеет такое же право, как и знание, на политическую власть» (Милль 2006: 171, 186).

V. Неолиберализм

Эволюция либерализма была органически связана с динамикой капиталистического производства, и поэтому в минувшем столетии классические идеалы либералов подверглись серьезному пересмотру. Прежде всего, корректировка затронула роль рынка и государства. Так, центральное место в идеологии «нового курса» президента США Франклина Делано Рузвельта (1882–1945), затем распространившейся по всему западному миру под именем неолиберализма, заняли принцип *государственного вмешательства* в экономическую деятельность, а также идея *социальной ответственности государства*.

104 Эта «этатистская» переориентация либерализма была связана,

прежде всего, с именем известного британского экономиста Джона Мейнарда Кейнса (1883–1946). В конечном счете, его идеи не только воздействовали на экономическую практику, но и были инкорпорированы в либеральную идеологию.

Новый, или социальный, либерализм отличает признание позитивной роли государства в экономической и общественной жизни; однако эта роль позитивна лишь в том случае, если государственное регулирование способствует реализации либеральных ценностей, защите прав и свобод человека. Другой отличительной чертой нового либерализма стал отказ от бывшего равнодушия к социальным вопросам. Новые либералы полагают, что государственное вмешательство в принципе способно сглаживать социальные конфликты и защищать современное общество от потрясений. Социальный либерализм тяготеет к *позитивной трактовке свободы*, что означает не просто избавление индивида от стороннего вмешательства в его личную жизнь, но всемерную внешнюю помощь в тех ситуациях, когда индивид не способен самостоятельно справиться с жизненными трудностями (Neuwood 2003: 59–60).

По мнению неолибералов, рынок отнюдь не естественный механизм, ведущий к гармонии в обществе, но искусственный инструмент, который нуждается в постоянном совершенствовании правил игры, а также в беспристрастных судьях и арбитрах. Отказываясь от понимания государства как «неизбежного зла», новые либералы поддерживают его активную роль в «социальном рыночном хозяйстве», которое исключает любые крайности — как безграничный индивидуализм, так и тотальный коллективизм. По мнению многих специалистов, благодаря перечисленным новациям *современный либерализм вплотную сомкнулся с социалистической идеологией*, так и не согласившись, впрочем, с подчинением индивида обществом. Заметный вклад в подготовку этого концептуального синтеза внесли, начиная с конца XIX века, так называемые «новые либеральные мыслители» в лице Томаса Грина (1836–1882) и Леонарда Хобхауса (1864–1929), которые критиковали безудержное стремление к частной выгоде и выделяли альтруизм в качестве фундаментального свойства личности (Hobhouse 1911). Именно Грин первым выдвинул тезис о том, что государство несет ответственность за благосостояние своих граждан, позже подхваченный последователями Кейнса. А последние десятилетия XX века были отмечены появлением так называемого *социал-*

демократического либерализма, основанного на работах американского ученого и политического мыслителя Джона Роулза (1921–2002), радикально пересмотревшего традиционную для либералов трактовку принципа справедливости.

Неолиберализм учитывает и новые реалии международных отношений. Мощной движущей силой, способствующей прогрессу неолиберальных идей, стала экономическая глобализация. [См. статью *Глобализация*.] В своей модели неолибералы особо выделяют такие положения, как прочная связь политики и экономики, ослабление анархии в международной среде в силу упрочившейся взаимозависимости государств и т.д. Неолиберализм включает в себя множество направлений, которые отчасти пересекаются, но при этом рассматриваются как самостоятельные концептуальные школы. В частности, к их числу относятся теория комплексной взаимозависимости, рассматривающая неформальные отношения между внешнеполитическими элитами, теория международных режимов, теория демократического мира.

Некоторые исследователи усматривают в появлении неолиберализма свидетельство краха либеральной идеи. По их мнению, в своей модернизированной форме либерализм отказывается от собственных устоев, капитулируя перед консерватизмом и социализмом. В подтверждение подобных выводов они ссылаются на тот неоспоримый факт, что в современную эпоху обеспечение прав человека с трудом сочетается с гарантией прав народов. [См. статью *Национализм*.] В итоге либеральная политика начинает приобретать «точечный», избирательный характер; ее критерии по-разному применяются в различных ситуациях, а либералов в связи с этим все чаще обвиняют в приверженности к «двойным стандартам». Кризис либерализма становится темой все более оживленных интеллектуальных дискуссий (Валлерстайн 2004). Так, в перспективе постмодернизма разложение либеральной идеи изображается прямым следствием неудачи проекта Просвещения, составной частью которого она всегда выступала. Ключевым условием выживания либерализма в фундаментально мультикультурной и плюралистичной среде, как полагают постмодернисты, должна стать его готовность во все более широком объеме интегрировать в свою доктрину нелиберальные компоненты. [См. статью *Постмодернизм*.] Видимо, во многом именно поэтому «совре-

менный вариант либерализма выглядит еще более аморфным, нежели классический либерализм» (Britannica: 425).

VI. Либеральная идеология в России

Как утверждал Виктор Леонтович, суть либерализма в России была тождественна с сутью западного либерализма, но при этом одной из важнейших особенностей нашей либеральной мысли было то, что она, по большей части, развивалась в государственных формах (Леонтович 1995). По мнению Алексея Кара-Мурзы (р. 1956), отечественный либерализм, в отличие от многих зарубежных аналогов, представлял собой предельно прагматичную и свободную от морализаторства концепцию. В то же время он был более консервативен и менее радикален, нежели либерализм западный, поскольку не имел «цивилизационных тылов» в виде традиций античного права, сословной автономии и так далее, и развивался в «пространстве повышенного исторического риска» (Кара-Мурза 1994). Русский либерализм почти никогда не бросал вызов власти; он не столько отстаивал права личности, сколько стремился к мягкому видоизменению государственного строя. Практически все русские либералы были твердо убеждены в том, что *только государственная власть* в России может служить орудием прогресса (Пайпс 2003).

Слабостями российского либерализма были его «зажатость» между охранительством и нигилизмом, а также высокая степень зависимости от патронажа государства. «Средняя линия уязвима, опасна и неблагодарна, — писал о русских либералах Исайя Берлин. — Сложную позицию тех, кто в пылу битвы хочет по-прежнему говорить с обеими сторонами, часто толкуют как мягкотелость, обман, оппортунизм, трусость» (Берлин 2001b: 172). Отечественный либерализм неизменно проигрывал революционно-радикальным партиям в начале XX века, а спустя столетие столь же однозначно проигрывает национально-патриотическим движениям и государственной бюрократии. В нашей стране, как и во всем мире, одномоментное (а не эволюционное) утверждение всеобщего избирательного права отнюдь не способствовало торжеству либерального духа; в посткоммунистической России скорее возобладали противоположная тенденция — отечественная демократия с

каждым годом становится все менее либеральной и все более «регулируемой».

Конкретные проявления русского либерализма крайне многообразны. Решая основную проблему — как избежать хаоса и при этом защитить автономию человеческой личности, — наши либералы вступали в самые неожиданные союзы и альянсы с силами, которые, по их мнению, были способны гарантировать защиту индивидуальных прав и свобод. Поэтому к русской либеральной традиции примыкают и ранние славянофилы, и «либералы-государственники» в лице Бориса Чичерина (1828—1904) и Петра Струве (1870—1944), которые полагали, что только сильное правительство способно охранить частные права и свободы, в то время как расчет на общество ненадежен (Кара-Мурза 2007).

В начале прошлого века русский либерализм получил реальный шанс выступить в качестве главного гаранта социального порядка. Однако либеральная альтернатива оказалась несостоятельной; русские либералы, как замечает Кара-Мурза, не сумели противопоставить разнузданной русской «воле» творческую и ответственную «свободу». В итоге либерально понимаемая демократия на десятилетия уступила тоталитаризму в умении обеспечивать социальный порядок и обуздывать деструктивный потенциал индивидуального своеволия. Совсем недавно, под занавес уходящего тысячелетия, отечественные либералы полагали, что Россия снова находится перед выбором; они надеялись, что страна хотя бы на этот раз сможет реализовать закономерный и одновременно вынужденный либеральный проект. Но, как выяснилось, Россия вновь обнаружила невосприимчивость к либерализму, а либеральные ценности опять не были востребованы ни обществом, ни властью.

Литература

- Бауман З. 2006. Свобода. М.: Новое издательство.
- Берлин И. 2001а. Два понимания свободы // Берлин И. Философия свободы. Европа. М.: Новое литературное обозрение.
- Берлин И. 2001б. Отцы и дети: Тургенев и затруднения либералов // Берлин И. История свободы. Россия. М.: Новое литературное обозрение.

- *Валлерстайн И.* 2003. После либерализма. М.: УРСС.
- *Закария Ф.* 2004. Будущее свободы: нелиберальная демократия в США и за их пределами. М.: Ладомир.
- *Кара-Мурза А.А.* 1994. Либерализм против хаоса // ПОЛИС (Политические исследования). № 3. С. 118–124.
- *Кара-Мурза А.А. (ред.).* 2007. Российский либерализм: идеи и люди. 2-е изд. М.: Новое издательство.
- *Локк Дж.* [1988]. Два трактата о правлении // *Локк Дж.* Сочинения. Т. 3. М.: Мысль. С. 137–405.
- *Мельвиль А.Ю. (ред.).* 2002. Категории политической науки. М.: РОССПЭН.
- *Мизес Л. фон.* 1994. Либерализм в классической традиции. М.: Начала-Пресс.
- *Милль Дж. Ст.* 2006. Рассуждения о представительном правлении. Челябинск: Социум.
- *Леонтович В.В.* 1995. История либерализма в России. 1762–1914. М.: Русский путь.
- *Пайнс Р.* 2003. Либерализм на Западе и в России // *Общая тетрадь. Вестник Московской школы политических исследований.* № 2 (25). С. 7–11.
- *Heywood A.* 2003. *Political Ideologies: An Introduction.* 3rd ed. New York: Palgrave Macmillan.
- *Hobhouse L.T.* 1911. *Liberalism.* London: Oxford University Press.
- Modern Socio-Economic Doctrines and Reform Movements // *The New Encyclopedia Britannica.* 2005. London. 15th ed. Vol. 27. P. 393–435.

Модернизация

I. Модернизация как политическая проблема

Обширный вопрос о соотношении развития и отсталости включает в качестве своей составной части проблему модернизации. Уже более полувека *теория социальной модернизации* находится в центре внимания сравнительной политологии, жестко конкурируя в последние десятилетия с противостоящей ей *теорией зависимости*. В то время как первая из названных теорий исходит из возможности стимулируемого и целенаправленного общественного обновления в соответствии с определенным цивилизационным стандартом, вторая допускает наличие таких социально-политических ситуаций, в которых подобные усилия заведомо обречены на провал.

Утвердившееся и до недавнего времени доминировавшее на Западе понимание прогресса предполагает *линейную смену стадий* общественного развития. Причем, начиная с XIX столетия, представители европейской культуры были убеждены в том, что собственная причастность к «прогрессу» позволяет западному миру приобщать к цивилизации другие, менее передовые регионы, распространяя и утверждая там близкие ему ценности. При этом ценностная составляющая рассматривалась в качестве центрального элемента данного процесса, ибо сам термин *modernity* всегда был связан с культурными аспектами общественного развития. Противопоставление традиционного и современного социумов стало, начиная с Макса Вебера (1864-1920), общим местом социологической науки. Вытекающее из этой дихотомии понимание модернизации предполагало, прежде всего, *механическое уподобление жизни иных народов и культур европейским нормам*.

Концептуальное оформление теории модернизации состоялось после Второй мировой войны под влиянием трех политических факторов: возвышения Соединенных Штатов Америки в качестве сверхдержавы, широкой экспансии коммунистического движения и начавшейся деколонизации Азии и Африки. В основу ее построения легли классическая эволю-

анализа, касающиеся общественных институтов. Согласно сторонникам такого взгляда, социальная модернизация вытекает из универсальной логики общественного развития, а потому является неизбежной. В этом смысле ее фатальность уподобляется линейности технического прогресса: считается, что достижения либеральной демократии и свободного рынка так же невозможно игнорировать, как и изобретение колеса или электричества, тем более что адаптация к внешней среде является одним из ключевых признаков социальных институтов. В результате этого процесса обновляющийся социум с большим или меньшим успехом осваивает культурные основания современности, включая чрезмерный антропоцентризм, установку на покорение природы, стремление к непрерывному наращиванию материального богатства, веру в безграничные возможности разума. В политическом отношении проблема модернизации сводится к обзаведению институтами стабильно функционирующей демократии западноевропейского или американского образца. Обязательным условием выступает внедрение соответствующих политических практик, включая уважение государством основных гражданских прав и свобод, регулярное обновление властных структур путем выборов и т.п.

Различные мыслители по-разному выстраивали последовательность этапов, обеспечивающих модернизацию. Особую популярность такого рода типологии получили в 1960-е годы. Согласно одной из самых известных концепций, выдвинутой Уолтом Ростоу (1916–2003) в книге «*Стадии экономического роста: некоммунистический манифест*» (1960), каждый модернизационный проект проходит несколько фиксированных стадий. По мнению этого автора, «любое общество можно подвести под одну из пяти категорий, или стадий, экономического роста». Начальную ступень занимает *традиционное общество*, которому присущи неразвитая и аграрная экономика, иерархическая социальная структура, донаучное мировоззрение и сопутствующие ему «фаталистические» ценности. На следующем этапе вызревают *предпосылки сдвига*; под влиянием внешних факторов экономика делается менее локализованной, совершенствуются коммуникации и торговля, происходит формирование социальной элиты нового типа. В обществе возникает противостояние старого и нового укладов. Затем наступает черед *сдвига*. На этой стадии сельское хозяйство

становится коммерческим, инвестиции достигают не менее 10 процентов от валового внутреннего продукта, а политические силы и социальные институты приспосабливаются к задачам роста. Далее начинается *движение к зрелости*, что означает развитие науки и технологии, наращивание инвестиций, вхождение национальной экономики в мировой рынок, демократизацию общественной жизни. Наконец, в заключительной фазе модернизирующийся социум достигает самой *зрелости*, сопровождаемой дальнейшим прогрессом экономической сферы, политической консолидацией, становлением массового потребления. Ведущим сектором экономики становится производство услуг и товаров длительного пользования, рассчитанных на массового потребителя (Rostow 1960).

Несмотря на всю критику, которой ее подвергали, описанная выше концепция и сегодня остается классическим изложением теории модернизации. В ее многочисленных вариациях зачастую предлагались иное количество и другое наименование стадий, но общая логика оставалась неизменной. Соответственно, стадийный подход к модернизации тоже критиковали, как правило, по одним и тем же основаниям: во-первых, история предстает здесь в виде сугубо однолинейного процесса; во-вторых, обновление стимулируется извне; в-третьих, единственным видом прогресса признается капиталистическое развитие. Иными словами, согласно скептикам, бесспорное упрощенчество, отличавшее классическую интерпретацию этой теории, не позволяло ей вместить все богатство обновленческих практик.

II. Институты и ценности в процессе модернизации

Провалившиеся в 1960-е и 1970-е годы попытки провести модернизацию в целом ряде стран «третьего мира» заставили специалистов отойти от линейных схем: «стало ясно, что простое упразднение традиционных форм отнюдь не обязательно гарантирует развитие нового, устойчивого, современного общества» (Eisenstadt 1973: 99). В 1970-е годы на первый план вышли не столько *логика*, сколько *условия* для осуществления модернизации. Кроме того, стало очевидно, что наиболее актуальной задачей для жителей освободившихся стран выступает отнюдь не достижение социальных и потребительских стан-

дартов передовых государств, но обеспечение элементарного физического выживания. В связи с этим теперь многократно подчеркивалась роль политической стабильности в проведении модернизации, а регулирование реформаторских усилий предлагалось осуществлять, принципиально ограничивая участие масс в политической жизни. В целом в рассматриваемый период укрепились позиции тех исследователей, которые полагали, что *проведение модернизации без институциональной стабильности подвергает общество серьезному риску*. Развивая эту линию рассуждений, ее сторонники неизменно обращали внимание на элитарный и верхушечный характер успешных модернизационных проектов. Интересно, что спустя сорок лет теоретические выкладки, применявшиеся в отношении молодых государств Азии и Африки, оказались востребованы в России.

Недостатки классической модернизационной теории побудили Сэмюэля Хантингтона (р. 1928) подвергнуть ее радикальному пересмотру. В работе *«Политический порядок в меняющихся обществах»* (1968) он обратил внимание на то, что при определенных условиях модернизация способна привести социум к политической деградации. Подобное происходит из-за *несовпадения темпов* перестройки политических институтов, экономического обновления и культурной реконструкции. Следовательно, успешная модернизация не может идти «сама собой»; этот процесс нуждается в тщательном регулировании и контроле со стороны реформаторов, а также в специально подготовленной социальной среде (Huntington 1968).

По мнению Дэвида Эптера (р. 1924), изучавшего в 1960-е годы преобразования в бывших колониях, для модернизации как особого типа развития нужны три условия: а) социальная система, способная обновляться и при этом не распадаться; б) достаточно сложные и гибкие социальные структуры; в) навыки и знания, необходимые в технологически передовом мире. Именно этот автор в своей работе *«Политика модернизации»* (1965) описал два классических стиля внедрения новшеств - плюралистский («секулярно-либертарианский») и мобилизационный («духовно-коллективистский»). В основе первой парадигмы лежат компромисс и рассредоточение власти, в то время как второй присущи персонифицированное руководство, политическая нетерпимость и доминирование массовой партии. Причем Эптер одним из первых обратил внимание

на неприменимость и неэффективность западных подходов к модернизации в развивающихся странах (Apter 1965).

Современная литература по модернизации чрезвычайно обширна. В последние десятилетия в изучении этой темы прослеживается все более заметное смещение акцентов: если поначалу основное значение приписывалось благотворному влиянию переносимых на новую почву государственных *институтов* и правовых *установлений*, то теперь приоритет отдается этическим *принципам* и *ценностям*, преобразующим поведение людей (Хариссон, Хантингтон 2002). При этом не менее важным считается выявление тех коллективных установок, которые в процессе модернизации хронически не усваиваются и отторгаются преобразуемым обществом. В итоге данным направлением сравнительной политологии был накоплен значительный и конкретный материал, касающийся реакции различных культур и этнических групп на социальные нововведения. [См. статью *Политическая культура*.] В целом же в последней четверти XX века сложился обновленный вариант концепции модернизации, предполагавший эффективное развитие *без навязывания западных ценностей*.

В 1970-е годы, когда Африка в силу своей кажущейся безнадёжности на время вышла из моды, большинство теорий модернизации развивалось на базе азиатского и латиноамериканского опыта. Крушение коммунистической системы, отметившее конец 1980-х — начало 1990-х годов, послужило стимулом для пересмотра многих теоретических предпосылок, ранее представлявшихся незыблемыми. Привычная для 1970-х годов типология стадий модернизации — *«либерализация — демократизация — консолидация»* — во многих странах, отказавшихся от коммунизма, была нарушена. В связи с этим некоторые исследователи вполне обоснованно предвидели рост числа *«анократий»*, то есть режимов, сочетающих элементы анархии и авторитаризма. Действительно, на пространствах бывшего СССР появилось довольно много образований подобного рода. Кроме того, не имеющая аналогов одновременная трансформация экономических и политических оснований общества заставила специалистов отказаться от представлений, что политическая демократизация возможна только при наличии прочного экономического фундамента. [См. статью

Из новой ситуации было сделано несколько выводов. Во-первых, падение коммунизма более не позволяло говорить об альтернативных и конкурирующих между собой способах приобщения к современности. Это обстоятельство не могло хотя бы на время не укрепить позиции сторонников модернизационной парадигмы. Во-вторых, эффективность авторитарных и тоталитарных версий модернизации все чаще ставилась под сомнение, поскольку они практически оставляли без внимания ценностные аспекты обновленческой практики, предпочитая действия сугубо в институциональном поле. В-третьих, было отмечено, что переходные общества в основном движутся в направлении демократизации, хотя этот процесс едва ли увенчается, как предполагалось, оформлением полноценной демократии в скором будущем.

III. «Эшелоны модернизации»

Согласно определению, предложенному американским исследователем Шмуэлем Эйзенштадтом (р. 1923), «модернизация есть процесс изменения в направлении тех типов социальной, экономической и политической системы, которые развивались в Западной Европе и Северной Америке с XVII по XIX век и затем распространились на другие европейские страны, а в XIX и XX веках — на южноамериканский, азиатский и африканский континенты» (Eisenstadt 1973: 74). Действительно, особенности социального обновления в различных регионах мира позволяют выделить — впрочем, весьма условно, — три эшелона модернизации. *Первый эшелон* составило большинство государств Западной Европы, а также страны, основанные европейскими поселенцами. Модернизация здесь осуществлялась, прежде всего, за счет внутренних источников, а преобразования в различных сферах социальной жизни шли естественным путем и были синхронизированы друг с другом. Основой социального прогресса повсеместно выступали непоколебимое право частной собственности и обусловленная им экономическая и политическая культура, причем данные ценности не ставились под сомнение в ходе даже самых ожесточенных политических конфликтов, вспыхивавших порой в этой зоне.

В странах *второго эшелона* внутренние предпосылки модернизации вызревали с большим трудом и в разное время, что в

приобщении к современности заведомо обрекало их на роль отстающих. К ним принято относить государства Центральной и Восточной Европы, Грецию, Португалию, Испанию, в каком-то отношении Пруссию, а также Турцию, Японию и Россию. В XX веке этот список пополнили наиболее передовые латиноамериканские страны: Аргентина, Бразилия, Мексика, Уругвай. Для перечисленной здесь группы государств типичным было то, что потребность в модернизации в каждом из них осознавалась элитами быстрее, нежели складывались условия для ее проведения, ибо новый уклад политической и экономической жизни постоянно сталкивался с противодействием старых, более архаических укладов. Обновление, осуществляемое в подобных условиях, могло внедряться только рывками и сверху. Данный факт одновременно обуславливал и радикализм, и непоследовательность модернизационных преобразований во многих странах второго эшелона.

Наконец, в *третьей эшелон* модернизации входят бывшие колониальные и зависимые государства Африки и Азии, в которых внутренние предпосылки капитализма вовсе отсутствовали. Вхождение этой части мира в современность происходит исключительно под внешним давлением и сопровождается острыми конфликтами, провалами, откатами назад. В свое время значительную роль в социальном обновлении мировой периферии сыграла колониальная система, в результате краха которой многие районы планеты заметно деградировали как в экономическом, так и в политическом плане. В этой связи в последнее время все более широко обсуждаются варианты установления той или иной разновидности новой опеки государств-лидеров над зоной социального бедствия, охватывающей большую часть «третьего мира». [См. статью *Империя*.]

IV. Модернизация в России

Несмотря на то, что Россия встала на путь модернизации позже многих своих соседей, отечественный опыт не слишком отличался от обновленческих процессов в других европейских странах. Это обстоятельство позволило специалистам говорить о том, что русская модернизация стала одним из наиболее ярких примеров так называемой «догоняющей» модернизации (Красильщиков 1998). Прежде всего, сходной была сама логика перехода к современности, то есть, начиная с XVIII столетия,

Россия постепенно и довольно последовательно осуществляла внедрение тех же самых стандартов *modernity*, которые утвердились в Европе. Пережив в имперский период своей истории несколько волн модернизации, наша страна к началу XX века добилась неплохих результатов. В национальной экономике довольно быстро расширялась доля промышленного производства, система правления становилась все более представительной, формализованные правовые нормы вытесняли обычное право, общество постепенно осознавало ценность гражданских прав и свобод. Можно предположить, что в идеальных условиях, то есть без фундаментальных потрясений, обусловленных двумя изнурительными войнами и тремя революциями, Россия завершила бы процесс обновления лишь на десятилетия позже западных государств.

Вместе с тем, проблемы российской модернизации не ограничивались рамками неблагоприятного стечения внутренних обстоятельств и негативного воздействия внешних факторов. Основным ее дефектом, по мнению ряда исследователей, оставалось то, что она всегда, от Петра Великого (1672–1725) до наших дней, проводилась по так называемой «*имперской*» модели (Гавров 2004: 52–54). В частности, специалисты видят ее особенности в следующем:

а) техническое заимствование достижений более передовых стран осуществлялось выборочно, главным образом, для военных целей и в обмен на сырьевые ресурсы;

б) с наращиванием темпов преобразований усиливалась эксплуатация собственного народа, осуществляемая самыми архаическими способами;

в) реформы обеспечивались, прежде всего, бюрократией, ради верховенства которой постоянно поддерживался высокий уровень централизации государственного управления (Хорос 1996: 41).

Такое положение вещей имело свои причины. Различные общественные и социальные слои были затронуты обновленческими процессами в разной степени; к началу XX века, когда в Европе модернизация в основном завершилась, а общество консолидировалось, наша страна продолжала жить в несовпадающих исторических возрастах и эпохах, на что обращали внимание многие наблюдатели. Путь от традиции к современности не только у нас протекал болезненно, но, как отмечает историк Борис Миронов (р. 1942), «в России,

где темпы перехода к модернизму опережали возможности и готовность широких масс к переменам, болезненность перехода увеличивалась. Форсирование социальных изменений привело, в конечном счете, к социальной напряженности такой степени, что общественный порядок, не выдержав ее, рухнул» (Миронов 1999: 299).

Особой темой научных дискуссий по-прежнему остаются модернизационные проекты большевиков. Основные споры ведутся вокруг вопроса о том, можно ли считать революцию 1917 года прорывом к современному обществу или же, напротив, она явилась традиционалистской реакцией на ускоренное обновление. У каждой из этих крайних позиций есть свои сторонники; однако в данном случае, как представляется, истину следует искать посередине.

С одной стороны, октябрьский переворот стал бесспорным свидетельством неуспеха имперской модернизации. Ликвидацию частной собственности, зачатков гражданского общества, правового государства, народного представительства можно рассматривать в качестве *консервативной реакции на прорыв к современности*. В этом смысле следует согласиться с авторами, которые отмечают: в послереволюционной России жизнь, как городская, так и сельская, начала строиться на основаниях, ранее *отличавших крестьянскую общину* (Миронов 1999: 334). Но, с другой стороны, коммунистические преобразования не сводимы лишь к этому аспекту. Хроническое отставание страны от основных конкурентов вынуждало новых правителей модернизировать экономику. Как и прежде, нововведения внедрялись с помощью «имперской» модели, то есть сверху и при минимальном учете человеческих издержек. В итоге, к концу коммунистического периода российское государство выглядело относительно современным. По уровню урбанизации и индустриализации страна оказалась в одном ряду с основными европейскими державами, принудительно-тотальная секуляризация сознания сформировала рациональную систему ценностей и мотиваций, повысилась социальная мобильность, радикально видоизменились семейные отношения. Отставание России от Запада во многих аспектах решительно сократилось, хотя и не было ликвидировано полностью.

118 Формула советской модернизации, по словам Миронова, сводилась к «технологическому и материальному прогрессу на основе традиционных социальных институтов» (Миронов

1999: 333). Именно поэтому ее порой парадоксально именуют «консервативной модернизацией»: «Экономическая революция, осуществленная в СССР под лозунгами “построения социализма”, была “консервативной”. ... “Консервативная революция” есть уступка во имя модернизации» (Вишневский 1998: 48). Однако к середине 1980-х годов созидательный потенциал коллективизма был практически полностью исчерпан, и страна вступила в длительный и тяжелый период посткоммунистического обновления, продолжающийся и сегодня. Главной его особенностью остается то, что модернизация так и не стала для России органичной, ибо ее *проведение по-прежнему навязывается обществу государственной властью*, причем институты гражданского общества и народного представительства от выработки обновленческих стратегий едва ли не полностью отстранены. Далее, обновление материальной сферы рассматривается нынешними теоретиками модернизации в отрыве от реконструкции политической системы и духовных ценностей, потребность в которой становится все более ощутимой. Наконец, несмотря на общепризнанную неэффективность авторитарного подхода к модернизации, в XX веке не оправдавшего себя в целом ряде стран Европы, Латинской Америки, Африки, ее главным политическим инструментом в России остается именно авторитаризм.

В условиях глобализации, решительно повышающей спрос на рассредоточение власти и способность управленческих институтов принимать безошибочные «точечные» решения, подобная стратегия не принесет ожидаемых от нее результатов. Как не раз уже бывало в отечественной истории, обновленческие задачи будут решаться непоследовательно и не полностью, снова обрекая страну на бесконечную гонку подстегиваемой властью «догоняющей» модернизации и консервируя при этом ее социально-политическую уязвимость. [См. статью *Глобализация.*] Иначе говоря, мы вновь будем иметь дело с «частичной» модернизацией, то есть с «появлением таких институциональных и организационных феноменов, которым присущи характеристики современности, но которые при этом входят в состав традиционной социальной структуры» (Eisenstadt 1973: 102).

Стоит отметить, что новейший этап развития нашей страны послужил мощным вызовом западной общественно-исторической теории, все более активно пытавшейся ставить

под сомнение модернизационную парадигму. В глазах многих исследователей мир вновь предстал в качестве целостной пирамиды, верхние «этажи» которой венчает современное западное общество. Универсальные ценности демократии и свободного рынка, идейная и материальная взаимозависимость опять стали рассматриваться в качестве главных характеристик мира, в котором противопоставление России западному социуму окончательно, как полагают многие, сделалось бессмысленным (Ясин 2007).

V. Критика теории модернизации

Одно из наиболее распространенных замечаний в адрес теории модернизации сводится к тому, что *политика трактуется в ней как отражение экономики*. Критикуя ту роль, которую их соперники отводили институтам и, прежде всего, государству, теоретики модернизации впадали в противоположную крайность, порой полностью игнорируя институциональную составляющую социальной жизни. Концептуальные проблемы возникают и с жестким противопоставлением западного общества традиционному обществу. В данной связи не раз отмечалось, что, во-первых, ни одно общество, независимо от степени его развития, *нельзя рассматривать как полностью гомогенное*, хотя теория модернизации исходит именно из такой предпосылки. Во-вторых, само понятие традиционного общества *слишком абстрактно*, в нем нет исторической специфики, «портреты» конкретных социальных общностей размываются. Впрочем, по мнению критиков, самый главный недостаток теории модернизации заключается в том, что она *недопустимо оптимистична*. За последние полвека мир не раз становился свидетелем того, как попытки форсированного обновления той или иной системы заканчивались не прорывом к прогрессу, а социальным крахом.

Критика теории модернизации стала еще более последовательной с выходом на интеллектуальную авансцену концептуально новой, *постмодернистской* картины мира. [См. статью *Постмодернизм*.] Постмодернисты решительно отказались от логики «линейного» прогресса и восприятия одной части мира (в данном случае — Запада) как образца для других его частей. Дихотомия традиционализма как синонима отсталости и модернизма как символа прогресса сменилась более сложной кар-

тиной, в которой западные страны перестали восприниматься в роли исключительного носителя прогресса. Конец утопий и идеологий, обесцененных иронией постмодернистов, означал для них способность личности идти своим собственным путем; мир предстал перед ними не как «древо» прогресса, но как «трава», каждый фрагмент которой самоценен. Постмодернизм отказался от противопоставления *modernity* и *tradition*, отдавая предпочтение местному, локальному, частному перед глобальным, универсальным, общим. [См. статью *Традиция*.]

С наступлением нового тысячелетия тематика, связанная с модернизацией, постепенно отходит на периферию исследовательских интересов. Обусловлено это двумя причинами. С одной стороны, в ходе обновления стран «третьего мира» состоялась довольно строгая селекция лидеров и аутсайдеров модернизации. Все страны, способные к внедрению принципов *modernity*, уже сделали это; а неспособные, напротив, столь же успешно и последовательно губили надежды специалистов. С другой стороны, для наиболее развитой части мира проблема модернизации также перестает быть актуальной: в их повестке дня стоит переход к экономике, политике, культуре принципиально нового, постмодернистского типа (Иноземцев 2000).

Литература

- Вишневецкий А. 1998. Серп и рубль: консервативная модернизация в СССР. М.: ОГИ.
- Гавров С.Н. 2004. Модернизация во имя империи. Социокультурные аспекты модернизационных процессов в России. М.: УРСС.
- Иноземцев В.Л. 2000. Пределы «догоняющего» развития. М.: Экономика.
- Красильщиков В. Вдогонку за прошедшим веком: развитие России в XX веке с точки зрения мировых модернизаций. М.: РОССПЭН, 1998.
- Миронов Б.Н. 1999. Социальная история России периода империи (XVIII – начало XX в.). Т. 2. СПб.: Дмитрий Булганин.
- Хариссон Л., Хантингтон С. (ред.). Культура имеет значение. Каким образом ценности способствуют общественному прогрессу. М.: Московская школа политических исследований.

- *Хорос В.Г.* 1996. Русская история в сравнительном освещении. М.: Центр гуманитарного образования.
- *Ясин Е.Г.* 2007. Модернизация и общество. М.: ГУ ВШЭ.
- *Apter D.E.* 1965. The Politics of Modernization. Chicago: University of Chicago Press.
- *Eisenstadt S.N.* 1973. Tradition, Change and Modernity. New York: John Wiley & Sons.
- *Huntington S.* 1968. Political Order in Changing Societies. New Haven: Yale University Press.
- *Rostow W.W.* 1960. The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto. Cambridge: Cambridge University Press.

Национализм

I. Нации, национализм и нация-государство

Наряду с такими категориями, как «власть», «государство», «суверенитет», понятие «нация» традиционно предстает одним из базовых элементов политического анализа. Важным (хотя и не единственным) следствием политической активности наций стал национализм — центральный феномен XX столетия. В отличие от интеграции индивида в иные социальные общности, принадлежность к нации определяется не только самоощущением, но и биологическим фактом рождения, что ставит нацию в особое положение, предопределяя ее крайне запутанные взаимоотношения с государством. Сам термин «нация» происходит от латинского *nasci*, что значит «быть рожденным». Вместе с тем сведение идеи нации к наличию общих предков, общей истории или общей территории, предполагающее рассмотрение каждого из этих факторов в качестве основного, логически непродуктивно. Гораздо более совершенной выглядит трактовка, согласно которой на этот статус может претендовать *любая группа, ощущающая себя нацией*.

Британский историк и публицист Уолтер Бейджхот (1826—1877), для которого история XIX века была процессом «образования наций», отмечал: «До тех пор пока нас не спрашивают, мы понимаем, что это такое, но тотчас же объяснить или определить мы не в состоянии» (Хобсбаум 1998: 5). Действительно, понятие нации едва ли поддается однозначному определению, а критерии отнесения к нему размыты; конкретная дефиниция зависит от того, к какой научной школе принадлежит ее создатель. Между тем почти в каждом из многочисленных описаний нации упоминаются, по меньшей мере, два ее признака: связь с той или иной территорией и наличие особой идентичности. Расхождения исследователей начинаются там, где речь заходит о политических аспектах национального бытия. В связи с этим различаются и трактовки *национализма*. В частности, ряд специалистов считает, что *любая* нация стремится политически выразить себя через создание собственного государства; национализм при этом трактуется

как идеология права наций на самоопределение. В настоящее время, однако, такая интерпретация национальной проблематики стала предметом острых дискуссий, поскольку данный взгляд все более энергично оспаривается как в развитых, так и в развивающихся странах. [См. статью *Либерализм*.]

Фактически, формирование наций было составляющей модернизации и представляло собой исторический процесс, связанный с появлением и укреплением *нации-государства* как особого типа государственности, в рамках которой правительство осуществляет всю полноту суверенной власти в границах определенной территории, а граждане подчиняются ему, осознавая свою принадлежность к единой нации (Ноженко 2007). Понятие нации-государства явилось одним из ключевых понятий модернистского проекта. Сегодня подобная модель все чаще ставится под сомнение. Это объясняется усилением межгосударственных структур, большей, чем прежде, прозрачностью и проницаемостью государственных границ, развитием самоуправления и альтернативных движений, которые часто тоже становятся транснациональными. [См. статьи *Глобализация* и *Постмодернизм*.]

II. Основные теории происхождения национализма

Большинство нынешних исследователей считают, что национализм есть современное движение, возникшее в эпоху Великой французской революции, которое, достигнув апогея в период между двумя мировыми войнами, с конца XX столетия переживает спад. Согласно этой точке зрения, сегодня на смену национализму идут новые, глобальные силы, не ограниченные рамками национальных государств. Особенность подобных воззрений в том, что они прочно связывают национализм с *современностью*, а нация в них рассматривается в качестве фактора, внутренне обусловленного самой природой новейшего времени. Интеллектуальные основы модернистской теории национализма заложили Карл Маркс (1818–1883), Зигмунд Фрейд (1856–1939), Макс Вебер (1864–1920) и их многочисленные последователи. Вопреки представлениям тех, кто усматривал в нациях нечто предвечное и изначально данное, модернисты отказывают национализму в биологической, «кровной» обусловленности. С их точки зрения, нации не

имеют природной основы, благодаря чему делается возможным *национальное строительство*, то есть конструирование нации в соответствии с запросами и рациональными выкладками национальной элиты (Нации и национализм 2002). [См. статью *Модернизация*.]

Ключевые принципы модернистской парадигмы в отношении нации, согласно современному английскому исследователю Энтони Смигу, состоят в следующем (Смит 2004: 52 – 53):

- нации представляют собой территориальные политические образования;
- национальные узы выступают ядром гражданской и политической лояльности современного человека;
- нации есть основные игроки на международной арене;
- нации являются творением своих граждан и в особенности лидеров и элит;
- нации оказываются ведущей силой социально-политического развития.

К 1960-м годам модернистская парадигма и ее модель строительства нации получили всеобщее признание. Однако, по мере приближения третьего тысячелетия, все более настойчиво напоминала о себе их альтернатива в виде так называемого *органического национализма*. Согласно этой концепции, мир всегда состоял из естественных наций-организмов, которые обладали ярко выраженной самобытностью, представляющей собой прочный сплав культурных и биологических характеристик. Так, социобиология считает нацию продуктом естественного отбора, а особенности ее развития соотносит с проявлениями социального поведения у животных. В такой трактовке националистические лозунги теряют свою рациональную обоснованность и переходят на уровень прозрений и интуиций, что делает их особенно привлекательными для малообразованных групп и слоев. Процессы социальной модернизации, которые в минувшие десятилетия затронули бывшие колониальные и зависимые страны и пробудили от политического сна массы неграмотных и несовременных людей, заметно повысили спрос на национализм подобного рода. Одна из теоретических проблем, возникающих в данной связи, заключается в том, что «вековечная» трактовка национализма полностью упраздняет грань между *нацией и этносом*. Согласно логике «почвы и крови», любая этническая общность *изначально* является

нацией, что и теоретически, и фактически неверно (Тишков 2001; Тишков 2003).

III. Национализм и культура

Практически все концепции национализма отводят культуре первостепенное место. Причем подъем националистических движений может рассматриваться, с одной стороны, как причина, а с другой — как следствие культурного самоопределения нации. Отталкиваясь от понятия «культура», некоторые исследователи предпочитают говорить о *двух разновидностях национализма* — культурной и политической. В то время как политический национализм видит свою цель в обретении нацией собственного государства, для культурного национализма государственное строительство второстепенно, поскольку, с его позиций, культурный расцвет вполне достижим и при отсутствии государственности. Конкурируя между собой, эти варианты национализма действуют с переменным успехом, сменяя друг друга, зачастую сотрудничая, но порой и конфликтуя (Hutchinson 1994).

В процессе национальной самоидентификации на первый план выдвигаются именно культурные факторы. Среди них легитимирующие мифы, связанные с ними символы, а также соответствующие модели коммуникации. Благодаря этому обстоятельству выдающуюся роль в становлении того или иного национализма играет *интеллигенция*, вырабатывающая и распространяющая культурные коды, на которых основывается националистическое мировоззрение. Так, английский социальный антрополог Эрнест Геллнер (1925–1996) прочно связывал возникновение национализма с новой, унифицирующей ролью языка в современном обществе. По его мнению, национализм является «навязыванием высокой культуры обществу, где раньше низкие культуры определяли жизнь большинства населения» (Геллнер 1991: 130). В связи с этим фундаментальное значение в становлении национализма приобретает распространение образования, прежде всего, начального. Школа, наряду с армией, предстает главным инструментом, использованным государством модерна для превращения в национальное государство — нацию-государство.

Практически везде социальным ферментом националистического брожения оказываются небольшие группы интел-

лектуалов, которые, в свою очередь, действуют рука об руку с местными элитами. «Интеллектуалы дают основные определения и описания нации, лица свободных профессий служат главными распространителями идей и идеалов нации, а интеллигенция – наиболее яростным поставщиком и потребителем националистических мифов» (Смит 2004: 113). Соответственно, народное сознание само по себе националистических настроений не порождает; как правило, национализм привносится в народную среду извне, сопутствуя вдохновляемым элитами процессам модернизации. В данной связи можно говорить о том, что *именно национализм творит нации, а не наоборот*, как предлагают считать сами националисты. Нации есть продукт национализма, причем как в концептуальном, так и в историческом отношении (Геллнер 1991; Хобсбаум 1998).

Именно в этом русле была выдвинута и развита концепция нации как «воображаемого сообщества». Изобретение новых традиций, повсеместно сопровождающее становление национализма, отнюдь не делает его чем-то эфемерным или нереальным. Напротив, прививка воображения сообщает националистическим конструктам максимальную действенность. Образ национальной общности, непостижимой физически (поскольку члены нации никогда не в состоянии вступить в прямой контакт с большинством своих собратьев), но легко усваиваемой интеллектуально, на протяжении последних столетий позволял миллионам людей «добровольно умирать за такие ограниченные продукты воображения» (Андерсон 2001: 32). Объявление нации интеллектуальным конструктом открывает перед исследователями перспективу разоблачения националистических нарративов, раскрывающего потребности социальных групп, которые извлекают из них выгоду (Смит 2004: 220).

IV. Национализм как фактор политики

С теоретической точки зрения, национализм способен выполнять функцию объединяющего начала, снимающего остроту общественных конфликтов и глубину социальных разломов. Однако при этом важнейшим остается вопрос о том, до какой степени национализм действительно объединяет, а не разъединяет людей, требуя от них преданности «нации», которая отнюдь не тождественна верности интересам государства.

Политическое значение национализма теснейшим образом связано с доктриной о *праве наций на самоопределение*, сформулированной на рубеже XIX и XX веков. Ее становлению способствовала борьба за переустройство имперского миропорядка, которую вели — с противоположных флангов — крайние либералы и крайние социалисты. Способствуя разрушению европейских империй, препятствовавших гегемонии США, американский президент Вудро Вильсон (1856–1924) в 1917 году выдвинул тезис о неотъемлемом праве этнических общностей на обладание собственной государственностью. Аналогичный лозунг в тот же период провозгласили большевики, расшатывавшие слабеющую империю Романовых. Масштабные потрясения, вызванные реализацией этой политической программы, способствовали широкой популярности исключительно политического подхода к определению нации. Так, согласно Макс Веберу, «нация — это общность, которая, как правило, стремится создать собственное государство» (Смит 2004: 41). [См. статьи *Империя* и *Либерализм*.]

Несовершенство подобного взгляда было продемонстрировано уже в ходе создания версальской системы, предусматривавшей государственное самоопределение для европейских наций, которые освобождались от имперских пут. Как справедливо отмечает один из наиболее видных историков нынешнего времени Эрик Хобсбаум (р. 1917), наиболее решительно этой программы «придерживались (и до сих пор придерживаются) те, кто далек от этнических и языковых реалий регионов, предназначенных для разделения на однородные нации-государства» (Хобсбаум 1998: 211). Говоря об этнических чистках, происходивших в первой половине XX столетия на территории Турции, Германии, Польши, Чехословакии, названный автор добавляет: «После всего этого уже можно было понять, что создание однородного национального государства представляет собой цель, которую могут осуществить только варвары или, по крайней мере, только варварскими средствами» (Хобсбаум 1998: 212). Переустройство карты Европы по национально-языковому принципу завершилось общепризнанным провалом, последствия которого напоминают о себе и сегодня. Национальные конфликты, вспыхнувшие на территории Восточной Европы в 1990-е годы, напрямую были связаны с версальскими решениями.

Право наций на самоопределение послужило идеологическим обоснованием и для высвобождения стран «третьего мира» из-под колониальной зависимости, начавшегося после Второй мировой войны. Создание государств-наций в регионах, многие из которых раньше не знали никакой государственности, шло с большим трудом, а теория «конструирования» новых гражданских наций в Азии и Африке в процессе модернизации, активно распространявшаяся в 1960-е годы, во многих случаях доказала свою практическую несостоятельность. Но главная проблема заключалась и заключается в том, что полное политическое самоопределение *всех* этнических и языковых групп просто недостижимо. Именно этим соображением, неоднократно проверенным на протяжении XX столетия, обусловлена решительная критика права наций на самоопределение, звучащая в последнее время. Речь идет как о новой интерпретации международных документов, провозглашающих это право, так и о корректировке практической политики. Настороженность, проявляемая в данном отношении ведущими государствами мира, стала особенно ощутимой после того, как с феноменом этнического и лингвистического сепаратизма столкнулся ряд стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития — в частности, Канада, Испания, Великобритания.

Сказанное, однако, не означает, что современный национализм понемногу лишается своей политической компоненты. Даже на европейском континенте он по-прежнему остается одним из существенных факторов общественного развития. Эту характеристику подтверждают, по крайней мере, два обстоятельства. Во-первых, следует отметить прокатившуюся в последние двадцать лет по Западной Европе волну успеха откровенно националистических партий. Так, во Франции, ФРГ, Австрии, Италии набирают очки популистские и радикальные движения правого толка, которые постепенно становятся все более значимыми игроками на национальной и европейской политической арене. При этом активность системных националистов соединяется с активностью внесистемных правых экстремистов. Во-вторых, идет постоянное нарастание центробежных тенденций в регионах проживания коренных этнических групп (Тишков, Шнирельман 2007). Политическое обособление исторических регионов Великобритании, как Шотландии, так и Уэльса, из области теоретических дебатов переходит в сферу политической практики. Схожие процессы

наблюдаются и во Франции, где наряду с радикальным корсиканским движением набирают силу национальные движения других регионов – Бретани, Окситании, Эльзаса. В испанской Каталонии приняты закон о языке и новый региональный статут, которые устанавливают приоритет каталанского языка над государственным кастильским языком на территории этого автономного сообщества и, фактически, признают население этого региона отдельной нацией. Таким образом, национализм в Западной Европе не только становится все более интенсивным, но и усложняет свои проявления. [См. статью *Регионализм*.] Согласно скептическим оценкам, «всплеск этнических конфликтов в западных странах свидетельствует, что этничность не стоит трактовать лишь в терминах уходящего традиционализма, из которого Запад уже вырос» (Hogowitz 1985: 97).

V. Национализм в эпоху глобализации

Тем не менее, в настоящее время многие специалисты говорят о переосмыслении понятия нации в связи с завершением эпохи модерна. По их мнению, постмодернистский контекст, в котором реализуются глобализационные сдвиги, лишает межэтнические противоречия принципиального значения в силу активизации иных, прежде второстепенных, социальных общностей. Поддерживая эту точку зрения, ссылаются, в частности, на имеющий место «перенос лояльности» с национального государства на «наднациональные» региональные объединения типа Европейского Союза. Соответственно, становление принципиально новой «европейской идентичности» свидетельствует, как предполагается, об *упадке национализма* – по крайней мере, в одном регионе. [См. статьи *Интеграция*, *Постмодернизм*, *Регионализм*.]

С другой стороны, по наблюдению английского социолога Энтони Гидденса (р. 1938), нынешний национализм делается все более *локальным*: происходит своеобразное переключение националистических чувств и настроений с национального государства, отступающего под натиском новых отношений и практик, на менее широкие общности регионального и местного плана. Именно отсюда проистекают импульсы, направленные на защиту местной политической автономии и стимулирование культурной идентичности регионального

типа. Процесс «локализации национализма» весьма способствует укреплению роли и значения регионов, причем как в Европе, так и за ее пределами. Правда, такого рода национализм следует признать национализмом нового, нетрадиционного типа.

Впрочем, согласно господствующей ныне точке зрения, глобализация, несмотря на присущее ей всестороннее переосмысление роли национального государства, стимулирует не столько упадок наций, сколько глобальное этническое возрождение. Так, электронные средства массовой коммуникации, унифицируя культуры, одновременно позволяют национальным общностям более эффективно, чем прежде, отстаивать свою самобытность. По нашему мнению, вследствие процессов глобализации, повсеместно стирающих этнические и лингвистические особенности, национализм как политический феномен обретает второе дыхание. Наблюдаемый в последние десятилетия подъем этнического самосознания, а также его политические импликации, обусловлены нарастающей незащищенностью этнических и языковых групп, особенно малых, и их стремлением отстоять свою самобытность в условиях глобального миропорядка. [См. статью *Глобализация*.]

Оценивая перспективы национализма в глобальном мире, нельзя забывать и о том, что политическое развитие человечества по-прежнему остается крайне неравномерным. Это означает, что те тренды, которые определяют динамику межэтнических отношений в зоне распространения постмодернистских установок и ценностей, неправомерно переносить на все человечество. [См. статью *Постмодернизм*.] Иными словами, отступая и затухая в одних частях планеты, национальные противоречия ярче и интенсивнее вспыхивают в других. Так, африканские страны, приступившие к модернизации сравнительно недавно, в ходе реформирования ломают традиционные порядки и уклады своих обществ, с огромным трудом возводя на их месте современные структуры и институты. В условиях крайней социальной хаотичности и неопределенности значение этничности возрастает: в отстающих социумах «этническая принадлежность переживается неизменно остро, базирующееся на этничности поведение санкционируется нормативно, а этническое самоощущение зачастую сопровождается враждебностью по отношению к иным группам» (Horowitz 1985: 7). В условиях, когда любой другой человек является либо кровным родственником, либо врагом, а структуры-посредники типа

гражданства не воспринимаются населением вовсе, национализм не только сохраняет, ни и преумножает свой потенциал. Как фактор политической мобилизации, он имеет большое будущее и в XXI веке, прежде всего в «третьем мире», где всеобщая унификация и нивелировка отождествляются с нарастающей и всеобъемлющей экспансией Запада.

VI. Национальный вопрос в современной России

Для России, которая всегда была полиэтничным государством, национальная проблематика традиционно обладает особой важностью. Во всех фундаментальных преобразованиях, которые в последние столетия пережила отечественная государственность, неизменно был задействован этнический фактор. Националистическая мобилизация сыграла ключевую роль и в крушении Российской империи, и в крахе Советского Союза. Возможность очередной смуты на этой почве должна постоянно учитываться аналитиками и творцами государственной политики, особенно в свете тех неоднозначных итогов, которыми завершился для нашей страны посткоммунистический транзит.

Одним из принципиальных источников риска выступает *сопряжение этноса и территории*, присущее российскому федерализму. Заложив этот принцип в фундамент своего государства, большевики наделили суверенитетом народы, многие из которых ранее вообще не знали государственности. Как справедливо отмечает Хобсбаум, «идея советских республик казахской, киргизской, узбекской, таджикской или туркменской “наций” была скорее чисто теоретической конструкцией советских интеллектуалов, нежели исконным устремлением любого из перечисленных народов» (Хобсбаум 1998: 264). От Советского Союза эта проблема, правда, в меньших объемах, по наследству перешла и к России. Причем потенциал этого «рукотворного» очага беспокойства по-прежнему остается высоким, тем более что в последние десятилетия наша страна не слишком преуспела в строительстве *многоэтничной гражданской нации* (Тишков 2001: 7), идеология которой была бы нацелена на сглаживание межэтнических различий. Отсутствие внятной, сплачивающей народ идеи и четко структурированного национального проекта, ориентированного в будущее, а не в

прошлое, благоприятствует националистическому брожению в целом ряде российских регионов. Латентная форма этих процессов не должна вводить в заблуждение, ибо они способны в полной мере проявить себя в тот или иной кризисный период. [См. статью *Федерализм*.]

В процессах этнической мобилизации последних двадцати лет можно выделить два этапа, которые соответствовали, во-первых, стихийной регионализации 1990-х годов и, во-вторых, попятной централизации, разворачивающейся с 2000 года. В последнее десятилетие XX века национализм развивался преимущественно в республиках, которые стали «пионерами» российской федерализации. В этих регионах довольно быстро и динамично шло становление этнических элит, сопровождавшееся подъемом антирусских настроений и выдавливанием русских с ключевых политических и экономических позиций. Но с началом нового тысячелетия, как полагают некоторые исследователи, на смену малому национализму республик приходит большой и агрессивный русский национализм (Ларюэль 2008). На наших глазах, утверждают они, идет активное возрождение мифа о «русском народе-богоносце», наделенном уникальными духовными качествами, которые позволяют ему претендовать на мессианскую роль в мировой истории. При этом подразумевается, что исполнить такую роль русские смогут лишь при условии безусловной преданности своему государству, в пользу которого можно добровольно отказаться от стандартного для демократического устройства набора политических прав и свобод. [См. статью *Импери*я.]

Такой подход, зачастую поддерживаемый самой государственной властью, встречает активное понимание у населения, особенно у жителей средних и малых городов и российской «глубинки». Так, доля наших сограждан, поддерживающих лозунг «Россия для русских», согласно социологическим опросам, в последнее время постоянно растет. Превращение агрессивного русского национализма в системный фактор развития российского общества, если оно состоится, станет довольно опасной тенденцией. Хотя в целом пример России в этом отношении едва ли можно считать уникальным: масштабное переустройство любого многосоставного социума сопровождается, как правило, всплеском националистических чувств. Ибо, согласно наблюдению Мирослава Хроха, «когда

терпит крах общество, последней опорой начинает казаться нация» (Хобсбаум 1998: 274).

Литература

- *Андерсон Б.* 2001. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма. М.: КАНОН-пресс.
- *Геллнер Э.* 1991. Нации и национализм. М.: Прогресс.
- *Нации и национализм.* М.: Праксис, 2002.
- *Ноженко М.* 2007. Национальные государства в Европе. СПб.: Норма.
- *Ларюэль М. (сост.).* 2008. Русский национализм: социальный и культурный контекст. М.: Новое литературное обозрение.
- *Смит Э.* 2004. Национализм и модернизм. Критический обзор современных теорий наций и национализма. М.: Праксис.
- *Тишков В.А.* 2001. Этнология и политика. М.: Наука.
- *Тишков В.А.* 2003. Реквием по этносу. Исследования по социально-культурной антропологии. М.: Наука.
- *Тишков В.А., Шнирельман В.А. (ред.).* 2007. Национализм в мировой истории. М.: Наука.
- *Хобсбаум Э.* 1998. Нации и национализм после 1780 года. СПб.: Алетейя.
- *Horowitz D.* 1985. *Ethnic Groups in Conflict.* Berkeley: University of California Press.
- *Hutchinson J.* 1994. *Modern Nationalism.* London: Fontana.

Политическая культура

I. Понятие политической культуры и ее типы

Впервые концепцию *политической культуры* в середине 1950-х годов выдвинул американский социолог Габриэл Алмонд (1911–2002). Обосновывая новое понятие, он исходил из двух положений: во-первых, политическая культура обладает определенной автономией и в то же время связана с общей культурой; во-вторых, она не совпадает с политической системой, поскольку присущие индивидам модели отношения к политике шире, нежели рамки политических систем. Вводя новый термин в научный оборот, его сторонники рассчитывали, что он позволит преодолеть недостатки таких умозрительных конструкций, как, например, «национальный характер» или «культурный идеал», а также дать адекватное толкование эффективности применения демократических институтов в одних районах мира и их неработоспособности в других (Мельвиль 2002: 481 – 484).

В хрестоматийной работе «*Гражданская культура*» (1963) Габриэл Алмонд и Сидней Верба (р. 1932) уточнили концепцию политической культуры. Именно здесь было дано ее классическое толкование в качестве политической системы общества, преломленной в знаниях, чувствах и оценках населения, составляющего это общество (Almond, Verba 1965). Иначе говоря, понятие политической культуры выступает в роли концептуального инструмента, ликвидирующего разрыв между изучением отдельного индивида и политической системы в целом; это своеобразное «связующее звено между микрополитикой и макрополитикой» (Almond, Verba 1965: 32). Среди наиболее плодотворных практических выводов этого исследования был, в частности, тезис о том, что институты и типы их действия в каждой политической системе *должны соответствовать* политической культуре нации.

С тех пор проблематике политической культуры был посвящен огромный массив исследовательской литературы (Мельвиль 2002: 484 – 490). Тем не менее, общепринятое ее понимание до сих пор так и не удалось сформировать. По **135**

оценкам скептиков, к политической культуре относят все то, что мы не понимаем или не можем объяснить в политической системе (Далтон 1999: 332). В связи с этим ряд авторов ставит под сомнение эвристические достоинства и даже самую правомерность этого понятия (Морозова 1998: 41 — 47). На сегодняшний день, однако, пессимисты пребывают в меньшинстве, чему в значительной степени способствовало переосмысление и обогащение спорного термина самими его авторами (Almond, Verba 1980). Более того, в последние три десятилетия появились впечатляющие исследования, приводящие дополнительные аргументы в пользу теории политической культуры. К таковым, в частности, можно отнести предпринятое американским исследователем Робертом Патнэмом (р. 1941) и ставшее классическим обоснование зависимости, связывающей политические взгляды граждан Италии и культурные традиции различных регионов этой страны (Патнэм 1996). Здесь же следует упомянуть и многочисленные работы другого американца, Рональда Инглхарта (р. 1934), посвященные сравнительному исследованию политических ценностей (Инглхарт 2002; Inglehart, Welzel 2005).

Новая волна демократизации, поднявшаяся в 1980-е годы и постепенно охватывавшая все новые государства, обострила интерес к *культурным предпосылкам* политического развития (Далтон 1999: 331—335). Исходя из того, что политическая культура нации оказывает самостоятельное влияние на социальное поведение, специалисты пытаются разобраться в сложностях демократического транзита в Восточной Европе, Юго-Восточной Азии, Латинской Америке. Особый интерес представляет выяснение того, насколько она стабильна и подвержена принципиальным преобразованиям. Кроме того, на первый план выходит проблема универсальности политической культуры, необходимой для создания эффективной демократии: только ли образцы, рожденные в англосаксонских странах, делают демократическую систему «работающей» или же возможны иные ее культурные основания? [См. статью *Демократия*.] Многообещающим выглядит тот факт, что указанная проблематика все больше начинает интересовать российских ученых (Пивоваров 2006).

Типологии политической культуры посвящена довольно обширная литература. До сих пор классической считается систематизация Алмонда и Вербы, которые в 1960-е годы вы-

делили три «чистых» разновидности политической культуры: приходскую, подданническую и партиципаторную (культуру участия). *Приходская культура* характеризуется слабыми знаниями населения о государстве: граждане не слишком озабочены общими проблемами его существования, поскольку замыкаются на принадлежности к своей «малой родине» — приходу, деревне, региону. Для этого типа культуры характерны индифферентность и аполитичность большинства населения. Приходская культура может занимать доминирующее положение в новообразованных государствах, например, в африканских странах, хотя частично сохраняется и в индустриально развитом мире. Носители *подданнической культуры* воспринимают государство в качестве единственного источника норм и правил, обязательных для исполнения. От государственной власти здесь ожидают как наказания, так и блага, а за гражданами закреплена единственная роль — быть объектом политики государства. Обратной связью, то есть импульсами, идущими от граждан к государству, в контексте подданнической культуры в основном пренебрегают. Наконец, *культура участия* основывается на двустороннем процессе: государство сверху вырабатывает нормы и правила, а население имеет широкие каналы и эффективные возможности воздействия на принятие политических решений и активно их использует (Almond, Verba 1965: 11–26).

Основная цель Алмонда и Вербы заключалась в выделении того типа политической культуры, который в наибольшей степени способствует развитию демократического общества. Их вывод заключался в том, что для демократии особенно благоприятен тип, отличающийся преобладанием культуры участия, но в значительной мере уравновешенный элементами двух других «чистых» типов. Такая комбинация получила название *гражданской культуры*. В описанном идеальном сочетании граждане довольно активно вовлечены в политику с тем, чтобы сообщать правителям о своих настроениях и предпочтениях, но при этом они погружены в политические дела не до такой степени, чтобы отвергать все решения власти, с которыми не согласны. Именно такая культура выступает основой демократического режима, поскольку позволяет органично сочетать народный контроль над властью и эффективное управление (Almond, Verba 1965: 29–30). Важно понимать, что трактуемая таким образом гражданская культура ориентирована на относительно гомогенное, цельное в политическом отношении

общество, а не на общество расколотое, многосоставное, находящееся в процессе транзита и не имеющее ценностного консенсуса. Сегодня понятие гражданской культуры вышло за рамки политической науки и широко используется в других областях гуманитарного знания.

II. Политическая культура и постматериализм

Характеризуя особенности политической культуры современного Запада, исследователи обращаются к понятию так называемых *постматериалистических ценностей*. Оно сформировалось в «золотую эру», наступившую после Второй мировой войны и продолжавшуюся до нефтяного кризиса 1973 года. Беспрецедентный экономический рост, относительно спокойное развитие мировой политики, а также укрепление системы социального обеспечения произвели, по словам Инглхарта, «тихую революцию» в политической культуре развитых стран. Удовлетворение подавляющим большинством населения своих базовых потребностей в пище, предметах потребления и жилье выдвинуло на первый план ценности иного порядка: на смену борьбе за выживание пришло стремление совершенствоваться и постоянно повышать *качество жизни* (Мельвиль 2002: 502-505). Экономический прогресс влечет переход от *«ценностей выживания»* к *«ценностям самовыражения»*, которые включают в себя установки, благоприятствующие демократии. В частности, материальное благополучие резко повышает уровень межличностного доверия в обществе. Социологическое изучение ценностных установок, разделяемых гражданами различных стран мира, убедило экспертов в наличии прямой зависимости между распространенностью постматериалистических взглядов и устойчивостью демократического порядка (Inglehart, Welzel 2005).

Общества, где преобладают «ценности выживания», отличаются относительно низким уровнем благосостояния, отсутствием доверия между людьми, нетерпимостью к инакомыслящим, повышенным интересом к материальным аспектам жизни, готовностью поддерживать авторитарные режимы. И наоборот, общества, руководствующиеся «ценностями самовыражения», по всем вышеперечисленным позициям придерживаются противоположных взглядов. «Ориентация на ту или

иную разновидность ценностей имеет важные объективные последствия. Государства, в которых господствуют “ценности самовыражения”, имеют больше шансов стать стабильными демократиями, нежели страны, ориентированные на “ценности выживания”» (Инглхарт 2002: 112). Возможность выражать себя свободно и созидательно стимулирует формирование и поддержание горизонтальных связей, воплощаемых в гражданском обществе. Именно эти связи выступают ферментом общественного доверия. В то время как господство иерархических и централизованных бюрократий снижает в социуме градус доверительности, наличие горизонтальных, снизу произрастающих и снизу же контролируемых организаций благоприятствует межличностному доверию.

Иными словами, экономическое процветание неизменно облагораживает общественную систему, открывая ее для диалога, компромисса, терпимости. Высокий уровень материального благополучия формирует политическую культуру особого рода, повышающую устойчивость демократических институтов. Причем связь между двумя этими компонентами — демократией и культурой — оказывается двусторонней, ибо демократия, прочно утвердившись, гарантирует, в свою очередь, наличие тех культурных, политических, социальных констант, без которых экономическое процветание невозможно. Сказанное означает, что *демократический порядок несовместим с бедностью*, ибо она рождает враждебную демократии культуру (Захария 2004). Более того, политические «производные» демократии — такие, например, как федерализм, — также не прививаются в бедных странах из-за отсутствия культурных оснований. [См. статью *Демократия.*]

Ситуация с культурным наполнением федерализма заслуживает того, чтобы остановиться на ней подробнее, тем более что *федералистская культура* — одна из заметных разновидностей политической культуры. К введению в научный оборот этого понятия подталкивал тот бесспорный факт, что федерации, созданные по одним и тем же юридическим рецептам и правилам, зачастую функционируют по-разному. Наличие федераций-неудачниц, а также случаи хронического неприятия некоторыми территориями федералистских экспериментов позволяют предположить, что в практике федеративного строительства значим не столько *институционально-правовой каркас*, сколько его *культурное наполнение*. Иначе говоря, суть

федерализма надо искать не в определенном наборе *институтов*, но в особом типе *отношений*, складывающихся между политическими акторами.

По мнению апологетов федералистской культуры, для настоящего федерализма требуется наличие своеобразного *человеческого субстрата*, то есть предрасположенность членов того или иного социума к особому типу социальных связей. Его определяющей чертой выступает межличностное партнерство, строящееся на умении убеждать и договариваться. В свою очередь, стремление делить власть, а не узурпировать ее, обуславливает приоритет полицентричной модели политики над моноцентричной. Именно в силу этих особенностей концепт «федералистской культуры» граничит с такими понятиями, как «гражданская культура», «демократическая культура», «либеральная культура». (Захаров 2003: 19–37). [См. статью *Федерализм*.] По той же причине торжество в том или ином обществе «ценностей выживания» не может благоприятствовать усвоению федералистских подходов и методов.

III. Политические субкультуры

Очевидно, что в масштабе государства-нации политическая культура в большей или меньшей степени неоднородна. Благодаря этому у исследователей появляется основание для выделения *политических субкультур*: это происходит в тех случаях, когда политические установки и ценности какой-то общественной группы заметно отличаются от общенациональной политической культуры (Almond, Verba 1965: 26–29). Как правило, носителями политических субкультур выступают группы, компактно проживающие в определенной части страны: например, франкоязычное население Канады, южане или жители Новой Англии в США, «восточные» немцы. Однако возможно существование и таких политических субкультур, которые *не связаны с географией*, – например, субкультуры американских хиппи или яппи.

Важно подчеркнуть, что наличие или отсутствие политических субкультур в том или ином социуме играет ключевую роль в предопределении перспектив его демократического развития. (Кстати, многие исследователи усматривали главный недостаток концепции Алмонда и Вербы как раз в том, что они практически не уделили внимания политическим

субкультурам.) Так, классик современной политической мысли Роберт Даль (р. 1915) полагал, что общество с ярко выраженными и противоборствующими субкультурами – этническими, конфессиональными, культурными, лингвистическими – едва ли сумеет стать обществом развитой современной демократии (Даль 2003). Оценка другого исследователя, Арнда Лейпхарта (р. 1936), была не столь категоричной, но и он считал, что в многосоставных обществах становление и развитие демократии затруднено: по крайней мере, за пределами Запада, с его точки зрения, многосоставное общество в основном «оказывается неспособным сохранить демократические принципы правления» (Лейпхарт 1997: 53).

Иными словами, от фиксации различий между политическими культурами разных народов исследователи постепенно перешли к сопоставлению политических культур субнациональных территориальных единиц. Наиболее активно эта работа проводилась на материале американских штатов. В 1966 году один из наиболее авторитетных исследователей федерализма Даниэл Элазар (1934–1999) высказал предположение о том, что каждому американскому штату присуща одна из трех разновидностей политической культуры: *индивидуалистическая, традиционалистская или моралистическая*. По его мнению, любая из этих вариаций порождает оригинальные разновидности публичной политики и прочих форм социального поведения (Elazar 1972). Упомянутые типы, отличающиеся представлениями их носителей о задачах правительства, характере политической борьбы и особенностях политического участия, выводились из общих культурных особенностей трех «ядер» американского социально-экономического ландшафта – Новой Англии, Юга и срединных атлантических штатов.

В свою очередь, специфика каждого из этих ядер была связана с тем, что их заселяли и осваивали довольно разные группы европейских колонистов. Например, в Новой Англии пуритане распространили моралистическую политическую культуру, в рамках которой общество воспринималось как единый политический организм, а все его члены работают на достижение общей цели, освященной церковью. Далее, на Юге господствует традиционализм с присущим ему восприятием государства как патерналистской и элитарной системы институтов. Наконец, в среднеатлантических штатах чрезвычайно сильна культура индивидуализма, поскольку здесь население

особенно разнообразно в этническом и религиозном отношении, а экономические интересы носят разнонаправленный характер (Elazar 1972: 90–91).

По сути, эти выкладки были близки к построениям авторов «Гражданской культуры», постулировавшим существование «специфически распределенного отношения к политическим объектам среди жителей той или иной страны» (Almond, Verba 1965: 13). Следуя им, Элазар констатировал, что «происхождение специфических паттернов политической культуры зачастую теряется в глубинах времен» (Elazar 1972: 90). Предпринятые в дальнейшем в отдельных штатах эмпирические исследования в целом подтвердили типологию Элазара.

В ряду политических субкультур, описываемых учеными, *региональным политическим культурам* принадлежит особое место. Посвященные им работы, которых в последние годы становится все больше, уже нельзя назвать открытием новой страницы в политической науке, однако интерес к ним стабильно растет. Общая цель изучения региональных политических вариаций заключается в конструировании *психосоциального профиля региона*, а региональная политическая культура выступает своеобразным ключом к толкованию «духа территории». В основе подобных конструкций всегда лежит, разумеется, наличие определенной территориальной целостности и проживающей на ней общности людей. Среди прочих неотъемлемых факторов формирования и развития региональной политической культуры упоминаются развитое региональное самосознание, региональные ценности, общность исторического опыта, своеобразие природных условий и так далее (Бусыгина 2006: 161–173; Морозова 1998: 65–76).

Региональная политическая культура вполне представима в качестве *функции* существования региона, то есть само наличие региона означает наличие на его территории особого склада политических традиций, привычек, стереотипов. Как правило, общенациональная политическая культура либо «перекрывает» ее региональные аналоги (как это имело место, например, в прусской Германии), либо выступает амальгамой различных региональных политических культур. Необходимо также отметить, что региональные и общенациональные политические культуры способны сосуществовать бок о бок, не отрицая друг друга. Скажем, при голосовании на выборах в земельный парламент Баварии и в федеральный парламент

Германии баварский избиратель будет голосовать, исходя из различных, но не отрицающих друг друга ценностных ориентаций. Подобно общенациональной политической культуре, региональные культуры тоже подвержены изменениям: каждая из них — не статичное состояние территории, но постоянный процесс. Более того, представляется, что скорость видоизменения региональных политических культур в целом выше, чем национальных, поскольку регион — более открытая и мобильная система, нежели национальное государство.

Прекрасной иллюстрацией сосуществования в рамках одного государства двух ярко выраженных и отличных друг от друга субкультур является Италия. Одна из особенностей этой страны — устойчивое сохранение двух региональных субкультур, северной и южной, основанных не просто на различных, но во многом несовместимых ценностных системах. Если Север всегда выступал как носитель новаций, передовых социально-экономических практик, опирался на ценности солидарной ответственности, кооперации и взаимопомощи, взлелеянные еще в средневековых «коммунальных республиках», то Юг был хранителем традиционных форм самосознания и образа жизни, его опора — партикуляризм, персональные и клиентелистские связи (Патнэм 1996). Примечательно, что в трактовках этого извечного итальянского дуализма исторические аргументы постепенно отходят на второй план, уступая место таким факторам, как социально-экономические диспропорции и дисбалансы (Морозова 1998: 88–103).

IV. Политическая культура современной России

Политическая культура современной России, как и само российское общество, в высшей степени пестра и противоречива. Она состоит из множества разнородных пластов, которые далеко не всегда совпадают с западными аналогами — так, само понятие гражданской культуры выступает у нас осознанным заимствованием. Пытаясь выделить ее основные особенности, исследователи отмечают, что одним из главных отличий российской политической культуры от западной политической культуры выступает *отношение к государству*, а ее ключевой характеристикой оказывается государственный *патернализм* (Пивоваров 2006). «Постсоветские» граждане несут на себе

неизгладимый отпечаток «человека советского», а последний, как известно, в своей повседневной жизни надеялся не столько на себя самого, сколько на заботу и опеку государственного аппарата. Подобное отношение к власти в значительной степени сохраняется и сегодня. Более того, оно усиливается тем фактом, что за последние десятилетия ценности демократии так и не получили признания большинства россиян, а политические апелляции к ним по-прежнему оставляют население равнодушным. Именно об этом свидетельствует та легкость, с которой на смену приоритетам общественного сознания начала 1990-х годов в эпоху Путина пришли «диктатура закона» или «вертикаль власти».

Другая характеристика политической культуры современной России — острое *недоверие к институтам власти*, сочетающееся с отчетливо выраженной персонификацией политики. Так, в последние годы уровень общественной поддержки всех ветвей власти оставался низким, в то время как рейтинг президента страны был довольно высок, причем речь идет лично о президенте, а не об институте президентства как таковом. По-видимому, здесь мы также имеем дело с довольно древним стереотипом, сложившимся еще в царской России и благополучно пережившим Россию коммунистическую.

Еще одной особенностью российской политической культуры является существование в стране больших социальных групп, отчетливо противостоящих друг другу по приоритетным убеждениям, нормам и ценностям. Специалисты называют этот феномен «модернизационным расколом», вызванным антагонизмом между социальным обновлением и противодействием ему. [См. статью *Модернизация*.] Помимо этого главного разлома широко отмечаются характерные для России политические размежевания между севером и югом («феномен 55-й параллели»), западом (до Урала) и востоком страны, городом и селом, центром и периферией. Последний из этих конфликтов обусловлен чрезмерной централизацией советского периода, которая до сих пор не только не преодолена российским обществом, но по некоторым параметрам даже усиливается. [См. статьи *Империя* и *Регионализм*.]

В современной России процесс формирования региональных идентичностей и политических культур далек от завершения. В политико-географических исследованиях, посвященных нашей стране и постсоветскому пространству, в пределах быв-

шего СССР выделяют, как правило, *три субкультуры*: западную, азиатскую и русскую. В России *западная* политическая культура представлена (но не доминирует) в Москве, Санкт-Петербурге и ряде крупных городов, в то время как *азиатская* преобладает в некоторых национальных республиках. Что касается остальных территорий, то там преобладает *русская* политическая культура с присущей ей сакрализацией власти и политики (Бусыгина 2006: 170–171).

Согласно другим исследованиям, наряду с преобладающей электоральной культурой («европейской»), в нашей стране выделяется особая электоральная культура «национальных образований» («азиатская»). Различия между ними определены, в частности, как различия между инновационным центром, вводящим европейские представления о свободных конкурентных выборах, и консервативной периферией, где эти импульсы искажаются и где сохраняются старые, советские формы политического мышления и поведения. (В этом контексте речь может идти, например, о некоторых территориях Северного Кавказа, где родоплеменные традиции часто диктуют правила электорального и, в более широком плане, политического выбора.) Помимо этого эксперты выделяют около двадцати так называемых управляемых регионов с особой электоральной культурой, которые не подчиняются общим закономерностям (Бусыгина 2006: 171).

Еще пятнадцать лет назад на карте региональных идентичностей России существовали огромные лакуны: так, можно было четко различать Москву, Санкт-Петербург, несколько крупных центров, ряд национальных республик и аморфное «все остальное». В последние годы, однако, ситуация стремительно меняется. В качестве основной причины взрывного роста региональной идентичности в России 1990-х годов исследователи указывают на реакцию, вызванную потерей советской идентичности в условиях, когда она не могла быть заменена русской этнической идентичностью.

Довольно популярны сейчас попытки сравнительной оценки выраженности или развитости региональной идентичности по отдельным регионам России. Согласно одному из подобных исследований, наиболее развитой идентичностью отличаются шестнадцать регионов. Среди них Москва и Санкт-Петербург, пять национальных республик с преобладанием титульных этносов (Северная Осетия, Татарстан, Тыва, Чечня и Чувашия),

три казачьих региона — (Ростовская область, Краснодарский и Ставропольский края). Здесь же и несколько областей — «княжеские» Новгородская и Рязанская, «пограничные» Омская и Курская, «старорусские» Тульская и Костромская (Петров 2003).

Таким образом, в современной России имеет место сложный, противоречивый и запутанный процесс взаимодействия разных культурных ценностей, принимающий подчас характер хронического и, возможно, неразрешимого в обозримой перспективе конфликта. Причем инерционность всей отечественной политической культуры служит дополнительным препятствием для его благоприятного разрешения.

Литература

- Бусыгина И.М. 2006. Политическая регионалистика. М.: РОССПЭН.
- Далтон Р. 1999. Сравнительная политология: микроповеденческий аспект // Гудин Р., Клингеманн Х.-Д. (ред.). Политическая наука: новые направления. М.: Вече. С. 330–344.
- Даль Р. 2003. Демократия и ее критики. М.: РОССПЭН.
- Закария Ф. 2004. Будущее свободы: нелиберальная демократия в США и за их пределами. М.: Ладомир.
- Захаров А.А. 2003. E Pluribus Unum. Очерки современного федерализма. М.: Московская школа политических исследований.
- Инглхарт Р. 2002. Культура и демократия // Хариссон Л., Хантингтон С. (ред.). Культура имеет значение. Каким образом ценности способствуют общественному прогрессу. М.: Московская школа политических исследований. С. 106–128.
- Лейпхарт А. 1997. Демократия в многосоставных обществах: сравнительное исследование. М.: Аспект Пресс.
- Мельвиль А.Ю. (ред.). 2002. Категории политической науки. М.: РОССПЭН.
- Морозова Е.В. 1998. Региональная политическая культура. Краснодар: Кубанский государственный университет.
- Патнэм Р. 1996. Чтобы демократия сработала. Гражданские традиции в современной Италии. М.: Московская школа политических исследований.
- Петров Н. 2003. Формирование региональной идентичности в современной России // Гельман В., Хонф Т. (ред.). Центр

и региональные идентичности в России. СПб. — М.: Летний сад. С. 125–186.

- *Пивоваров Ю. С.* 2006. Русская политика в ее историческом и культурном отношении. М.: РОССПЭН.

- *Elazar D.* 1972. American Federalism: the View from the States. 2nd ed. N.Y.: Thomas Crowell.

- *Almond G., Verba S.* 1965. The Civic Culture. Boston & Toronto: Little, Brown and Company.

- *Almond G., Verba S. (eds.)*. 1980. The Civic Culture Revisited. Princeton: Princeton University Press.

- *Inglehart R., Welzel C.* 2005. Modernization, Cultural Change, and Democracy. Cambridge: Cambridge University Press.

Постмодернизм

I. Особенности постмодернистского проекта

Около полувека назад в нескольких областях культуры, прежде всего в архитектуре, живописи, литературе, киноискусстве начал формироваться новый подход к осмыслению мира, для обозначения которого был предложен термин «*постмодернизм*». Постмодернистский взгляд на мир — это совокупность концепций, отражающих новые реалии социума, пережившего научно-техническую революцию и вступившего в постиндустриальную эпоху с присущими ей технологиями (прежде всего, компьютерными), которые задают новые стили и способы коммуникации, соответственно изменяя мышление и поведение. Неоднократно отмечалось, что постмодернизм во всех его разновидностях довольно скептически относился к существованию объективной реальности и возможности ее постижения разумом. Он тяготел к радикальному релятивизму, бросая вызов миру, преобразованному наукой и техникой, а также идеологии прогресса, отражающей такое представление (Алексеева 2000; Барабанов 2001; Ильин 1998). При этом постмодернистское состояние ума не поддавалось географической фиксации; оно не имеет родины, ибо зародилось и утверждалось одновременно в целом ряде регионов. Впрочем, как полагал французский культуролог Жак Деррида (1930–2004), самой постмодернистской страной сегодня является Япония.

Американский социолог Даниэл Белл (р. 1919), благодаря работам которого постмодерн был выделен как особый тип цивилизации, связывает постмодернизм и *постиндустриализм*. По его мнению, современные общества характеризуются *множественностью, разнообразием*, ярко выраженным (иногда даже избыточным) *плюрализмом*. В этом их принципиальная новизна. Причем отмеченные черты характерны и для социума в целом, и для отдельных субъектов, каждый из которых имеет *множественные идентичности*, а также различные и противоречивые ценности и интересы, нередко конфликтующие между собой. Современный человек не только постоянно сталкивает-

мится практиковать ее. Данная особенность с неизбежностью предопределяет плюралистическую структуру всей социальной ткани постиндустриального и постмодернистского общества. Постмодерн отличается подчеркнутой «нецентрированностью» мировосприятия. Неслучайно это движение начиналось с последовательного отрицания любых установленных критериев ценности искусства или даже самой возможности эстетической оценки.

Еще одной чертой общества постмодерна, согласно Беллу, является *отказ от доминирования привычных, «современных» институтов*: таких, например, как нуклеарная семья, стандартное массовое образование, крупные корпорации, иерархически организованные профсоюзы, централизованные национальные государства. Напротив, постсовременные общества основываются на признании разнообразия культурных традиций, сохранившихся вопреки свойственному эпохе модерна стремлению к стандартизации (Bell 1998).

Некоторые исследователи рассматривают постмодернизм не как новую стадию развития обществ, но как явление *протестного характера*, как своего рода бунт против модернизма. При этом постмодернистский скептицизм по отношению к предшествующей эпохе в значительной мере порожден глубоким разочарованием не столько в ходе обновленческих процессов в западных обществах, сколько в самой идее модернизации как универсального рецепта для процветания социума. [См. статью *Модернизация*.] Прежде всего, бунт вызван отличающим эпоху модерна стремлением к полной рационализации жизни, к созданию сугубо технологической цивилизации. Французский философ Жан-Франсуа Лиотар (1924-1998) определял постмодернизм как *разрушение универсалистских и рационалистических основ модернизма*. При таком прочтении главной предпосылкой постмодернизма оказывается признание того, что период развития человечества, который характеризовался рационализмом, верой в линейный прогресс, абсолютную истину, рациональное планирование социального порядка, господством метаидеологий, торжеством массового производства и массового потребления, стандартизацией производства и воспроизводства знаний, уже завершился или близок к неизбежному завершению (Лиотар 1998).

По словам Дэвида Харви (р. 1935), в то время как модернистской культуре были присущи «монотонность» и «однообразие»,

постмодернизм опирается на неоднородность и поощрение различий как *освобождающих сил, с помощью которых переопределяется культурный дискурс*. Фрагментация, неопределенность и подчеркнутое недоверие к любым универсальным, «тотальным» дискурсам лежат в основе постмодернистского взгляда на мир. Постмодернизм полностью принимает эфемерность, непоследовательность, бесформенность. Харви приводит интереснейший список мировоззренческих противопоставлений модернизма и постмодернизма. Среди упоминаемых им пар есть, в частности, следующие: форма и антиформа, цель и игра, дизайн и шанс, иерархия и анархия, создание и деконструкция, присутствие и отсутствие, центрированность и дисперсность, жанр и текст, семантика и риторика, паранойя и шизофрения, метафизика и ирония (Harvey 1994).

Поскольку на первый план выдвигается *тотальная субъективность* критериев человеческого отношения к бытию, постмодернистский ландшафт предполагает серьезное переосмысление личного начала и его места в мире. Традиционные представления о времени и пространстве с присущим им проведением четких разграничительных линий теряют свое значение. Барьеры между объектом и субъектом, между «я» и «не-я» решительно размываются; причем их взаимная замена, возможная в любой момент, происходит не только в результате сознательного усилия, но и по воле случая. Постмодернистское мышление вообще не признает дихотомии субъективного и объективного, внутреннего и внешнего, центрального и периферийного. Фундаментальная случайность бытийственных конфигураций не позволяет «по-настоящему» перестраивать и переделывать мир; человек не способен делать что-либо всерьез — он может лишь играть с миром и в мире. *Игра становится универсальным принципом социального действия*.

II. Концепции постмодернизма

Впервые термин «постмодерн» появился в работе немца Рудольфа Паннвица (1886–1969) «*Кризис европейской культуры*», опубликованной в 1917 году. В первой половине 1940-х годов им пользовался Арнольд Тойнби (1889–1975), описывая состояние современной западной цивилизации. Затем, на протяжении 1960-х и 1970-х годов, это понятие прочно утвердилось в литературоведении и архитектуре. В качестве особой школы

социальной и философской мысли постмодернизм формируется несколько позже, к концу 70-х годов XX столетия. В настоящее время этот термин используется предельно широко: по словам католического богослова-новатора Ганса Кюнга (р. 1928), его следует употреблять не как историко-литературное или теоретико-архитектурное, а как всемирно-историческое понятие (Иноземцев 1998: 133–146).

Одним из первых его теоретиков стал Жан Бодрийяр (1929–2007), концепцию которого иногда называют *прото-постмодернистской*. Бодрийяр констатировал конец эпохи *индустриального модернизма* и приход ей на смену *постиндустриального постмодернизма* с сопутствующим ему появлением новых форм культурной и социальной жизни. По мнению этого мыслителя, полное обособление экономической сферы в эпоху модерна лишило смысла сам производственный процесс; такие понятия, как «производство», «потребление», «труд» утратили связь с реальностью, то есть *перешли в режим знаков*. Однако, потеряв свое материальное назначение, труд «воскресает как социальная симулятивная модель» (Бодрийяр 2000: 59), делая симуляцией все остальные категории политэкономии. Экономика, а вслед за ней и культура превращаются в бесконечное тиражирование одних и тех же действий, процессов, вещей. Для постмодернистского мира характерно преобладание подражания и копирования — «мы живем в эпоху симуляций». Процесс симуляции приводит к возникновению *симулякров*, то есть репродукций объектов и событий, причем отличить реальность от ее симуляции становится все сложнее и сложнее. «При серийном производстве вещи без конца становятся симулякрами друг друга, а вместе с ними и люди, которые их производят» (Бодрийяр 2000: 121). При этом речь идет не о ложном восприятии реальности, но о том, что реальность как таковая *изначально включает* симуляции в собственную структуру. Бодрийяр описывает мир как *гиперреальность*, и это означает полную неразличимость реальности и симуляции (Бушмакина 2003: 51–58).

В свою очередь, Лиотар сосредоточил внимание исключительно на философском наполнении постмодерна. Философия постмодернизма, полагает этот мыслитель, в теоретической форме осваивает то, что модернистское искусство предварительно пережило в художественной форме. Он выделяет в жизни современного общества два основных момента: *распад*

единства и рост плюрализма. Постмодернистский мир освобождается от *метанарративов* — великих «всеобъясняющих повествований», под которыми понимаются главные идеи эпохи модерна — прогресс, эмансипация личности, освобождение труда и т.д. (Согласно Лиотару, постмодернизм в целом можно определить как «недоверие к метаповествованиям».) Истина теперь определяется лишь исходя из разнообразия локальных форм «обыденного знания». Лиотар, таким образом, отрицал универсальный рационализм и приветствовал утверждение *контекстуализма*. Конец великих метанарративов открывает безграничные возможности для гетерогенных языковых игр как важнейших форм человеческой активности и жизненных форм вообще. Главное для Лиотара — формирование и поддержание диверсивности, различности. Понимание и консенсус, по его мнению, существуют лишь внутри языковых игр, но не за их пределами; метаязык невозможен (Лиотар 1998).

Теоретики постмодерна признают, что новую эпоху отличает перенос акцентов с *общего* на *отдельное*, с отношений между *вещами* — на *человеческие* взаимоотношения. По словам современного немецкого философа Петера Козловски (р. 1952), культура модерна в своих основополагающих принципах техноморфна, в то время как культура постмодерна антропоморфна. Постмодернистское общество фрагментируется, начинает походить на мозаику, составленную из малых групп. В нем утверждаются настроения эфемерности, непостоянства, брэнности. Постмодернистское мышление направлено не на анализ прошлого и/или конструирование счастливого будущего, но на «малое» настоящее по принципу «здесь и сейчас». Личность во все более возрастающей степени ориентируется на контекст, а эстетика превалирует над этикой. Постмодернистское восприятие мира отличается *деструктурированностью* и *деконструктивностью* (Козловски 1997).

Отказ от приоритета разума в культуре, присущий постмодернизму, оборачивается жесткой критикой основных категорий мировоззрения модерна. В ходе этого процесса вскрывается коренное видоизменение отношений субъекта и объекта познания. Превращение реальности в симулякр ведет к тому, что традиционный объект уходит со сцены; познающий субъект замыкается на себя — становится собственным объектом. Как утверждал французский литератор и философ Жорж Батай (1897–1962), внесший особый вклад в оформление но-

вых представлений о субъекте, существование мыслящего «я» недостоверно, поскольку абсолютно случайно. Но если дело обстоит именно так, то тогда *бытие и небытие совпадают*, а неразличимость реальности и не-реальности упраздняет всякую возможность определения чего бы то ни было. Понятия исчезают, а мыслительный процесс прекращается. На смену мышлению приходит медитация. В лице мыслящего субъекта мир теряет свой естественный центр; происходит *децентрализация бытия* (Бушмакина 2003: 84-92; Фокин 2002).

В свою очередь, *метод деконструкции* является основным способом приведения мира к состоянию нерасчлененности и децентрированности. Деконструкция опрокидывает бинарные противоположности, которыми постоянно оперирует рациональное начало. «Задача заключается в том, чтобы снять саму структуру оппозиции, — пишет Деррида. — Но вместе с тем диалектика переворачивания, или опрокидывания, не предполагает никакой перемены самой структуры». Деконструкция означает изобличение конечных смысловых возможностей, подведение смыслов к их естественному пределу. Результатом этой процедуры становится очищение понятийных структур — выход в ту сферу, где создаются новые смыслы (Рыклин 2002: 11).

III. Постмодернизм в экономике

Постмодернистские тенденции в экономике обычно связывают с закатом эры *фордизма*, основанной на жесткой системе массового производства и глубоком разделении труда. Символической датой ее рождения можно считать 1914 год, когда Генри Форд (1863—1947) установил восьмичасовой рабочий день на автоматической линии по сборке автомобилей с твердой повременной оплатой. После 1945 года фордизм стал полноценным режимом капиталистического накопления; фактически, эта система послужила основой длительного послевоенного экономического бума, который продолжался до 1973 года. Как известно, в тот период развитые капиталистические страны демонстрировали значительные и стабильные темпы экономического роста. Массовое производство означало стандартизацию продуктов и утверждение массового потребления: *фордизм возрос на философии модернизма*, особенно на

таких его ценностях, как рациональность, функциональность и эффективность.

Однако уже в начале 1970-х годов стало ясно, что методология фордизма не в состоянии справиться с внутренними противоречиями и проблемами капитализма, прежде всего из-за излишней жесткости системы. Резкий экономический спад, вызванный «нефтяным шоком», вынуждал передовые капиталистические общества к немедленному поиску новых хозяйственных практик. Такой новой практикой или, вернее, комплексом практик, стало «гибкое накопление», вступившее в прямую конфронтацию с принципами фордизма. Оно было основано на гибком отношении к трудовым процессам, рынкам труда, производству и потреблению. В рамках этой новации начало развиваться «умное» и инновативное предпринимательство, основанное на быстром принятии «точечных» решений. Географически дисперсные и мелкомасштабные производства стали теснить огромные и неповоротливые концерны. Точная информация, специализированные знания оказались крайне ценным и даже ключевым товаром; решающее значение для успеха бизнеса приобрел доступ к информации и контроль над ней. Как отмечает Владислав Иноземцев (р. 1968), в начале 1990-х годов «западные страны вступили в полосу устойчивого роста информационного сектора экономики, ставшего основой хозяйственного прогресса». В частности, в США в 1990-е годы «более 70% валового национального продукта обуславливалось не в сугубо материальной сфере производства, а за счет повышения образовательного уровня работников, распространения новых информационных технологий и других факторов, которые обычно относят к разряду *intangibles*» (Иноземцев 2000: 71).

На смену «организованному» капитализму постепенно приходил капитализм «дезорганизованный», основанный на распространении вытесняющих прежние механистические структуры *рыночных сетей, множественных целях, стратегическом менеджменте*. Традиционные отрасли экономики, прежде всего, добывающий сектор и машиностроение, оказались в глубоком кризисе; напротив, в развитии организационного сектора и сектора услуг наблюдался бум. Период роста крупных промышленных центров и центральных регионов сменился их упадком и деконцентрацией — уходом бизнеса из городов (что привело к возникновению в них серьезных проблем) в

периферийные или полупериферийные зоны. На рынке труда унифицированная оплата сменялась персональной, шло постепенное «размывание» негибкой системы разделения труда, все большее значение приобретали процессы непрерывного обучения и переподготовки. «Общество массового потребления» превращалось в «общество индивидуализированного потребления» (Иноземцев 1999).

Постиндустриальную экономику отличают несколько особенностей. Во-первых, потребление в ней растет, прежде всего, *за счет информационных благ*, а не традиционных массовых промышленных товаров. Это означает, что сырье и ресурсы играют в ее развитии неуклонно сокращающуюся роль. Во-вторых, постоянно расширяется доля населения, которое занято *в производстве высокотехнологичных товаров и услуг*, что уменьшает зависимость постиндустриального мира от стран-производителей промышленной продукции. В-третьих, наиболее эффективной формой накопления становится *развитие людьми собственных способностей*, а самыми эффективными инвестициями делаются инвестиции в человека (Иноземцев 2000; Иноземцев 1998).

Разумеется, было бы явной ошибкой считать, что в конце XX века имела место некая одноразовая и безболезненная замена, в ходе которой одна система капиталистической экономики просто сменилась другой. Напротив, существует немало свидетельств жизнеспособности конвейерного капитализма; его элементы, безусловно, сохраняются и сегодня, особенно в странах «третьего мира». Распространение новой, постфордистской системы организации труда происходит крайне неравномерно как в отраслевом, так и в географическом плане. Нынешняя капиталистическая экономика представляет собой – в традициях постмодерна – некую эклектическую комбинацию модернистских и постмодернистских практик. [См. статью *Глобализация*.]

IV. Постмодернизм и организация социального пространства

Образы города играют в культуре постмодерна ключевую роль, поскольку городская жизнь выступает идеальным примером социальных отношений между незнакомцами. Город, реально существующий и в то же время воображаемый, стал

излюбленным объектом творчества постмодернистов. Видимый и невидимый одновременно, он предстает как важнейшее измерение человеческой жизни и как фундаментальная культурологическая метафора. Первым термин «постмодернизм» по отношению к архитектуре применил в 1975 году американец Чарльз Дженкс (р. 1939). В его трактовке постмодернистская застройка демонстрирует отсутствие единой стержневой идеи и четко выраженную двойственность – своеобразную «осознанную шизофрению». В то время как постройки модерна имели вполне определенный код, в зданиях постмодерна переплетались различные языки, а разные стили органично включались в единое решение с реализацией всех возможностей различных архитектурных направлений.

В сфере архитектуры и городского дизайна постмодернизм можно трактовать как разрыв с модернистским представлением о том, что планирование и городское развитие неизбежно должны базироваться на *масштабных, рациональных и эффективных* городских планах. Постмодернизм, напротив, исходит из тезиса о *неизбежной фрагментации* городской ткани. В этом смысле город уподобляется палимпсесту – древней рукописи, нанесенной на ранее использованный пергамент после того, как с него счистили прежний текст. Старые и новые городские формы накладываются друг на друга и проступают сквозь друг друга, составляя трехмерный коллаж. Уместно отметить, что постмодернисты вообще отрицают модернистское отношение к пространству. Модерн видит в нем нечто, требующее соответствующего оформления и приспособления под социальные нужды; а для постмодерна пространство есть сущность независимая и автономная, складывающаяся в соответствии с эстетическими принципами, которые вполне могут не иметь ничего общего с социальными задачами (Watson, Gibson 1995).

Архитектура постмодернизма с лежащей в ее основе вневременной эстетикой, «очищенной» от прагматических интересов, свою главную задачу видит в поощрении и фиксации различного и разнородного. Возникновение подобной архитектуры было обусловлено двумя существенными технологическими сдвигами. Во-первых, сложились системы современных коммуникаций, которые нарушили привычные границы пространства и времени, так что *дисперсные, децентрализованные и деконцентрированные* городские формы стали более воплощаемыми с технологической точки зрения. Во-вторых,

появились новые технологии (прежде всего, компьютерное моделирование) и новые материалы, позволяющие архитектору или дизайнеру предоставлять клиентам предельно *персонализированный* «продукт».

В отличие от постмодернистской культуры в целом, родину архитектуры постмодернизма можно определить весьма точно — это города восточного побережья США, где была предпринята первая масштабная попытка внедрения новых городских форм. Американские постмодернисты отказываются подчинять город единым стилистическим стандартам; напротив, с их точки зрения, городское целое есть «империя стилей», энциклопедия самых различных вкусов и предпочтений. В этой озабоченности отражением идентичности, как индивидуальной, так и коллективной, следует видеть один из ключей к пониманию постмодернистской архитектуры. Главная задача городских форм состоит в укреплении самых разнообразных этнических и прочих идентичностей. Таким образом, архитектура постмодернизма представляет собой *архитектуру спектакля*; это театр с эклектическим смешением стилей, чередующимся с вкраплениями традиции и абсолютных новаций.

Отметим, что постмодернистская архитектура отнюдь не во всем порывает с практикой модернизма: эти направления роднит стремление к использованию пространственных форм, однако постмодернисты считают каждую такую форму (к примеру, здание) не единым целым, но отдельным «текстом», подлежащим различным, порой несовпадающим прочтениям. В их подходах к архитектурной теории и практике преобладает так называемое «двойное кодирование»: «одновременное использование различных языков архитектуры (от античности до модернистского функционализма, местных стилей и китча) в качестве культурных кодов, рассчитанных как на элитарного, так и массового потребителя» (Барабанов 2001: 89). Фикция, фрагментация, эклектика, хаос — вот настроения, доминирующие сегодня в постмодернистской практике организации социального пространства.

V. Критика постмодернизма

Одна из главных претензий к постмодернизму состоит в том, что он неуместен в силу *незавершенности модернистского проекта* (Хабермас 2005: 7–31). При этом, однако, неясно, что

понимать под его окончательной реализацией. Постмодернистские мыслители настаивают на том, что модерн слишком глубоко интегрировал в себя *дискурс тотальности* с присутствующими ему издержками, прежде всего, в виде всевозможных вариантов физического и духовного насилия. По утверждению Лиотара, все попытки завершения проекта «модерн» есть лишь иллюзия, поддерживаемая ностальгией по единому и целому. А Деррида сравнивал стремление завершить столь масштабное начинание с обреченным на провал строительством очередной «вавилонской башни». В тех условиях, когда сам характер эпохи интенсивно стимулирует разнообразие и непохожесть, курс на однозначность смотрится довольно нелепо, полагают постмодернисты.

Действительно, постмодернистская культура пребывает в стадии становления и потому несет в себе многочисленные внутренние противоречия. Именно они, прежде всего, дают основания для критики. Как правило, наблюдатели выделяют здесь две группы взаимосвязанных проблем: а) усложнение личностного выбора в условиях провозглашаемой равноценности альтернатив и б) затрудненность выработки моральных ориентиров во все более фрагментарном мире. В данной связи Козловски отмечает, что иметь безграничный выбор столь же плохо, как не иметь его вовсе, ибо главное для человека — не *число альтернатив*, но возможность *выбирать свободно*. Между тем, абсолютная равноценность возможностей влечет за собой изгнание смысла из каждого варианта, а это делает любой выбор пустым, ничтожным (Козловски 1997). Более того, в условиях полной равнозначности *споры об истинности* неизбежно будут трансформироваться в *споры о власти*. Неслучайно критики обвиняют постмодернистов в приверженности к «социал-дарвинистской философии языка».

Кроме того, по мнению скептиков, постмодернизм пропагандирует социальную пассивность: ведь если ни один из вариантов заведомо не может быть наилучшим, то тогда согласие с наличным положением вещей оказывается самой логичной позицией. Так, неоднократно обращалось внимание на то, что постмодернисты не собираются заниматься решением имеющихся в мире проблем, а их философия полностью лишена критического духа, ранее присущего экзистенциализму или «критической теории». Иначе говоря, политической импликацией их взглядов предстает неоконсерватизм. [См.

статью *Консерватизм*.] Наконец, в критике постмодернизма существует и более решительное направление, представители которого категорически отказывают ему в содержательности и глубине, считая взгляды своих оппонентов своего рода наваждением, интеллектуальной модой, которая, как и всякая мода, не сможет торжествовать долго.

Впрочем, несмотря на всю справедливость критики постмодернизма, ее радикальные варианты следует признать не слишком состоятельными. Причина в том, что значительная часть социального и культурного пространства в наше время по-прежнему остается под властью модернистских идей, причем такое положение естественно. По утверждению многих специалистов, постмодерн нельзя отождествлять с отрицанием модернизма, поскольку он *включает в себя* модерн, выступает тем общим полем, которое постмодернизм «не может покинуть, даже оспаривая заданные этим полем правила игры» (Барабанов 2001: 90). Это включение происходит на основе конкуренции модернистской идеологии с прочими парадигмами, что и обеспечивает присущий постмодернизму плюрализм.

VI. Постмодернизм в России

В современную Россию интерес к постмодернизму пришел с Запада вскоре после распада Советского Союза. Примечательно, что многое из ценимого постмодернизмом, прежде всего, поверхностность, эклектику, коллаж, у нас не нужно было внедрять искусственно, ибо таковы были особенности самого постсоветского бытия (Барабанов 2002). К примеру, современная архитектура крупных российских городов во многом носит постмодернистский характер, являя собой эклектическую комбинацию самых различных стилей, в рамках которой «сталинский ампир» может соседствовать с предельно функциональными деловыми проектами. И вообще, эстетика социалистического реализма, несущая в себе фундаментальное противоречие между стремлением к утопии и категорической невозможностью ее достижения, удивительным образом перекликалась с грядущей эстетикой постмодернизма; ведь «химеричность постмодерна обусловлена тем, что в нем, как в сновидении, сосуществует несоединимое: бессознательное стремление, пусть и в парадоксальной форме, к целостному и мировоззренчески-эстетическому постижению жизни, - и яс-

ное сознание изначальной фрагментарности, принципиально несинтезируемой раздробленности человеческого опыта конца XX столетия» (Ильин 1998: 5).

Сказанное можно отнести к «бессознательному» постмодернизму, в то время как подлинный его взлет заметнее всего иллюстрирует российская постмодернистская проза, в 1990-е годы шокировавшая читателей предельным обнажением не слишком приятных сторон человеческого бытия. Литературный постмодернизм, черпавший свою энергию, в частности, в московском концептуализме Ильи Кабакова (р. 1933) и в искусстве «соцарта», был направлен на перестройку сознания. Деконструктивные модели Владимира Сорокина (р. 1955) и Виктора Ерофеева (р. 1947) строились на пародировании основополагающих доктрин тоталитарной эстетики и социалистического реализма. Глубинная тема их произведений — исследование насилия над индивидом и навязывания ему определенных моделей мышления. Благодаря этой проблематике их творчество перекликается с исследованиями Деррида в области тоталитарной природы любого утверждающего дискурса (Курицын 2000; Скоропанова 2001).

Помимо этого, развивались и другие направления постмодернистской литературы: связанная с утверждением новых идентичностей женская проза, новая поэтика тела, а также постмодернистская критика. Российская постмодернистская культура обзавелась не только своими писателями и критиками, но и собственными исследователями. Так, в центре исследований Бориса Гройса (р. 1947), анализирующих философию и культуру начальной стадии русского постмодернизма, оказывается проблема деконструкции гуманистического сознания, о которой на Западе писал, в частности, Бодрийяр. Теоретические положения Гройса по своему концептуальному наполнению близки к высказываниям Лиотара.

На Западе всепоглощающий интерес постмодернистской литературы к текстуальности сменился в начале 1990-х годов новой тенденцией: в литературу *вернулся субъект*. Это, однако, был уже не прежний европоцентричный, буржуазный, гетеросексуальный субъект, но его полная противоположность. В центре внимания постмодернистских исследователей оказался анализ идентичностей, ранее подавляемых обществом или государством. В России подобные подходы пока не получили особого развития. Это связано, видимо, с доминирующей до

сих пор идеологией, которая, основываясь на «ценностях выживания», пропагандирует потребность в сильном государстве, превосходство русского народа над иными народами, обычаи традиционной гетеросексуальной семьи. [См. статью *Политическая культура*.] Это позволяет исследователям указывать на своеобразную «безосновательность» отечественного постмодернизма, ибо в России речь идет о постмодернистской культуре, развивающейся в отсутствие самой ситуации постмодерна (Барабанов 2002).

Соответственно, не приходится удивляться тому, что знакомство, например, с отечественной постмодернистской литературой — удел лишь немногих россиян, подавляющее большинство которых не имеет о ней ни малейшего понятия. Тем не менее, в последнее десятилетие этой литературе удалось выйти из подполья и влиться в литературный «*mainstream*» — по крайней мере, в столичных центрах. Эта победа, однако, ведет ее к кризису: с обретением нового статуса она перестала быть авангардным искусством и в значительной мере утратила свой революционный, шокирующий, взрывной порыв.

Литература

- Алексеева Т.А. 2000. Современные политические теории. М: РОССПЭН.
- Барабанов Е. 2002. «Русский постмодернизм» // *Общая тетрадь. Вестник Московской школы политических исследований*. № 1 (20). С. 89–92.
- Барабанов Е. 2001. Контурсы постмодерн(изм)а // *Общая тетрадь. Вестник Московской школы политических исследований*. № 4 (19). С. 85–90
- Бодрийяр Ж. 2000. Символический обмен и смерть. М.: Добросвет.
- Бушмакина О.Н. 2003. Философия постмодернизма. Ижевск: Удмуртский университет.
- Иноземцев В.Л. 2000. Пределы «догоняющего» развития. М.: Экономика.
- Иноземцев В.Л. (ред.). 1999. Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология. М.: Academia.
- Иноземцев В.Л. 1998. За пределами экономического общества. Постиндустриальные теории и постэкономические тенденции в современном мире. М.: Academia — Наука.

- *Ильин И.П.* 1998. Постмодернизм от истоков до конца столетия: эволюция научного мифа. М: Интрада.
- *Козловски П.* 1997. Культура постмодерна. М: Республика.
- *Курицын В.* 2000. Русский литературный постмодернизм. М.: ОГИ.
- *Лиотар Ж.-Ф.* 1998. Состояние постмодерна. М.: Алетейя.
- *Рыклин М.* 2002. Деконструкция и деструкция: беседы с философами. М.: Логос.
- *Скоропанова И.С.* 2001. Русская постмодернистская литература. 3-е изд. М.: Флинта.
- *Фокин С.Л.* 2002. Философ-вне-себя. Жорж Батай. СПб.: Издательство Олега Абышко.
- *Хабермас Ю.* 2005. Политические работы. М.: Практика.
- *Bell D.* 1998. The Cultural Contradictions of Capitalism. 20th ed. New York: Basic books.
- *Harvey D.* 1994. The Condition of Postmodernity. An Enquiry into the Origins of Cultural Change. Oxford: Blackwell.
- *Watson S., Gibson K. (eds.).* 1995. Postmodern Cities and Spaces. Oxford: Blackwell.

Просвещение

I. Просвещение и образование как концепты

Термином «просвещение» (с заглавной буквы) обычно обозначают историческую эпоху в развитии европейской философии, науки, культуры, длившуюся примерно с конца XVII века по начало XVIII века. Принципиальным является то обстоятельство, что эта совокупность политических, экономических, социальных и культурных событий до сих пор оказывает влияние на нашу жизнь (McMahon 2001). Центральным понятием той эпохи стал «естественный свет разума», *lumen naturale*, а основополагающей идеей выступало убеждение в том, что разум есть своего рода универсальный инструмент, посредством которого можно познать все законы, объясняющие кажущийся хаос природного и социального мира. Предполагалось, что именно успешное развитие и применение разума обеспечит моральное совершенствование человеческого рода, которое, в свою очередь, позволит постепенно преодолеть все формы несвободы (Lively 1966) Присущая просветителям вера во всемогущество разума сегодня, возможно, выглядит наивной. Однако, принимая ли традиции просветительского рационализма или же, напротив, критикуя и отрицая рациональность той великой эпохи, мы в любом случае, по выражению французского философа Мишеля Фуко (р. 1926), остаемся «сущностями, в некоторой части исторически определенными Просвещением» (Фуко 1999).

Понятие «просвещение» имеет и другое значение, которое тоже связано с определенным периодом европейской истории, но понимается, скорее, как его важнейшее, сущностное следствие. В этой своей ипостаси, широко утвердившейся в России, термин «просвещение» конкурирует с термином «образование» — зачастую они вообще используются как взаимозаменяемые. На мой взгляд, с такой трактовкой согласиться довольно трудно, поскольку она недопустимо упрощает проблему. Если «образование» понимается как передача знаний, пусть даже глубоких и разнообразных, от учителя к ученику, то «просвещение» соединяет такую передачу с *нравственным осмыслением*

переданного, в результате чего обязательной компонентой просветительства оказывается воспитание. Просвещенный человек, в отличие от образованного, не просто *обладает* обширными познаниями, но умеет и хочет использовать эти знания во благо. Для него знания сами по себе не являются самоцелью, хотя для человека образованного такое вполне возможно. Иначе говоря, в то время как образованный может жить анахоретом, читая книги и приращивая свои и только свои знания, просвещенный человек имеет гражданскую позицию и стремится реализовать ее.

II. Эпоха Просвещения в Европе

Период Просвещения в Европе неслучайно называют «веком разума»: ни до, ни после него достоинства человеческого Разума не ценились столь высоко. Разум был вознесен европейцами на пьедестал, причем это было сделано в ущерб другим человеческим способностям, которые не слишком почитались или даже целенаправленно принижались. В то время Европа как будто проснулась: век Просвещения дал миру плеяду мощнейших талантов, которые продвигали вперед философию, естественные науки, экономику, политику, историческую науку, образование. Человечество «вырастало из добровольной незрелости» (Дэвис, 2005: 439). Был совершен гигантский прорыв к новым знаниям, хотя впоследствии оборотной стороной его стала череда чрезвычайно жестоких европейских революций. Такое продолжение было естественным: Просвещение в Европе нельзя считать только элитарным процессом — оно фундаментальным образом преобразовывало жизнь всех общественных слоев и классов (Munck 2001).

Философы Просвещения занимались по преимуществу гносеологией, то есть пытались понять, что именно мы знаем и как мы приобретаем новое знание. Настоящую революцию в философии и социальных науках произвел немецкий мыслитель Иммануил Кант (1724–1804). Именно он наиболее полно и четко сформулировал концепцию Просвещения как морального и интеллектуального освобождения индивида. По словам Канта, очень актуально звучащим и сегодня, «просвещение — это выход человека из состояния своего несовершеннолетия, в котором он находится по собственной воле.

рассудком без руководства со стороны кого-то другого. Не-совершеннолетие по собственной вине — это такое, причина которого заключается не в недостатке рассудка, а в недостатке решимости и мужества пользоваться им без руководства со стороны кого-то другого. *Sapere aude!* — имей мужество пользоваться собственным умом! — таков, следовательно, девиз Просвещения» (Кант, 1966: 26–27).

Заметный вклад в формирование духовных основ Просвещения внесли также английские философы Джон Локк (1632–1704), Джордж Беркли (1685–1753) и Давид Юм (1711–1776). Так, Локк обосновывал предположение о том, что все человеческое знание проистекает сугубо из опыта. В том же направлении шел и Беркли, убедительно раскрывший роль чувственного восприятия в формировании человеческих представлений о внешнем мире. Наконец, Юм, занимаясь исследованием механизмов, на которых держится религиозная вера, пришел к заключению о невозможности ее рационального обоснования. Изыскания этих мыслителей теснейшим образом примыкали к той работе, которую в естественных науках предпринимал Исаак Ньютон (1643–1727). Сформулированные им законы всемирного тяготения и механики определили базис общепринятой картины мира более чем на двести лет вперед. Главная идея, которую обосновывала новая физика, состояла в том, что окружающий человека мир — это мир *порядка*, причем порядка в наиболее фундаментальных своих отношениях *естественного*, несмотря даже на наличие сверхъестественной первопричины, допускаясь многими просветителями. Одним из важнейших приоритетов Просвещения стала рациональная экономика, причем прогресс — крайне важное для той эпохи понятие, — обосновывался и теоретически, и практически. В наиболее передовых европейских странах достижения научной мысли «конвертировались» в экономическую практику; например, освоение земель по научно обоснованной голландской методике радикально изменило облик ряда низменных районов Европы. Одновременно Адам Смит (1723–1790) предложил новаторский «свод законов» рынка, который описывал механизмы производства, конкуренции, ценообразования. Интересно, что современная экономическая наука до сих пор вдохновляется проблемами, поставленными этим шотландским экономистом.

В политической сфере Просвещение было отмечено формулировкой базовых принципов гармонизации общественного бытия и разумного устройства государства. Именно тогда были сформулированы идеи разделения властей и взаимного сдерживания исполнительной и законодательной власти. В изложении Шарля Луи де Монтескье (1689–1755) эти постулаты, ограничивавшие абсолютную власть и ставшие в наше время хрестоматийными, звучали так: «В каждом государстве есть три ветви власти: законодательная, исполнительная власть над теми вещами, которые зависят от прав народа, и исполнительная власть, связанная с гражданским правом. ... Но ничего не получится, если один и тот же человек будет осуществлять все три власти: создание законов, исполнение общественных постановлений и власть судить за преступления» (цит. по: Дэвис, 2005: 444).

Тот факт, что основу Просвещения составили рациональное знание и культ разума, объясняет присущую этой эпохе моду на составление энциклопедий, которая порой становилась своеобразной манией. Наибольшую известность на этом поприще приобрел грандиозный проект, предпринятый французом Дени Дидро (1713–1784) и предполагавший составление фундаментальной энциклопедии (или толкового словаря) наук, искусств и ремесел. Целью этого начинания провозглашалось обобщение *всех знаний*, накопленных человечеством к тому времени. Тяга к предельной генерализации выступала отражением безграничной веры в возможности разума. Кстати, в эпоху Просвещения появилась и известнейшая Британская энциклопедия — проект, оказавшийся хотя и не таким масштабным, но гораздо более долговечным.

Итак, культура Просвещения утверждалась широким кругом людей, работавших в самых разных направлениях. Вместе с тем две фигуры олицетворяли ее в наибольшей степени - с одной стороны, широчайшим диапазоном профессий и множественностью социальных ролей, которые они с блеском играли на своем жизненном пути, а с другой, теми противоречиями, которые между ними закономерно возникали. Вольтера (1694–1778), литератора, историка и философа, и Жан-Жака Руссо (1712–1778), музыканта, писателя и философа, сближали великие цели. Но их взгляды не совпадали почти ни в чем. В то время как Вольтер обращался к просвещенным элитам, Руссо апеллировал к народам. Вольтер выступал поборником цивили-

зации, основанной на разуме, а Руссо предостерегал от того разлагающего влияния, которое она приносит с собой. Наконец, проблема общественного неравенства волновала Вольтера в значительно меньшей степени, нежели Руссо. Именно второму из этих мыслителей принадлежит фраза, широко цитируемая революционерами всех последующих веков: «Человек рождается свободным, а между тем он всюду в оковах».

III. Европейское Просвещение и образование

Особенно благодатной почвой для утверждения просвещенческих идей оказалось образование: век Просвещения стал также и веком Педагогике. Прежде монополия на школьное и университетское образование, фактически, принадлежала церкви, и поэтому почти повсюду усилия просветителей наталкивались на глубоко укоренившуюся религиозную традицию обучения. «К образованию способны все» — такова одна из самых знаменитых фраз в истории педагогической мысли, принадлежащая Клоду Адриану Гельвецию (1715–1771). В этой мысли воплотились радикальные намерения Просвещения перестроить всю предшествующую систему образования, ибо, как доказывал ее автор, человек есть не более чем продукт того образования, которое он получил. Деятели Просвещения воодушевлялись широчайшими возможностями, которые обеспечивались образованием при формировании нового, освобождающего миропонимания (Parry, 2000: 25).

В результате упорной борьбы просветители добились того, что общее образование было отделено от религиозного, а в школьные и университетские программы в дополнение к классическим были включены и современные предметы. Важно, что государство начало воспринимать приобщение населения к образованию как собственную, то есть светскую, задачу, а не задачу церкви: во второй половине XVIII века создаются первые государственные органы, отвечающие за образование. Британский историк Норман Дэвис (р. 1939) обращает внимание на интересную ситуацию в Польше, где в 1772–1773 годах была создана Национальная образовательная комиссия, которая стала первым в Европе государственным министерством образования. Комиссия проделала огромную работу, создав около двухсот светских школ и подготовив для

них новых учителей. Причем эта деятельность пережила само государство, поскольку единая Польша вскоре была разрушена, а образовательная традиция и новые школы сохранились (Дэвис, 2005: 448).

Итак, современное образование – во многом «дитя» Просвещения, так что критикующие утвердившееся в Европе почтение к образованию одновременно нападают и на сам просвещенческий проект. Культ образования нередко обвиняют в том, что он игнорировал разнообразие, основывался на абстрактном индивидуализме и, что хуже всего, выступил источником утопической концепции технологического контроля над социальным порядком, в конечном итоге приведшем к ужасам тоталитаризма XX века (Parry, 2000: 26). Есть, однако, и другая точка зрения: современная Европа должна благодарить эпоху Просвещения не только за то, что она дала миру плеяду блестящих умов, но и в не меньшей степени за тот прорыв, который удалось совершить в области приращения новых знаний. Образование стало светским, то есть перешло от церкви к государству, и тем самым были созданы предпосылки для роста того мощного образованного среднего класса, который впоследствии стал двигателем европейского развития и фундаментом европейской демократии.

IV. О Просвещении в России

Если для Европы эпоха Просвещения предстает временем Вольтера и Канта, то для России ее символами стали, несомненно, имена Михаила Ломоносова (1711–1765) и Александра Радищева (1749–1802). Однако первым российским просветителем оказался, как ни странно, политик – царь Петр I (1672–1725). Просвещение было его страстью, в нем он видел спасение для России, а источником его считал только Европу. Примечательно, однако, что страсть к просвещению не мешала ему быть тираном и внедрять свои просвещенческие новации насильственным путем. Развив петровские начинания, основной просветительницей России сделалась императрица Екатерина II (1729–1796). Именно с ней в страну пришел «просвещенный абсолютизм», а себя она называла «философом на троне». Екатерина чрезвычайно высоко ценила идеи Монтескье, переписывалась с Вольтером и Дидро. Приверженность принципам Просвещения заставила ее реформировать

государственные институты с целью укрепления самодержавия, усиления и расширения бюрократического аппарата, централизации и унификации системы управления. Подобно тому, как это происходило в европейских государствах в период Просвещения, политика императрицы во многом ущемляла церковь. Так, в 1764 году в России была проведена секуляризация земель, принадлежащих православной церкви.

Что же касается общественных оценок российского Просвещения, то их неоднозначность прекрасно иллюстрируется извечным российским диспутом между западниками и славянофилами. Суммируя неразделяемые им воззрения западников на российское Просвещение, Иван Киреевский (1806–1856) говорил следующее: «Различие между просвещением Европы и России существует только в степени, а не в характере и еще менее в духе или основных началах образованности. У нас, говорили тогда, было прежде только варварство — образованность наша начинается с той минуты, как мы начали подражать Европе, бесконечно опередившей нас в умственном развитии. Там науки процветали, когда у нас их еще не было, там они созрели, когда у нас только начинают распускаться. Оттого там учителя, мы ученики; впрочем — прибавляли обыкновенно с самодовольством, — ученики довольно смышленные, которые так быстро перенимают, что скоро, вероятно, обгонят учителей» (Киреевский 2002: 151).

Позиция самих славянофилов была принципиально иной. Да, они вынужденно признавали достижения европейцев в развитии наук и познании вообще. Однако эти успехи воспринимались ими негативно - как нечто бесполезное или во все вредное. Развивая и тренируя отвлеченный ум, западный человек утратил религиозную веру и растерял убеждения. Более того, он разочаровался и во всемогуществе самого разума. Внутренний духовный разум был предан западным человеком забвению в угоду внешней разумности и торжеству рационализма. Иное дело — просвещение в России. Невежество, бесспорно, пагубно, содействие просвещению народа есть высочайшее благодеяние, но заниматься им нужно по-особому, не так, как в Европе. Для европейского просвещения свойственны раздвоенность и рассудочность. Российское же просвещение отличают цельность и разумность, в основе которой лежит православная вера. Именно благодаря своей религиозности России, по мнению славянофилов, предстоит сыграть ключе-

вую роль в преображении человечества. Европа пытается постигнуть истину через рассудочное просвещение, но попытки эти бессмысленны, ибо истина постигается не одним рассудком, а всей духовностью человека, которая во многом базируется на вере. Если человек «при учености своей злое сердце имеет, то достоин сожаления и со всем своим знанием есть сущий невежда, вредный самому себе, ближнему и целому обществу» (Новиков 1990: 161). Русское просвещение должно задушить вредные стороны западной образованности для того, чтобы направить ее в истинное русло, поскольку, согласно тому же Киреевскому, высшая ступень западной образованности есть лишь начало образованности русской.

К несчастью для нашей культуры, этот исторический спор не завершился до сих пор (Малинова 2008). Не расставив в нем последние точки, Россия не смогла окончательно определиться и со своим отношением к европейскому Просвещению и его наследию. Эта двусмысленность, в свою очередь, препятствует внятной самоидентификации страны и ее приобщению к эпохе постмодерна.

V. Нужно ли просвещение современной России?

Сегодня в России наличествует громадная нужда в Просвещении, причем, по-видимому, это задача не только государственная. Такую миссию могло (и должно было бы) взять на себя гражданское общество — при создании государством рамочных условий для этого. Следует отметить, что по сравнению с 1990-ми годами нынешний подход государства к этой задаче принципиально изменился, ибо при всей неразберихе и хаосе того времени 1990-е с полным основанием могут называться «золотыми годами» российского просветительства. К сожалению, светлая полоса оказалась короткой, просвещение же нуждается в постоянных усилиях. Сегодня российское государство объявляет образование одним из своих наивысших приоритетов — ему даже посвящен специальный национальный проект. Однако, как уже говорилось, просвещение и образование — термины отнюдь не взаимозаменяемые. Образование, понимаемое властью чрезвычайно узко и формально, не заменяет просвещения, главная задача которого — научить людей иметь смелость и мужество пользоваться собственным умом.

Литература

- Дэвис Н. История Европы. М: Транзиткнига, 2005.
- Киреевский И.В. Разум на пути к истине. М: Правило веры, 2002.
- Кант И. Ответ на вопрос: что такое Просвещение? Собр. соч. в шести томах. М.: Мысль, 1963–1966. Т. 6. С. 25–37.
- Малинова О.Ю. «Долгий» дискурс о национальной самобытности и оппозиции западничества и антизападничества в постсоветской России // Ларюэль М. Русский национализм: социальный и культурный контекст. М.: Новое литературное обозрение, 2008. С. 235–256.
- Новиков Н.И. Отрывки // Русская философия второй половины XVIII века. Хрестоматия. Свердловск: Уральский государственный университет, 1990.
- Фуко М. Что такое Просвещение // Вестник Московского университета. Сер. 9. Филология. 1999. № 2. С. 132–149.
- Lively J (ed.). The Enlightenment. London: Longmans, 1966.
- Parry G. Education Can Do All // Geras N. and Wolker R. (eds.). The Enlightenment and Modernity. London: Palgrave Macmillan, 2000.
- Munck T. The Enlightenment: A Comparative Social History, 1721–1794. London: Arnold, 2000.
- McMahon D. Enemies of the Enlightenment: The French Counter-Enlightenment and the Making of Modernity, 1778–1830. Oxford: Oxford University Press, 2001.

Революция

I. Революция как тип политических изменений

В современной политической науке понятие «революция» используют для описания природы политических изменений. Каждая политическая система подчиняется собственной логике развития, реагируя на совокупность внутренних и внешних импульсов. Поэтому политический процесс можно трактовать двояко: либо как совокупность перемен в каком-то исходном состоянии политической системы, либо как замену одной системы другой системой. Возможности систем адаптировать себя к внутренним и внешним импульсам различны. В одних случаях система проявляет устойчивость и приспосабливается к новым условиям, в других происходит ее крах, вызванный неспособностью к обновлению. Второй вариант ведет к возникновению новой системы, которая, в свою очередь, тоже может оказаться неустойчивой. О революции речь идет в тех случаях, когда за *обрушением* существующей системы власти наступает долгосрочный период *реконструкции* политического, социального и экономического порядка (Hague, Harrop 2001: 122).

В эпоху модерна термин «революция» стал крайне популярным. Его применяют там, где имеет место быстрый и существенный сдвиг, или там, где есть необходимость эмоционально подчеркнуть глубину, темп и мощь изменений, коренным образом преобразующих какую-либо сферу или отрасль. Так что революции возможны самые разные – социальная, научно-техническая, информационная, сексуальная и т.д. Как и многие другие термины современной политологии, термин «революция» появился благодаря Великой французской революции 1789 года. Само слово восходит к латинскому существительному «вращение» (англ. “revolve”), что отражает сопутствующую революциям смену правящих групп или преобладающих в обществе убеждений.

Как правило, революцию вписывают в триаду основных типов политических изменений, противопоставляя ее *политической реформе* и *государственному перевороту* (путчу). Понятие

«реформа» отражает, прежде всего, ненасильственный и поступательный характер политического развития, такое изменение институтов, которое не посягает на основы политической системы. «Переворотом» называется внезапный и незаконный захват власти, в процессе которого социально-экономические преобразования носят ограниченный или поверхностный характер. Может показаться, что революция и государственный переворот есть явления одного порядка, но это не совсем верно. Действительно, их роднит обращение к политическому насилию, однако если революцию отличает тотальность назревающих преобразований, то источником переворота выступает заговор, организованный внутри государственных институтов ради того, чтобы привести к власти иную элитную группировку (Мельвиль 2002: 381–389).

Универсального определения революции нет, однако, предельно обобщая, можно констатировать, что это «коллективный, насильственный и осознанный захват власти какой-либо общественной группой» (Мельвиль 2002: 382). Известнейший исследователь революционного процесса Шмуэль Эйзенштадт (р. 1923) выделяет три отличительные черты революции как типа политического изменения: а) применение насилия; б) новизна; в) всеобъемлющий характер преобразований. По его мнению, революции как протестные движения являются одним из проявлений глобального процесса модернизации, а ведущую роль в них играет независимая интеллигенция. [См. статьи *Глобализация* и *Модернизация*.] Кроме того, исключительная важность приписывается духовному измерению революционных сдвигов. По Эйзенштадту, в феномене революции воплотилась попытка человечества практически реализовать утопический образ будущего. Современная культурная и политическая повестка дня сформирована под влиянием Ренессанса, Реформации и Просвещения, однако, главным образом — под влиянием революции, которая со всеми перечисленными вехами напрямую связана (Эйзенштадт 1999). Отмеченное родство замечательно просматривается в определении революции, предложенном французским историком Франсуа Фюре (1927–1997): это «утверждение волевого начала в истории и образа человека как деятельной и автономной демократической личности» (Фюре 1995: 83).

II. Типология революций

Специалисты не раз подчеркивали, что в основном современные концепции революции берут свое начало в предложенной Карлом Марксом (1818–1883) трактовке революционных событий 1789 года во Франции. Для науки, работающей в традиции модерна, заданная марксизмом парадигма по-прежнему остается определяющей: как правило, появляющиеся в этом русле новые теоретические построения ее либо развивают, либо опровергают. «Со времени Маркса революции понимаются как коренное изменение общества в ключевых аспектах, ведущих к изменению характера этого общества. Сегодня подавляющее большинство исследователей сходятся в том, что революции ведут к фундаментальным, всеобъемлющим, многомерным изменениям, затрагивающим саму основу социального порядка» (Кирдина 2003: 482).

Исходя именно из такого подхода, современная политология выстраивает классификацию революций в зависимости от их результатов. Здесь выделяются следующие типы:

- революции, затрагивающие *только* систему государственной власти, которые ведут к *смене политического режима* и реорганизации политических институтов;
- революции, связанные с *преобразованием всего общества*, толчком для которых, как правило, служит военное поражение государства;
- революции, начинающиеся в ходе развала прежнего государства, например, империи, и формирующие *новую государственность* на относительно «пустом» месте (Мельвиль 2002: 386–387).

Так, к революциям первого типа принадлежит французская революция 1848 года, которая подтолкнула революционные катаклизмы во всех основных государствах Европы, кроме Англии и России. Свержение короля Луи Филиппа (1753–1850) во Франции стало сигналом, по которому революционные возмущения начались в Германии, Италии, Австро-Венгрии. В итоге французская монархия была упразднена, но из остальных новых республик Европы не выжила ни одна; реакции тогда удалось одержать победу, хотя и крайне высокой ценой (Дэвис 2005: 595–596).

Пример революции второго типа демонстрирует, в частности, **174** сти, Германский рейх. Осенью 1918 года, когда кайзеровская

империя потерпела крах по всем позициям, а военное поражение немцев было неоспоримым, революционное восстание быстро победило на большей части страны, почти не встретив сопротивления со стороны сил старого порядка. Немецкая революция поддерживалась тремя источниками: стремлением к либерализации и демократизации, антивоенным возмущением, подъемом социал-демократического движения. Особенностью подобных революций выступает то, что порождаемые ими формы государственности не отрицают своей преемственности по отношению к предшествующим формам, упраздненным в ходе революционного восстания.

Революции, сопровождающиеся возникновением новых форм государственности, образно выражаясь, с чистого листа, можно изучать на примере развала социалистического лагеря. Кризис коммунизма в конце 1980-х и начале 1990-х годов вызвал подъем революционных движений в странах так называемой «народной демократии», в результате чего в Польше, Венгрии, Чехословакии, Румынии и Болгарии произошли демократические — «бархатные» — революции. В восточноевропейских странах были отстранены от руководства коммунистические партии, учреждена многопартийность, проведены реформы, направленные на создание рыночной экономики. Все эти революции, за исключением трагического румынского варианта, носили мирный характер, а порожденные ими новые формы государственности всячески подчеркивали свою общность от прежних форм.

Всем упомянутым типам революций присущ определенный общий набор результатов. Каждая из них ведет к трансформации политического режима, мощным сдвигам среди элит, преобразованиям в важнейших сферах общественной жизни. В парадигме модернизма революция всегда есть разрыв с прошлым, производимый с большей или меньшей степенью радикализма. Помимо прочего, революционеры полагают — и это отражает изначальную утопичность их построений, — что в революции рождается «новый человек», обладающий иным, «правильным» сознанием. Впрочем, далеко не все мыслители модерна отождествляют новизну, привносимую революцией, с позитивностью изменений (де Токвиль 1997).

В последние годы в российский общественно-политический дискурс устойчиво вошел термин «цветные революции», описывающий недавние события на постсоветском пространстве:

речь идет о так называемой «революции роз» 2003 года в Грузии, «оранжевой» революции 2004 года на Украине, «революции тюльпанов» 2005 года в Киргизии. Надо сказать, что механическое объединение этих процессов под одним названием представляется искусственным; в сущности, они имеют между собой мало общего - помимо того обстоятельства, что во всех перечисленных случаях прежний политический класс оказался неспособным управлять общественными процессами и был вынужден уступить власть соперникам.

Более того, использование в данном случае термина «революция» носит, скорее, метафорический характер; эти катаклизмы никак не могут быть поставлены в один ряд с революциями классическими. В данном случае термин «революция» используется для описания совокупности событий, включавших в себя (Межуев 2006: 75):

- недовольство значительной части граждан результатами выборов;
- способность проигравшей стороны мобилизовать в свою поддержку неудовлетворенных характером и итогом выборов избирателей;
- одобрение претензий оппозиции руководителями и общественным мнением западных стран;
- приход оппозиции к власти после серии уличных акций.

Некоторые политики и эксперты пытались трактовать недавние события на постсоветском пространстве в качестве «глобальной демократической революции». Но, если учитывать по-прежнему непредсказуемый исход консолидации новых политических режимов, которая может не состояться вообще или произойти на недемократических началах, такая позиция не кажется достаточно обоснованной. Сегодня, по крайней мере, очевидно, что страхи российской элиты по поводу повторения «украинского сценария» в нашей стране оказались преувеличенными или даже вовсе беспочвенными.

III. Революция и террор

Исследователи не раз обращали внимание на взаимосвязь революции и насилия. Любое волюнтаристское начинание (а революционное преобразование общества, как правило, всегда сопряжено с волевым началом) несет в себе потенци-

альную опасность террора — насилия, которое ставит целью сломить сопротивление людей и обстоятельств (Генифе 2000: 74). Политическая роль террора в революции, концептуально трансформированная в этическую проблему соотношения *целей и средств*, занимала умы многих революционеров, которые в основном склонялись к оправданию террористических методов.

Следует учитывать разницу в подходах к применению террора до революции и после нее. Если говорить о терроре как одном из средств захвата власти, то в России интерес к нему обострился со второй половине XIX века в связи со становлением революционного движения и появлением так называемых «профессиональных революционеров». Причем отношение русских недругов самодержавия к террору не было однозначным. Если, например, Михаил Бакунин (1814—1876) и его сторонники относились к революционному насилию довольно осторожно, отдавая приоритет агитации и пропаганде, то представители радикальных революционных групп, например, народник-радикал Петр Ткачев (1844—1885), считали террор неизбежным и даже необходимым элементом революции. [См. статью *Терроризм*.] В конечном счете, именно последняя точка зрения стала преобладающей, что обеспечило России заслуженную репутацию одной из колыбелей современного терроризма.

В плане систематического применения террора против врагов уже победившей революции выделяются две «классические» революции — французская и русская. Революционная диктатура во Франции, поддерживаемая якобинцами в 1793—1794 годах, за короткое время погубила десятки тысяч человек. Это был первый опыт систематического и безоговорочного уничтожения противников, руководствуясь *исключительно* различиями в политических взглядах. Как правило, революционный террор, эволюционируя, ведет от истребления «врагов революции» к уничтожению самих революционеров в ходе раскалывающих революционное движение внутренних распрей. Его самовоспроизведение есть одна из общих закономерностей, присущих революционному процессу в любой стране и в любую эпоху.

Еще большей жестокостью отличалась большевистская революция в России; по мере ее развертывания число последовательно уничтожаемых «контрреволюционеров» превысило

количество погибших на фронтах гражданской войны, причем точные цифры не известны до сих пор. Следуя якобинской логике, ленинская политика террора исходила из того, что «враги революции» многочисленны и могущественны, и поэтому новая власть не должна быть разборчивой в средствах борьбы с ними. Интересно, что, обосновывая собственные зверства, коммунисты нередко ссылались на опыт Великой французской революции: по словам Франсуа Фюре, «русская революция не заняла бы такого места в умах людей своего времени, если бы она не выглядела как продолжение — поверх временного разрыва — революции французской» (Фюре 1995: 84).

IV. «Классические» революции

В разряд классических («великих») революций принято зачислять французскую революцию 1789–1799 годов, русскую революцию 1917–1921 годов, китайскую революцию 1911–1949 годов. Кратко остановимся на каждой из них.

Французская революция вошла в историю как первая европейская революция, имевшая всемирное значение: именно она впервые поставила вопрос о *законности и приемлемости* политических перемен. Эта революция радикально пересмотрела прежние представления о движущих силах истории и предложила новую трактовку *суверенитета*, превращавшую народ в главного политического актора (Валлерстайн 2003). Несмотря на то, что с политической точки зрения французские революционеры потерпели поражение, им удалось основательно разрушить прежнюю политическую и экономическую систему. Не удивительно, что процесс такого масштаба и глубины всегда вызывал у историков самые противоречивые, но неизменно глубокие эмоции. Так, английский публицист Томас Карлейль (1795–1881) видел в этой революции самое ужасное из того, что когда-либо порождала история, а для французского историка Жюлья Мишле (1798–1874) она, напротив, была попыткой воскресить законность и утвердить справедливость. (Оба упомянутых автора прославились своими исследованиями, посвященными Французской революции.) (Дэвис 2005: 498). Бесспорно, однако, то, что для Франции, как и для всей Европы, эта революция открыла эпоху Нового времени.

По мере развития Великой французской революции градус присущего ей радикализма неуклонно повышался. Она

началась в мае 1789 года, когда после ста пятидесяти лет перерыва король решил созвать Генеральные штаты и тем самым невольно помог политической консолидации так называемого «третьего сословия». В течение первых двух лет, начиная с 1789 года, события развивались относительно эволюционно; большинство сформированного революционерами Национального собрания, намереваясь завершить период трансформации в обозримом будущем, вынашивало проект перехода к конституционной монархии. Именно в это время упразднили систему дворянских привилегий, приняли Декларацию прав человека, отделили церковь от государства. Однако по мере углубления преобразований и начала революционных войн Франции с соседними державами умеренные лидеры революции из числа республиканцев-жирондистов были вытеснены с ключевых политических позиций. Провозглашение республики укрепило позиции радикалов-якобинцев, которые ранее уже захватили муниципальные органы Парижа. Вслед за казнью короля страна вступила в полосу якобинского террора, продолжавшегося с сентября 1793 по июль 1794 года. Созданные по инициативе Максимилиана Робеспьера (1758–1794) «комитеты общественной безопасности» удерживали власть по всей стране, став инструментами революционной диктатуры и запугивания «врагов революции».

После отстранения якобинцев от власти, состоявшегося в 1794 году, революционная волна пошла на спад. Франция пережила сначала авторитарное правление Наполеона, продолжавшееся с 1799 по 1814 год, а потом вступила в полосу относительной стабилизации — перемежавшуюся, впрочем, революциями 1830 и 1848 годов, — и, следовательно, усвоения и осмысления революционного опыта. Один из уроков французской революции, подмеченный исследователями почти сразу, состоял в том, что политический спад и последующее наступление реакции являются закономерным итогом бурного периода коренных трансформаций. Но, подчеркивая это, важно помнить и о другой особенности: полный откат назад невозможен — революция, если ее не сумели предотвратить, всегда делает свое дело. Правда, степень разрыва с прошлым может быть разной; в то время как революция во Франции далеко не во всем порвала со старым порядком, революционные перемены в России и в Китае оказались беспрецедентными по своей глубине и размаху.

Революционные события до сих пор остаются темой острых интеллектуальных дебатов, а рожденное революцией противостояние революционеров и консерваторов по-прежнему актуально для общественно-политической жизни нынешней Франции. Что касается общеевропейского и даже всемирного значения Великой французской революции, то оно было обусловлено тем, что именно она обозначила контуры демократического порядка эпохи модерна, среди которых *народный суверенитет, профессиональная бюрократия, рыночная экономика и либеральная идеология* (Валлерстайн 2003).

Иную роль в истории человечества сыграла русская революция, ставшая первой в мире коммунистической революцией. Карл Маркс, учение которого в XIX веке получило широкое распространение в России, опирался на материалистическое понимание прогресса как производной перманентного конфликта между производительными силами и производственными отношениями. [См. статью *Социализм.*] Глубоко проанализировав положение пролетариата в капиталистической экономике, он сделал вывод — ошибочный, как оказалось впоследствии, — о неизбежности пролетарской революции, призванной заложить основы идеального общества. Преувеличивая роль экономических факторов, марксисты приписывали истории что-то вроде автоматизма, с железной необходимостью обеспечивающего грядущий революционный переворот. Но Владимир Ленин (1870—1924) и его сторонники, которым пришлось добиваться революции в довольно отсталой крестьянской стране, творчески переработали доктрину Маркса. Они не могли ждать революционного переворота, сложа руки, и потому решающее значение приписали субъективному фактору — сплоченной, дисциплинированной, фанатичной секте *профессиональных революционеров*, подготавливающей и, в конце концов, осуществляющей революцию, а затем берущей на себя ответственность за преобразование страны. [См. статью *Социализм.*]

Русская революция состояла, по сути, из двух последовательных процессов, двух политических восстаний — Февральской революции, которая покончила с самодержавием, и Октябрьской революции, установившей диктатуру большевиков. В условиях глубочайшего кризиса, вызванного непосильной для российского государства мировой войной, большевики, широко использовавшие политическую демагогию

и манипуляцию, сначала активно способствовали созданию параллельных структур власти (так называемое «двоевластие» Временного правительства и Советов рабочих и солдатских депутатов), потом добились доминирования в Советах, а затем насильственным путем устранили законную власть. В результате была установлена диктатура коммунистической партии, радикально и с огромными человеческими издержками модернизовавшая страну и продержавшаяся семь десятилетий.

Как справедливо отмечает английский историк Эрик Хобсбаум (р. 1928), «хотя идеи французской революции пережили большевизм, практические последствия октября 1917 года оказались гораздо более значительными и долгосрочными, чем последствия событий 1789 года. Октябрьская революция создала самое грозное организованное революционное движение в современной истории. Его мировая экспансия не имела себе равных со времен завоеваний ислама в первый век его существования» (Хобсбаум 2004: 67). Одним из этапов этого победоносного шествия стала китайская революция, возглавляемая Мао Цзэдуном (1893–1976). Она представляла собой еще более новаторскую интерпретацию марксистской концепции революции, нежели та, что была представлена Лениным и его соратниками. Китайский руководитель приспособил марксизм к обществу, в котором вовсе не было пролетариата; в отличие от Маркса, он считал крестьянство не реакционным, но наиболее передовым классом общества. Другой новацией стало превращение национализма, рассматриваемого как важнейшее орудие революционной борьбы. В ходе многолетней гражданской войны, предшествовавшей состоявшемуся в 1949 году захвату власти, китайские коммунисты успешно опробовали партизанскую тактику завоевания страны, многократно — хотя и не столь успешно, — затем использованную в странах «третьего мира».

V. Психологические, структурные, политические теории революции

Опираясь на богатый опыт XX столетия, политическая наука попыталась предложить универсальную трактовку революций, выходящую за рамки классовой парадигмы Карла Маркса. Как правило, в указанной области выделяют три подхода: *социально-психологический, структурный, политический*

(Штомпка 1996; Hague, Nagrop 2001). В основе первого из них лежит поиск *индивидуальных мотивов*, подталкивающих к участию в революционной деятельности. Исследуя Великую французскую революцию, Алексис де Токвиль (1805–1859) отмечал, что тяготы, молча сносимые прежде, становятся нестерпимыми в тот момент, когда перед человеком открывается перспектива более светлого будущего (де Токвиль 1997). Один из наиболее видных сторонников этого подхода, американский профессор Тед Гуэрр (р. 1936) полагает, что ключом к пониманию революции оказывается понятие «относительного неблагополучия» (*relative deprivation*). По его мнению, неблагополучие в сочетании с уверенностью в том, что условия человеческого существования хуже, чем они должны быть, выступает главным источником политической нестабильности. Как только люди начинают ощущать, что они имеют меньше, чем должны были бы иметь, происходит революция. Причем неблагополучие должно быть именно относительным, а не тотальным: абсолютная неустроенность означает непрекращающуюся борьбу за физическое выживание и, следовательно, политическую пассивность (Guerr 1980).

Ценность социально-психологического подхода в убедительном доказательстве того, что восприятие людьми собственного положения гораздо важнее, чем само это положение. Вместе с тем, психология объясняет многое, но далеко не все: пробелы в раскрытии институциональных аспектов революции стимулировали разработку альтернативного взгляда, согласно которому причины революций надо искать не столько в мотивах их участников, сколько в *структурных факторах*. «Напрямую следуя Марксу, эти теории условием революции полагают кризис экономики и политики, который рассматривается ими преимущественно в контексте классовых и групповых отношений» (Кирдина 2003: 482). Как полагает американский политолог Тэда Скокпол (р. 1947), перу которой принадлежит известное сравнительное исследование трех «великих» революций, первостепенная важность здесь принадлежит отношениям макроструктурного уровня — как внутри государства, так и между государствами. Причем с захватом власти революция не заканчивается, как считают социальные психологи, а только начинается, ибо самое важное для новых правителей — это навязать свое видение будущего обществу, включая оппозиционные группы (Skocpol 1979).

Наконец, представители третьей точки зрения, наиболее видным из которых считается американский социолог Чарльз Тилли (р. 1929), объясняют революции исключительно динамикой политических сил и нарушением балансов власти, предопределяющих взаимоотношения группировок, которые конкурируют в борьбе за управление государством. Этот подход наиболее технологичен и с концептуальной точки зрения, на наш взгляд, наименее интересен (Tilly 1978). Столь же непродуктивными в контексте настоящей статьи, вдохновленной установками модерна, представляются многочисленные исследования революции, предпринятые в рамках постмодернизма и потому оставляемые за рамками нашего изложения. [См. статью *Постмодернизм*.]

Рассматривая совокупность современных воззрений на революцию, нельзя обойти и еще одну концепцию, стоящую отдельно от всех ранее упомянутых. В ее рамках революцию рассматривают *эволюционно*, а содержание революционных трансформаций сводят к обеспечению *преemptивности* и *восстановлению* институтов, исторически сложившихся в той или иной стране. У истоков этого воззрения стоял Алексис де Токвиль, отказывавшийся видеть в Великой французской революции *радикальный* и *бесповоротный* разрыв с прошлым. Сторонники такой позиции есть и среди современных российских ученых; так, по словам одного из них, «революция является моментом эволюционного процесса, она представляет собой спонтанное возвращение общественных структур к исходной институциональной матрице, деформированной в результате неосознанных действий социальных субъектов внутри государства или под влиянием внешних воздействий. Через революцию ... происходит возвращение общества “к самому себе”, к своему собственному пути» (Кирдина 2001). Очевидно, что такая трактовка создает основательные предпосылки для интеграции революционной идеи в консервативную идеологию, исходящую из необходимости постоянного воспроизведения одних и тех же социальных установлений и институтов.

Литература

- Валлерстайн И. 2003. После либерализма. М.: УРСС.

- *Генифе П.* 2000. Французская революция и Террор // Французский ежегодник 2000. 200 лет Французской революции 1789–1799 гг.: итоги юбилея. М: УРСС.
- *Дэвис Н.* 2005. История Европы. М: Транзиткнига.
- *Мельвилль А.Ю (ред.).* 2002. Категории политической науки. М: РОССПЭН.
- *Кирдина С.Г.* 2003. Социальные изменения // Социологическая энциклопедия. Т. 2. М.: Мысль. С. 480–483.
- *Кирдина С.Г.* 2001. Институциональные матрицы и развитие России. 2-е изд. Новосибирск: ИЭ и ОПП СО РАН.
- *Межуев Б.В.* 2006. «Оранжевая революция»: восстановление контекста // ПОЛИС (Политические исследования). № 5. С. 75–91.
- *Токвиль А. де.* Старый порядок и революция. М.: Московский философский фонд, 1997.
- *Фюре Ф.* 1995. Прошлое одной иллюзии. М: Ad Marginem.
- *Хобсбаум Э.* 2004. Эпоха крайностей: короткий двадцатый век (1914–1991). — М.: Независимая газета, 2004.
- *Штомпка П.* 1996. Социология социальных изменений. М.: Аспект Пресс.
- *Эйзенштадт Ш.* 1999. Революция и преобразование обществ. Сравнительное изучение цивилизаций. М: Аспект Пресс.
- *Hague R., Harrop M.* 2001. Comparative Government and Politics: an Introduction. 5th ed. Basingstoke: Palgrave.
- *Gurr T.* 1980. Why Men Rebel. Princeton: Princeton University Press.
- *Skocpol T.* 1979. States and Social Revolutions: A Comparative Analysis of France, Russia and China. Cambridge & New York: Cambridge University Press.
- *Tilly C.* 1978. From Mobilization to Revolution. New York: Random House.

Регионализм

I. Определение регионализма

В последние десятилетия возрастание роли регионов, входящих в состав того или иного государственного целого, привело к распространению во многих странах такого явления, как *регионализм*. Оформившиеся еще в Средние века территориальные сообщества — регионы — не только «не растворились» в едином национальном государстве, но сохранились, а в настоящее время и укрепляются, что приводит к принципиальной трансформации модели территориально-политического устройства государства. Система государств-наций не привела к исчезновению альтернативных им различных территориальных сообществ, которые в настоящее время выходят на политическую авансцену, укрепляя свое политическое значение и расширяя каналы доступа к национальному политическому процессу. [См. статью *Суверенитет*.]

Обзор современных исследований показывает, что сегодня это понятие связано с такими разнородными процессами, как децентрализация, деволуция, сепаратизм. Регионализм можно определить как *стратегию* региональных элит и/или *идеологию* регионалистских политических партий, направленную на *систематическое и последовательное расширение регионами собственной автономии*. Этот процесс предполагает обновленное структурирование государственного целого, которое выступает следствием политической, экономической и социокультурной мобилизации регионов. Регионализм отвечает пространственной стратификации общества и направлен на извлечение преимуществ из естественного территориального деления современных государств. В этом смысле он представляет универсальную тенденцию нашего времени (Бусыгина 2006).

В зависимости от выдвигаемых региональными элитами целей можно выделить политический, экономический и культурный регионализм. Так, если в качестве базовой задачи выдвигается расширение политических прав региона и достижение той или иной степени политической автономии, то можно говорить о *регионализме политическом*, отвечающем региональной стратификации политического пространства. Тем не менее, следует иметь в виду, что подобное деление весьма

условно, поскольку характер регионализма может меняться — все его разновидности взаимосвязаны и постоянно перетекают одна в другую. В конечном итоге регионализм нацелен на сглаживание контрастов между центром и периферией; тем самым он выполняет стабилизирующую функцию, хотя порой практика регионалистских движений объективно консервирует отсталость, выдавая ее за самобытность.

Важно подчеркнуть, что политический регионализм не тождествен сепаратизму. В отличие от последнего, он нейтрален по отношению к государственному целому, в рамках которого развивается, и не несет в себе деструктивного потенциала. Впрочем, в крайних своих проявлениях регионализм действительно может трансформироваться в сепаратизм. Но, во-первых, подобное происходит только в тех случаях, когда с устремлениями региона (или регионов) не считаются, а во-вторых, при подобном варианте регионализм приобретает качественно новый характер, превращаясь в принципиально иное явление.

Еще не так давно понятие «регионализм» представлялось весьма расплывчатым и невнятным; этот феномен воспринимался как нечто мелкомасштабное, провинциальное, узкое и, соответственно, относящееся к второстепенным для современного государства проблемам территориального распределения власти. Радикальные сдвиги последних лет — глобализация и вытекающее из нее становление комплексной, плюралистической, многомерной и многополярной социальной реальности — коренным образом изменили прежнюю ситуацию и заставили переоценить значение регионов и смысл регионализма. [См. статью *Глобализация*.] Как отмечал полтора десятилетия назад английский историк Эрик Хобсбаум (р. 1917), «“регионы” представляют собой в наше время более рациональный элемент крупных экономических структур, подобных Европейскому Сообществу, нежели исторические государства, являющиеся его официальными членами» (Хобсбаум 1998: 293). С тех пор интенсивность региональных процессов заметно возросла, они сейчас находят все более разнообразные проявления, формируя собственную институциональную среду.

Особое внимание следует уделить взаимосвязи между *регионализмом* и *федерализмом* (Swenden 2006: 13–18). Развитая региональная политическая культура, безусловно, играет первостепенную роль в построении федеративной государствен-

ности, поскольку именно федерализм является тем способом государственного устройства, который позволяет защищать интересы меньшинств, организованных в субнациональные территориальные единицы – регионы. В этой связи регионализм можно считать фундаментом для федерализма, поскольку при его отсутствии или недостатке выбор федеративного порядка представляется политически бессмысленным (Колобов, Макарычев 1999). Федерализм без регионализма невозможен, однако регионализм может существовать и без федеративной государственности. Так, процессы децентрализации, развивающиеся в Италии и Франции, были не в последнюю очередь стимулированы регионализмом, который привел к существенным изменениям формата отношений между центром и регионами в этих прежде унитарных государствах. Иными словами, регионализм – необходимое, хотя и отнюдь не достаточное условие федеративного строительства. [См. статьи *Политическая культура и Федерализм.*]

II. Основные типы регионализма

Исходя из отношения регионализма к национальному государству, а также к процессам глобализации и интеграции, известный английский исследователь Майкл Китинг (р. 1950) выделяет несколько его типов (Китинг 2003; Jones, Keating 1995):

- регионализм *консервативный*, отрицающий модернизацию, зачастую реакционный, однозначно воспринимающий центральную власть как угрозу региональному разнообразию и региональным интересам;
- регионализм *«буржуазный»*, характерный для передовых, динамично развивающихся регионов, которые заинтересованы в большей свободе действий и, следовательно, ослаблении общенационального регулирования;
- регионализм *«лефтистский»* (от английского слова *“left”* – левый), появившийся в странах Западной Европы в 1960-е годы и в основном связанный с экологическими и социально-политическими протестными движениями, например, с протестом против закрытия предприятий в кризисных регионах. (Данный тип регионализма всегда оставался довольно слабым в силу внутренней гетерогенности и неспособности выстроить

альтернативную парадигму регионального экономического развития.);

- регионализм *право-популистского толка*, направленный против перераспределительной политики государства, которая благоприятствует бедным регионам;

- регионализм *этнический*, чреватый трансформацией в сепаратизм.

На практике каждое региональное политическое движение комбинирует в себе элементы, присущие различным типам регионализма, причем порой эти составляющие переплетены весьма причудливым образом. Кроме того, существует и более общая классификация, которая различает регионализм *закрытый*, уходящий корнями в традиционное общество, и регионализм *открытый*, ориентированный вовне, на активное участие региона в международных процессах и рекрутирующий своих сторонников среди более образованных слоев населения. Регионализм второго типа, в отличие от первого, ставит целью не обособление от государственного целого, гарантирующее дальнейшее сохранение замкнутости, но соединение глобального с локальным, непосредственное включение регионов в международные процессы. [См. статью *Глобализация*.] Стремление регионов к расширению самостоятельности на международной арене является составной частью общих процессов внутригосударственной регионализации и федерализации; с другой стороны, сами эти процессы стимулируют дальнейшую активизацию международных связей регионов. Прямое участие субнациональных акторов в международной деятельности представляет собой одну из отличительных черт так называемого «нового регионализма», сложившегося в международных отношениях к концу XXI века (Бусыгина, 2006: 226).

Наконец, иногда исследователи выделяют регионализм *аутентичный* и *неаутентичный*. Так, аутентичным, то есть подлинным, предлагается считать тот регионализм, идеология которого действительно способна сплотить население региона вокруг соответствующих идей. В свою очередь, неаутентичный регионализм предстает, по сути, в виде слабо востребованной, маргинальной идеологии, популярной только в среде интеллектуалов и создаваемой ими в пропагандистских целях.

III. Регионализм и регионализация

Под *регионализацией* понимается процесс перераспределения государственных полномочий в пользу регионов, а также учет региональных интересов и потребностей в политике, экономике, управлении, планировании (Трейвиш, Артоболевский 2001). Необходимо отличать регионализацию от регионализма: если регионализм, как особая стратегия региональных элит и политических партий, говорит о *намерении* перераспределить власть, то регионализация описывает *реальный процесс* ее перераспределения. Иными словами, не всякий регионализм влечет за собой регионализацию. Если процессы регионализма развиваются снизу, из регионов, то регионализация, напротив, идет сверху, с национального уровня. В то же время и регионализм, и регионализация – антонимы централизма, централизации, унификации, хотя их далеко не всегда можно отождествлять с дезинтеграцией и сепаратизмом.

Регионализацию можно рассматривать как естественный результат наблюдаемой сегодня трансформации национального государства, которая, в частности, находит свое выражение в так называемой *диффузии власти*: она в нарастающих масштабах переходит как *наверх*, к наднациональным и межгосударственным организациям и структурам, так и *вниз*, к регионам, местным сообществам, гражданским институтам (Colomer 2007). Именно поэтому в последней четверти XX века резко возрос интерес к деятельности всевозможных межгосударственных и внутригосударственных объединений регионального плана. Если регионы в процессе регионализации видят возможность расширения своих прав и усиления политической автономии, то центральное правительство может поощрять регионализацию, стремясь избежать ответственности за те или иные спорные решения и перекладывая ее на плечи своих региональных партнеров. Кроме того, бывают случаи «стихийной регионализации», когда центр просто оказывается неспособным контролировать рассредоточение власти или препятствовать ему.

Усиливая общую эффективность государственной власти, регионализация может стать благом для демократической политики (Колобов, Макарычев 1999). Во-первых, она заметно *расширяет возможности для эксперимента*, поиска и внедрения удачных находок в управленческой области. Иными словами, **189**

регионы в ее условиях получают возможность обрабатывать собственные, а не предлагаемые сверху модели регионального управления и развития; более того, самые удачные из них, разработанные в одном регионе, могут «мигрировать» по территории страны, усваиваясь и совершенствуясь в других местах. В результате вся система становится все более гибкой, динамичной и конкурентоспособной.

Во-вторых, политическая регионализация позволяет *сократить дистанцию между политической элитой и рядовыми гражданами*. Известно, что в крупных политических системах элита в меньшей степени представляет интересы граждан, что порождает так называемый демократический дефицит. Регионализация же предоставляет гражданам новые каналы политического участия, вовлекая их в политику на тех уровнях, которые прежде были закрыты для прямого социального действия. Здесь уместно сослаться на опыт Франции, где процессы регионализации в 1970-е и 1980-е годы привели к созданию регионов, основным политическим институтом которых стали региональные советы, избираемые населением напрямую.

Наконец, в-третьих, регионализация укрепляет принципы *диалога и компромисса между различными уровнями самой государственной власти*. Необходимость постоянно поддерживать порой довольно хрупкий баланс между интересами государства как такового и его составных частей «облагораживает» политическую систему, позитивно воздействуя на политический класс и, в конечном счете, на население в целом. Кроме того, в молодых демократиях наличие сильных регионов и выраженной региональной культуры выступает основательной гарантией против авторитарных проявлений и тенденций. [См. статью *Политическая культура*.]

IV. Регионализм на европейском континенте

Наиболее законченное выражение политический регионализм получил в Западной Европе, на территории Европейского Союза (ЕС), где эта тема вот уже два десятилетия остается в центре политических и академических дебатов (Jeffery 1997; Treisman 2007). Так, еще в 1988 году Европейский парламент, отдавая дань ее важности, принял «Хартию регионализма». В официальных документах ЕС неоднократно отмечалось, что

«регион — это оперативный орган и институциональная ткань Сообщества».

Развитие западноевропейского регионализма естественным образом привело к разработке концепции «Европы регионов». Первоначально, в 1950-е и 1960-е годы, она имела радикальную направленность и призывала к «отмене» национального государства за ненужностью с последующим формированием единой Европы двух уровней — регионального и наднационального. Впоследствии, в 1980-е — 1990-е годы, «Европа регионов» стали интерпретировать как трехуровневое объединение (ЕС — национальное государство — регионы). В таком понимании «Европа регионов» противостоит «Европе отечеств» Шарля де Голля (1890-1970), а регионы государств-членов ЕС признаются в качестве автономных политических акторов интеграционных процессов. С конца 1980-х годов инициаторами продвижения этой концепции становятся так называемые «конституционные» регионы — то есть регионы, обладающие наибольшими полномочиями в составе своих государств (прежде всего, это земли Германии, регионы Бельгии и Испании, Шотландия и Уэльс в Великобритании). Основная задача концепции теперь заключалась в том, чтобы осмыслить возрастающую роль субнациональных территориальных общностей в ЕС и определить их новое место в общеевропейской политической системе.

«Европу регионов» уместно рассматривать сквозь призму *горизонтальной и вертикальной интеграции*. При этом горизонтальную интеграцию следует считать экономическим измерением проекта, а вертикальную — политическим его измерением. Горизонтальная интеграция, то есть сотрудничество между европейскими регионами, имеет долгую историю. Сегодня она принимает самые различные правовые и институциональные формы, использует разнообразные организационные структуры, протекает в разных географических очертаниях. По сути, Европейский Союз (по крайней мере, его «старая» часть) весь покрыт *сетями межрегиональных взаимодействий*. Все эти контакты направлены на «преодоление» государственных границ как барьеров на пути интенсивного сотрудничества в экономической, социокультурной, технологической областях и, тем самым, — на достижение кумулятивного эффекта в развитии сотрудничающих территорий. Речь идет, таким образом, о горизонтальном «срастании» Европы. [См. статью *Интеграция*.]

Углубление интеграционных процессов, помимо прочего, ведет к проникновению наднациональных институтов в сферы исключительной компетенции регионов стран-членов Союза. Государства-члены все глубже вовлекаются в интеграционные процессы, а компетенции ЕС расширяются, что далеко не всегда соответствует интересам регионов. Отсюда и стимулирование политического регионализма — он позволяет разработать компенсационные стратегии регионов, реализуемые ими через механизмы вертикальной интеграции, то есть через создание каналов непосредственного регионального влияния на процесс принятия решений в Союзе в целом.

Подобное влияние оказывается как через формальные, так и через неформальные институты. В настоящее время многие европейские регионы имеют в Брюсселе свои представительства (бюро), которые лоббируют их интересы в управленческих учреждениях ЕС и одновременно предоставляют им оперативную информацию о процессах, происходящих в «европейской столице». Помимо этого, согласно Маастрихтскому договору 1992 года, разрешена практика, в рамках которой представительство страны-члена ЕС в Совете министров может осуществляться главой какого-либо из ее регионов (правда, это касается только федеративных государств). Необходимо подчеркнуть, что региональный лидер в таком случае представляет позицию не только своего региона, но государства в целом. Тем же договором в институциональной системе ЕС был создан новый орган — Комитет регионов, имеющий, правда, совещательный статус, а принцип *субсидиарности* был введен в договорную базу ЕС, хотя и не получил достаточной конкретизации. Уже сейчас прорыв регионов на общеевропейскую арену стал весьма существенным феноменом, всестороннее значение которого еще предстоит оценить.

Последний Договор о функционировании ЕС, Лиссабонский, который находится в настоящее время в процессе ратификации, определяет, что в областях, не входящих в сферу исключительной компетенции ЕС, Союз может действовать только в тех случаях, если предлагаемые задачи «не могут быть удовлетворительно реализованы самими странами-членами, их регионами или местным уровнем». Исключительно важно то, что впервые главный общеевропейский документ обращается к субнациональному уровню. Кроме того, в Лиссабонском договоре в первый раз были определены институты, ответ-

ственные за соблюдение принципа субсидиарности: речь идет о национальных парламентах.

«Европа регионов» находится еще в стадии становления, представляя, скорее, процесс, а не законченную форму. Основным фактором, сдерживающим дальнейшее его углубление, выступает неодинаковое политико-правовое положение регионов в составе государств-членов ЕС. Важно и то, что проект «Европы регионов» не является самодостаточным: его реализация обусловлена расстановкой сил на иных уровнях управления, коммуитарном (наднациональном) и национальном. Очевидно, однако, что игнорирование регионализма на территории Европейского Союза, если таковое вообще возможно, заметно усилит проявляющееся время от времени отчуждение между гражданами ЕС и наднациональными институтами. Бесспорно, среди трех «этажей» этого многоуровневого образования («наднациональный — национальный — региональный») региональный уровень остается пока самым слабым, так что здание ЕС в высшей степени асимметрично. Вместе с тем, сам факт его все более активной роли, благодаря усилению регионализма на территории Европы, неоспорим уже сегодня. [См. статью *Федерализм.*]

V. Регионализм и регионализация в современной России

Исследовательские оценки регионализации, проходившей в России в последние пятнадцать лет, зачастую оказываются прямо противоположными. В то время как одни специалисты усматривают в ней нормальную реакцию на избыточный централизм советской эпохи, другие считают данные процессы прямой угрозой территориальной целостности страны. Подъем регионов в России происходил «взрывным» образом, воплотившись в похожую на лавину, хаотическую и неуправляемую, регионализацию 1990-х годов. [См. статью *Федерализм.*] Кроме того, существенной характеристикой российского регионализма стал его «этнический» характер, поскольку в Советском Союзе межнациональные различия оставались одним из ключевых критериев территориальной дифференциации. Благодаря этому «первопроходцами», у которых регионалистская стратегия политических элит сложилась ранее всего и в наиболее завершенном виде, стали крупные, экономически и

политически мощные республики — Татарстан и Башкортостан. Спонтанный и беспорядочный стиль регионализации явился важным фактором, усиливавшим неоднородность и фрагментарность российского политического пространства.

К внутренним причинам, способствовавшим разрыву у нас процессов регионализации, необходимо, прежде всего, отнести слабость федерального центра, крах вертикально организованной системы политического и хозяйственного контроля, «разгосударствление» общественной жизни, экономический кризис. Заметную роль сыграли также быстрое развитие и укрепление региональных элит, а также само разнообразие российских территорий. Фактически, федеральный центр оказался неподготовленным к разворачивающимся в стране процессам регионализации и отступал перед ними. Прямые выборы глав регионов, изменение порядка формирования Совета Федерации, массовое подписание двусторонних договоров между федеральным центром и регионами резко расширили границы региональной автономии. Во второй половине 1990-х годов федеральный центр потерял основные рычаги воздействия на ситуацию в регионах, а уровень неуправляемой регионализации достиг максимальной отметки. В регионах тогда складывались автономно функционирующие моноцентрические политические режимы, по отношению к которым центр играл роль внешнего актора (Гельман, Рыженков, Бри 2000).

Начало нового столетия было отмечено в России разрывом противоположной тенденции — новой волны централизации и ослабления региональных элит. Такой курс реализовывался федеральным центром по инициативе президентской власти как через введение новых институтов (таких, например, как федеральные округа), так и через трансформацию уже существующих институтов (в частности, через изменение порядка формирования Совета Федерации, предоставление президенту права отрешать глав регионов от должности и распускать региональные легислатуры). Заметно расширились основания для федерального вмешательства в региональные процессы. После двух президентских сроков Владимира Путина можно, как представляется, говорить уже не о свертывании процессов регионализации, но о фактическом отказе от федеративного порядка государственности. [См. статью *Федерализм*.]

Необходимо отметить, что выше речь шла о так называемой административной регионализации, главными агентами

которой выступали власти субъектов Российской Федерации. Между тем, некоторые эксперты отмечают развитие в нашей стране процессов регионализации иного типа. Имеется в виду формирование - в результате объективных экономических, политических и культурных сдвигов, - *новых территориальных целостностей*, размывающих традиционные административно-территориальные границы независимо от политической конъюнктуры. Иными словами, в России постепенно складывается новая пространственная организация, основой которой становятся «культурно-экономические» регионы, ориентированные на переход к постиндустриальной экономике (Княгинин, Щедровицкий 2003). [См. статью *Постмодернизм*.] Причем в данном аспекте наша регионализация не замыкается политическими границами страны, вполне вписываясь в общемировые тенденции (Sellers 2002).

Чем отличается новая регионализация от регионализации «традиционной», которую Россия переживала в прошлом десятилетия? В 1990-е годы российские регионы оформились как *административно-интегрированные сообщества*, в которых основной управленческой линией оставалось администрирование. Однако в мире, делаемем все более глобальным, такая практика оказывается не слишком конкурентоспособной. В самом конце XX века наметилось «свертывание» пространства административных регионов на фоне одновременного складывания новых «культурно-экономических» регионов, упомянутых выше. Ключевыми элементами вызревающей конструкции становятся управление финансами и собственностью, разработка новых технологий, создание информационной инфраструктуры. При этом внутренние административные границы не фиксируют пространственную локализацию отмеченных процессов. Важно учитывать, что «культурно-экономические» регионы не ликвидируют старое административное деление, но «надстраиваются» над ним. Суть «нового региона» не в том, что он очерчивает пространство без разрывов, но в наличии особого рода коммуникаций между его составными частями. К чему приведет развитие нового регионализма, в настоящее время прогнозировать довольно трудно.

Литература

- Бусыгина И.М. 2006. Политическая регионалистика. М.: РОССПЭН.
- Гельман В.Я., Рыженков С.И., Бри М. 2000. Россия регионов: трансформация политических режимов. М: Весь мир.
- Китинг М. 2003. Новый регионализм в Западной Европе // *Логос*. № 6 (40). С. 67–115.
- Княгинин В., Щедровицкий П. 2003. На пороге новой регионализации России // *Преображенский В., Драгунский Д. (ред.)*. Россия между вчера и сегодня. Книга первая: экспертные разработки. М.: ИНДЕМ. С. 84–107.
- Колобов О.А. (ред.). 1997. Сравнительный регионализм: Россия – СНГ – Запад. Нижний Новгород: ННГУ.
- Колобов О.А., Макарычев А.С. 1999. Российский регионализм в свете зарубежного опыта // *Социологические исследования*. № 12. С. 34–43.
- Трейвиш А.И., Артоболовский С.С. 2001. Регионализация в развитии России: географические процессы и проблемы. М.: УРСС.
- Хобсбаум Э. 1998. Нации и национализм после 1780 года. СПб.: Алетейя.
- Colomer J. 2007. *Great Empires, Small Nations: The Uncertain Future of the Sovereign State*. London: Routledge.
- Jones B., Keating M. 1995. *The European Union and the Regions*. Oxford: Clarendon Press.
- Jeffery C. 1997. *The Regional Dimension of the European Union: Towards a Third Level in Europe?* London: Frank Cass.
- Sellers J. 2002. *Governing from Below: Urban Regions and the Global Economy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Swenden W. 2006. *Federalism and Regionalism in Western Europe. A Comparative and Thematic Analysis*. Houndmills: Palgrave Macmillan.
- Treisman D. 2007. *The Architecture of Government: Rethinking Political Decentralization*. Cambridge: Cambridge University Press.

Самоуправление

I. Теории происхождения местного самоуправления

Полноценное развитие общины как социального института началось в средневековой Европе. Оно было связано со стремлением городов, превращающихся в рыночные центры, уйти из-под власти феодальных собственников. Носителями городских привилегий выступали не отдельные лица, а *все граждане*, обладавшие статусом «свободных», и в этом смысле города противоречили самим основам иерархического порядка феодализма. Становление западноевропейских коммун и их борьба за самоопределение внесли огромный вклад в формирование гражданского и политического облика европейского континента (ван Кревельд 2006: 132–149). Именно тогда оттачивались основные представления о том, какую роль в решении государственных вопросов должна играть низовая инициатива граждан.

В настоящее время существует целый ряд теорий, затрагивающих природу местного самоуправления; их базовое различие состоит в разных подходах к *соотношению местного самоуправления и государственной власти*. Основываясь на этом критерии, все имеющиеся теории можно разделить на «общественные» и «государственные» (Велихов 1996).

В *общественных теориях* местного самоуправления ключевым является принцип приоритета общины и ее прав над государством, поскольку первая возникла раньше: именно на заложенных ею основах происходило потом оформление государственного организма. Согласно этому взгляду, общины по своей природе самостоятельны, они не создаются государственной властью, а деятельность органов самоуправления следует отделять от государственного управления и даже противопоставлять ему. Иными словами, самоуправление есть результат *самоорганизации* общества и продукт общественной *свободы*. «В общине, как, впрочем, и повсюду, народ является источником власти в обществе, однако более непосредственно, чем в общине, он нигде не осуществляет свою власть» (де Токвиль 1992: 66). Из теорий такого рода следует частный вывод о **197**

том, что делами общины должны управлять лица, *не получающие вознаграждения*. Впрочем, невзирая на бесспорную теоретическую привлекательность подобных концепций, в настоящее время сторонники *исключительно* общественного подхода к местному самоуправлению не слишком многочисленны. [См. статью *Демократия*.]

Приверженцы *государственных теорий*, напротив, доказывая несостоятельность аргументов «общественников», отмечали, что, если следовать логике их оппонентов, вся территория государства должна состоять из независимых самоуправляющихся общин, тогда как в действительности этого нет и, самое главное, никогда не было. В основе государственных теорий лежит положение о том, что самоуправление представляет собой особую форму государственного управления. Государство не просто допускает существование общин, но *требует* обязательной их организации во всех своих частях. Поэтому назначение общины заключается в способности в ограниченной мере и в ограниченных сферах воспроизводить основные формы и органы государства. В силу того, что государство нуждается в единстве действий, а местное самоуправление должно согласовываться с государственным управлением, местные органы предстают, прежде всего, агентами государства, от него всецело зависимыми, им финансируемыми и направляемыми.

По-видимому, в наши дни идея радикального противопоставления местного самоуправления государству все больше и больше теряет актуальность. Разумеется, природа общины в современных условиях заметно изменилась: революция в сфере коммуникаций сводит непосредственное общение между людьми, из которого только и может произрастать коммунальный дух, к минимуму. Но поскольку современный триумф «глобального», как это ни парадоксально, побуждает к переосмыслению «локального», отдельное и местное одновременно *вновь выходят на первый план*, особенно в развитых странах. [См. статью *Глобализация*.] Фактически, в многолетнем теоретическом диспуте между сторонниками государственной или общественной природы самоуправления на местах была зафиксирована «ничья». Сейчас вполне можно считать общепризнанным тот факт, что природа самоуправления дуальна: оно имеет как собственную компетенцию, так и компетенцию, делегируемую государством. Вопрос лишь в том, как эти столь разные компетенции соотносятся друг с другом.

По-видимому, самоуправленческие начала вступают в конфликт не с государством как таковым, но с технократическими и обезличенными формами государственного управления. Это означает, в свою очередь, что, несмотря на предпосылки диалога, гармоничное соединение интересов государства и общества в самоуправленческой практике отнюдь не гарантировано. Особенности их состыковки предопределяются пройденным тем или иным народом историческим путем, уровнем экономического благосостояния, степенью развитости гражданского общества. Там, где государство традиционно стремилось держать под контролем все сферы политической, экономической, социальной жизни, трудно ожидать расцвета коммунальной культуры. В первую очередь это касается стран, переживающих период посткоммунистического транзита. Например, в России, простившейся с коммунизмом почти два десятилетия назад, властные элиты по-прежнему предпочитают рассуждать о местном самоуправлении как о чисто административном, а не политическом институте.

II. Самоуправление и демократия

Самоуправленческие начала в том или ином виде существовали во всех государствах древности, включая и деспотии с их жестко централизованной системой власти во главе с обожествляемым монархом. Однако подлинные основы демократии, гражданственности, самоуправления в современном их понимании были заложены в Греции. Опыт античного полиса интересен, в первую очередь, тем, что именно в нем сформировалось представление о гражданине как о свободном человеке, обладающем равными с другими гражданами правами участвовать в управлении государством и нести ответственность за то, что в нем происходит. [См. статью *Демократия*.]

«Импульс к демократическому способу правления исходит из того, что мы можем назвать *логикой равенства*», — отмечает классик современной политической мысли Роберт Даль (р. 1915) (Даль 2000: 16). Равная причастность граждан к властным рычагам, обеспечиваемая демократическим устройством социума, предстает фундаментальной гарантией эффективного самоуправления. Фактически понятия «демократия» и «самоуправление» выстраиваются в единый смысловой ряд, поскольку обуславливают и предусматривают друг друга. С античности и

до современности степень демократичности социума была прямо пропорциональна распространению самоуправленческих навыков среди его граждан. Причем к самоуправлению готовы только люди, способные противопоставлять собственную инициативу инициативе государства. Ограничение верховной власти, встроенное в любую модель демократии, является обязательным условием самоуправления. Для самоуправленческой деятельности необходима публичная площадка, не занятая государством — то, что называется гражданским обществом (Патнэм 1996: 110–116). А оно, как известно, процветает лишь в демократических странах, поскольку постоянно ограничивает власть и корректирует ее действия.

Неполноценность демократических процедур, низкое качество политических институтов и абсолютизация государственной власти стали главными факторами, препятствующими развитию реального самоуправления в нынешней России. В этой связи довольно широкое распространение среди отечественных исследователей получила точка зрения, согласно которой сама природа политического режима, выстроенного Конституцией 1993 года, не предполагает наличия в стране сильных муниципалитетов (Гельман и др. 2008; Ross, Campbell 2009). Кроме того, российский опыт подтверждает и еще одну важную закономерность: желание граждан участвовать в решении общественных вопросов прямо пропорционально *наличию у них собственности*. Население, не обладающее собственностью, политически безответственно, причем не только в нашей стране, но и во всем мире. Так, в основе довольно эффективного осуществления самоуправленческих функций дореволюционной крестьянской общиной лежал тот факт, что реально в принятии ею различных решений участвовали лишь наиболее зажиточные хозяева, доля которых была весьма незначительна. «Теоретически всего около 10 процентов крестьян имели право участвовать в сходах, в крестьянских судах, избираться на различные выборные должности», — отмечает российский историк Борис Миронов (р. 1942). (Миронов 1999: 444–445). Соответственно, неудачное проведение приватизации, состоявшееся после ухода КПСС и закрепившее поразительное социальное неравенство и хроническую бедность большинства наших сограждан, не могло способствовать утверждению свободы на местном уровне и отвратило от участия в практической политике даже самых безоглядных оптимистов.

Анализируя природу русского вотчинного хозяйства, американский историк Ричард Пайпс (р. 1923) обращает внимание на весьма причудливый характер представлений о собственности, сложившихся в Московском государстве и позже усвоенных Российской империей. «Монарх был не только правителем своей земли и ее обитателей, — пишет он, — но и в буквальном смысле их собственником. ... Отсутствие собственности на землю лишило Россию всех тех рычагов, с помощью которых англичане добились ограничения власти своих королей» (Пайпс 2000: 211). Обладание политической властью в нашей стране нерасторжимо сочеталось с распоряжением собственностью; имперский, коммунистический и демократический периоды, при всей самобытности каждого, в этом плане схожи. Сказанное в равной мере затрагивало привилегированные и непривлекательные сословия, не позволяя чувству гражданской ответственности развиваться ни в общественных верхах, ни в низах. Как результат, самоуправление в России традиционно оставалось *безосновательным*: его институты не имели сколько-нибудь прочного фундамента, а граждан необходимо было *при-нуждать* к освоению его навыков. С сожалением приходится отмечать, что за тысячелетнюю историю нашего государства в этом отношении мало что изменилось.

III. Англосаксонская и континентальная модели самоуправления

Выделение в массиве европейской культуры двух составляющих, романской и англосаксонской, принято в гуманитарной науке довольно давно. Различия между ними прослеживаются повсеместно: в экономике, политике, искусстве. Не стала исключением и практика местного самоуправления. Здесь сложились две модели муниципальной организации, первая из которых формируется снизу, в силу, прежде всего, гражданской инициативы населения, а вторая строится сверху, под присмотром и контролем со стороны государства (Черкасов 1998).

Особенности *англосаксонской модели*, утвердившейся в Великобритании, США, Канаде, Австралии и других, в основном англоязычных, странах, сводятся к следующему. Во-первых, избираемые населением органы местного самоуправления самостоятельны, то есть ни одна государственная инстанция не вправе корректировать их действия или руководить ими,

когда они занимаются вопросами своей исключительной компетенции. Во-вторых, в такой модели отсутствует прямое подчинение нижестоящих органов самоуправления вышестоящим, ибо любая местная община — это отдельный мир, живущий по собственным обычаям и установлениям (хотя и в соответствии с общегосударственными законами), которому никто и ничего не может навязывать. Наконец, в-третьих, в рамках этой модели главная роль в управлении местными делами принадлежит не столько органу самоуправления в целом, сколько его профильным комитетам и комиссиям, которые, как правило, более активны и заметны, чем совет как таковой.

У *континентальной модели*, распространенной в Европе, франкоязычной Африке, Латинской Америке и на Ближнем Востоке тоже есть своя специфика. *Во-первых*, континентальная модель предусматривает наличие на муниципальных территориях чиновников государственной администрации, наблюдающих за деятельностью органов местного самоуправления. *Во-вторых*, в странах континентальной модели сохраняется соподчиненность органов самоуправления различных уровней, подобная той, которая наблюдалась в России в коммунистический период. *В-третьих*, в отличие от стран, руководствующихся англосаксонской моделью, в государствах с континентальной системой местные органы могут принимать участие в осуществлении власти на национальном уровне. Так, во Франции, например, муниципалитеты участвуют в выборах сената.

Наличие двух базовых моделей предопределяет различный статус местной власти в Европе и за ее пределами. В США, Канаде, Австралии отношение к муниципальным органам утилитарно и прагматично. Их задачи ограничиваются метафорической триадой «*roads, rats, and rubbish*» («дороги, крысы, мусор»), из чего можно заключить, что политикой они практически не занимаются. Отсюда — разнообразие форм их организации и методов деятельности. На европейском континенте, напротив, муниципалитеты, напрямую сообщающиеся с иными этажами власти и причастные к системе государственного управления, в большей степени вовлечены в политику и имеют в силу этого более высокий общественный статус. Но политические нюансы отражаются на их повседневной жизни гораздо более осязаемо, чем это происходит за океаном (Hague, Harrop 2001: 211–212), причем в последние годы политическая вовлеченность низо-

вых общин расширяется. Так, в Германии, где коммунальный уровень долгое время рассматривался как преимущественно неполитический, в наши дни «тенденции к “политизации” коммун очевидны» (Бусыгина 2006: 212–213).

Следует обратить внимание на то, что различия между двумя рассмотренными моделями в настоящее время не носят принципиального характера. Более того, в последние десятилетия отмечается их определенное сближение. В значительной мере такому эффекту способствуют процессы глобализации, которые, с одной стороны, унифицируют культурные (и, следовательно, политические) стереотипы и практики, а, с другой стороны, делают участие граждан в политике, в том числе и на низовом уровне, все более опосредованным и обезличенным.

Оценивая российский опыт в перспективе только что описанных хрестоматийных моделей, можно констатировать, что Россия более тяготеет к *континентальному (европейскому)* типу. Прежде всего, отечественные муниципальные начала на всех этапах нашей истории развивались по инициативе и под опекой государства. В полном соответствии с постулатами континентальной модели у нас фактически всегда практиковалось явное и ощутимое присутствие чиновников центрального правительства на местах. Далее, наши самоуправленческие структуры регулярно выстраивались в строгую вертикаль, а вышестоящие органы имели право отменять решения низовых муниципальных властей. Наконец, местные общины неоднократно, начиная с Земского собора XVII века, привлекались центральным правительством к решению общегосударственных вопросов.

Но, несмотря на все сказанное, Россию трудно причислить к классическим примерам континентальной модели. Более правильно говорить о том, что в стране реализовалась своеобразная, самобытная, комбинированная модель (Велихов 1996). Наряду с всевластием центрального правительства российская жизнь во все времена имела ярко выраженные общинные черты. По сути, русские крестьяне были не меньшими общинниками, чем, скажем, британцы, а известный русский социолог Питирим Сорокин (1889–1968) имел все основания говорить о том, что «под железной крышей самодержавной монархии жило сто тысяч крестьянских республик» (Пушкарев 1985: 60). Наконец, в силу присущего России этнического разнообразия государство всегда терпимо относилось к суще-

ствованию на территории страны различных национальных укладов самоуправления.

IV. Самоуправление в дореволюционной России

В развитии местного самоуправления в России особую роль играет XVI век, когда в 1555 году указом Ивана IV (1530—1584) была представлена система *земских учреждений*, впервые в истории России реально вводившая в практику государственного строительства начала выборного самоуправления. Полномочия земских властей охватывали тогда все ветви управления: полицейскую, финансовую, экономическую, судебную. «Смутное время», однако, прерывает нормальное развитие самоуправленческих институтов, а последовавший за ним восстановительный период характеризуется концентрацией и сосредоточением власти. Главными фигурами местного самоуправления со второй половине XVII века становятся *невыворные* лица — воеводы, а деятельность народного представительства, соответственно, приходит в упадок.

Наблюдатель, задавшийся целью обнаружить в русской истории периоды, наиболее благоприятные для развития местной инициативы и самоорганизации, практически не сможет найти таковых. Так, масштабная реорганизация местной жизни, предпринятая в царствование Петра I (1687—1725), вдохновлялась единственной целью: упорядочением форм и методов *государственного* контроля над всеми сферами общественной деятельности с целью максимально эффективного продвижения *государственных* же интересов. Заимствование немецких и шведских муниципальных установлений, происходившее в то время, не имело к духу подлинного самоуправления почти никакого отношения. Правда, стимулируя развитие коммерции, первый российский император пытался внедрять зачатки общественной инициативы в городах, где проживала основная масса торговцев и промышленников, но после его смерти, в 1727 году, городское население вновь было подчинено власти городских воевод.

Екатерина II (1729—1796) в третьей четверти XVIII века начинает строить местное самоуправление в России фактически заново. Причем местные учреждения, созданные в тот период, тесно сопрягались с сословным строем, то есть самоуправление

было не земским, но исключительно *сословным*. Несмотря на то, что предусмотренные «Жалованной грамотой городам» выборные институты остались в основном на бумаге, инициативы императрицы упразднили бесплатные служебные повинности, в течение двухсот лет обременявшие городское население страны. В итоге городская экономика к концу царствования Екатерины обнаруживает признаки заметного оживления, которое, однако, так и не стало устойчивой тенденцией.

Следующий этап преобразований связан с именем Александра II (1818–1881). Земская и городская реформа, предпринятая им в 1860-е годы, была направлена на давно назревшую децентрализацию российской системы управления. По мнению некоторых авторов, лишь начиная с этой реформы можно говорить о подлинном местном самоуправлении в России (Гельман и др. 2008: 13). В губерниях и уездах создавались земские органы – выборные земские собрания и избираемые ими земские управы. Земское избирательное право обуславливалось имущественным цензом, а выборы строились на сословном принципе. В задачи земских органов самоуправления входило общее управление местными делами – в частности, управление имуществом, капиталами и денежными сборами земства, заведование земскими благотворительными учреждениями, развитие торговли, народного образования, здравоохранения.

Важно отметить, что земские и городские органы самоуправления не были подчинены правительственной администрации на местах, однако действовали под пристальным надзором губернаторов и министра внутренних дел. Причем, как гласил закон, «земские учреждения, в кругу вверенных им дел, действуют самостоятельно». По сути, в России в то время параллельно сосуществовали две системы местной власти: государственное *управление* и земско-городское *самоуправление*. Местные вопросы, таким образом, были отделены от вопросов общегосударственных. Недостатком нововведений было то, что земская система была введена всего в тридцати четырех губерниях, то есть на меньшей части имперской территории, но даже в такой ситуации раскрепощение низовой инициативы благотворно сказывалось на развитии, например, медицинско-го обслуживания, образования, дорожного хозяйства.

Ситуация в очередной раз изменилась при Александре III (1845–1894), когда в 1890-е годы были пересмотрены положения о городских и земских учреждениях. Губернаторы, в

частности, получили право приостанавливать исполнение постановлений выборных земских собраний не только в случае их противоречия закону, но и если они «явно нарушают интересы местного населения». Обособленность самоуправленческих структур от государства опять была упразднена, а прежний, здоровый дуализм нарушен: государство вновь обратилось к прямому вмешательству в дела сельских и городских общин.

Споры о роли земского и городского самоуправления в дореволюционной России идут до сих пор, причем нередко в них высказываются полярно противоположные мнения. Ясно, впрочем, одно: земское и городское самоуправление складывалось в уникальных общественно-исторических условиях и только в них могло быть эффективным. Таким образом, любые предложения о перенесении этого опыта в современную Россию следует признать безосновательными и нереалистичными.

V. Местное самоуправление в постсоветский период

Как известно, в СССР самоуправление не располагало автономией: и местные, и региональные органы власти были частью вертикально интегрированного государственного механизма. С 1990-х годов эволюция самоуправленческих начал зависела от общего характера политической трансформации нашей страны, поскольку «общероссийское политическое развитие играло главную роль в процессе становления местной политики» (Гельман и др. 2008: 38), однако в число приоритетов новой, демократической российской власти местная автономия едва ли входила. В частности, в рамках конституционного процесса проблема местного самоуправления занимала подчиненное место по сравнению с проблемой федеративных отношений; из-за этого федерализация в России значительно опережала совершенствование муниципальной сферы. [См. статью *Федерализм*.] В целом же для большинства российских политических акторов предыдущего десятилетия «проблемы муниципальной автономии находились на периферии их интересов и не имели для них существенного значения. ... Новая российская власть не нуждалась ни в проведении выборов глав администраций, ни в существовании местных Советов» (Гельман и др. 2008: 49, 57).

Тем не менее, в 1993 году, с принятием действующей Конституции Российской Федерации, маятник развития местного самоуправления качнулся в сторону усиления муниципальной автономии. В целом ряде нормативных актов закреплялась самостоятельность местного самоуправления. В регионах началось становление *различных* моделей его организации, что вполне соответствовало разнообразию российского политического и культурного ландшафта. В то же время, однако, легко обнаружилось, что «заложенная в Конституции России идея “отделения” местного самоуправления от государства опиралась на практику, не укорененную в российском обществе» (Гельман и др. 2008: 41). Довольно скоро отчетливо выделилась группа регионов—противников самоуправления на местах, в которых преобладала тенденция *огосударствления* последнего. Региональная правовая база в тот период формировалась крайне неравномерно, а законы субъектов Федерации зачастую содержали нормы, противоречащие федеральному законодательству. Как правило, в таких случаях речь шла о превышении полномочий региональных властей в отношении муниципальных органов.

В апреле 1998 года Россия ратифицировала Европейскую хартию местного самоуправления; это событие теперь можно считать заключительным аккордом в недолгом процессе укрепления местной автономии после краха коммунизма. С 2000 года в развитии местного самоуправления начался новый этап. Проведенная по инициативе президентской администрации реформа существенно ограничила местную самостоятельность, фактически выстроив на низовом уровне еще один «этаж» государственной власти. Вопрос о том, насколько предпринятые преобразования соответствуют самому духу самоуправления, пока остается открытым. Некоторые специалисты полагают, что они позволят выжить убыточным муниципалитетам, но окажутся пагубными для тех из них, которые сумели развиваться в переходный период — речь идет, прежде всего, о крупных городах. Под этими прогнозами есть определенные основания. Но в оценках большинства наблюдателей все же преобладает пессимизм (Ross, Campbell 2009). «Несмотря на декларируемые цели *эффективности* управления, на практике политика реформ во многих сферах, не исключая и местное самоуправление, преследовала цели обеспечения *управляемости*, понимаемой как иерархический контроль по

принципу “сверху вниз”», — констатируют российские авторы (Гельман и др. 2008: 89).

Если ранее, в период стихийной федерализации страны, источником давления на местную автономию выступала в основном исполнительная власть регионов, то теперь эту функцию взял на себя федеральный центр. Действительно, в ходе нынешней реформы права муниципалитетов по регулированию различных сторон местной жизни в очередной раз расширяются, но вопрос о том, насколько удастся гарантировать их экономически, до сих пор не имеет ответа. Сделка, предложенная муниципальным властям федеральной бюрократией, предполагает обмен политической автономии на экономическую состоятельность. И уже сейчас можно предвидеть, что свертывание принципа выборности и механическое внедрение на региональном и местном уровне псевдоплюралистичной партийной системы негативно скажутся на низовой управленческой инициативе. Скорее всего, в условиях воссозданной в стране последовательно авторитарной модели управления такая инициатива не будет востребована, а реализация конституционного права на самоуправление окажется невозможной без непосредственного вмешательства государственной власти. Россия переживает «муниципальную контрреволюцию» (Гельман и др. 2008: 97).

VI. Самоуправление в эпоху глобализации

Вопрос о влиянии глобализации на самоуправленческую практику связан с более широкой проблемой эволюции власти в современную эпоху. В мире, где временные и пространственные границы играют все меньшую роль, происходит неизбежная *концентрация* власти. Идет кристаллизация тех центров, которые принимают решения, в первую очередь на *наднациональном* уровне. Специалисты расходятся во мнениях о том, какую роль муниципальные начала играют в новом политическом, экономическом, социальном контексте. Некоторые считают, что в современных условиях местное самоуправление *утрачивает* свою актуальность. Как естественное следствие технического и информационного прогресса, власть делается все более *анонимной*, в то время как самоуправление всегда *личностно*. В итоге муниципальная практика обезличивает-

ся и механизмуется; вместо того чтобы поддерживать дух общественной *солидарности*, институты самоуправления сосредотачиваются на обеспечении всевозможных *услуг*. Более того, в 1990-е – 2000-е годы типичный муниципальный совет за рубежом не предоставлял услуги сам, но, скорее, следил за их предоставлением, заботясь не столько о *правлении*, сколько об *управлении* (“*more concerned with governance than government*”). Соответственно менялась и роль гражданина в местном самоуправлении: он все более становился *потребителем* и только потом – *избирателем* (Hague, Harrop 2001: 213–214).

Другая группа специалистов из тех же предпосылок делает прямо противоположные выводы. Они полагают, что в глобальном мире значение *места, локального*, неизмеримо возрастает. Одна и та же динамика порождает и централизацию, и децентрализацию, в результате чего локальные и региональные сообщества *укрепляют свое влияние* в соответствующих национальных контекстах. Самоуправление на местах в новых условиях обретает второе дыхание, ибо в нем люди начинают видеть своеобразную форму адаптации своей уникальной и самобытной жизни к универсальному и однотипному внешнему окружению. В структурах низовой общественной солидарности, близких и понятных индивиду, пытаются видеть позитивную альтернативу государству, в глазах отдельно взятой личности неизменно чуждому и непонятному. Подобный взгляд на самоуправление, созвучный мировоззренческой парадигме постмодернизма, широко практикуется всевозможными альтернативными движениями. [См. статьи *Постмодернизм и Федерализм*.]

Что касается переходных обществ, включая Россию, то здесь в обозримой перспективе самоуправление останется фактором вторичным и подчиненным, поскольку возмещение ущерба, нанесенного социальному капиталу тоталитаризмом, требует не только возвращения подданным бывших коммунистических режимов элементарного минимума свобод, но и основательного экономического подкрепления, а также времени. Кроме того, весьма вероятно, у нашей страны в грядущих метаморфозах самоуправленческих начал будет особый путь, обусловленной пресловутым «ресурсным проклятием» и обусловленной фундаментальной слабостью отечественной экономики. Прогнозы, делаемые в этой связи исследователями, печальны: «По мере того как страна все в большей мере

зависит от экспорта энергоносителей, российские элиты в той же мере становятся заинтересованными в концентрации извлекаемой ренты и, следовательно, в дальнейшей финансовой централизации и дальнейшем упадке экономической и политической автономии местного самоуправления» (Гельман и др. 2008: 358). И как разорвать этот порочный круг – остается только гадать.

Литература

- Бусыгина И.М. 2006. Политическая регионалистика. М.: РОССПЭН.
- Велихов Л.А. 1996. Основы городского хозяйства. Общее учение о городе, его управлении, финансах и методах хозяйства. М.: Наука.
- Гельман В., Рыженков С, Белокурова Е., Борисова Н. 2008. Реформа местной власти в городах России, 1991–2006. СПб.: Норма.
- Даль Р. 2000. О демократии. М.: Аспект Пресс.
- Кревельд М. ван. 2006. Расцвет и упадок государства. М.: ИРИСЭН.
- Миронов Б.Н. 1999. Социальная история России периода империи (XVIII – начало XX века). Т. I. СПб.: Дмитрий Буланин.
- Пайнс Р. 2000. Собственность и свобода. М.: Московская школа политических исследований.
- Патнэм Р. 1996. Чтобы демократия сработала. Гражданские традиции в современной Италии. М.: Московская школа политических исследований.
- Пушкарев С. 1985. Самоуправление и свобода в России. Франкфурт-на-Майне: Посев.
- Токвиль А. де. 1992. Демократия в Америке. М.: Прогресс.
- Черкасов А. 1998. Сравнительное местное управление: теория и практика. М.: Инфра–М.
- Hague R., Harrop M. 2001. Comparative Government and Politics: an Introduction. 5th ed. Basingstoke: Palgrave.
- Ross C., Campbell A. (eds.). 2009. Federalism and Local Politics in Russia. London and New York: Routledge.

Социализм

I. Истоки социализма

Исторические корни социализма как метаидеологии весьма глубоки; некоторые исследователи обнаруживают их уже в платоновском диалоге «Государство», а кто-то и в культуре более ранних эпох (Шафаревич 1977). Первоначальные варианты социализма были *утопическими* — это понятие происходит от названия классического произведения «Утопия», написанного Томасом Мором (1478–1535). Социалисты-утописты XVI столетия, к которым, наряду с этим мыслителем, причисляют автора трактата «Город солнца» Томмазо Кампанеллу (1568–1639), выдвигали идеи общественной собственности и упорядочения жизни социума в соответствии с единым стандартом. В своих теоретических построениях они шли от идеала замкнутой патриархальной общины к идеалу более крупного и открытого политического образования — города или федерации городов, а также к признанию важнейшей роли государственной власти в утверждении основ разумного общественного строя.

В качестве целостной системы убеждений, политической идеологии социализм начал оформляться в XVIII столетии. Социалистическая мысль, подобно мысли либеральной или консервативной, испытала сильнейшее воздействие Просвещения и рожденной им Великой французской революции (Валлерстайн 2003: 74–93). [См. статьи *Либерализм* и *Консерватизм*.] Социализм, с его жадной всемирного общественно-го переустройства, был напрямую связан с *просвещенческим культом свободной личности*, ниспровергающей абсолютные начала и превозносящей человеческое своеволие. В своем экономическом аспекте социалистическое учение развивалось в качестве реакции на экспансию индустриального капитализма, причем первоначально идеологи социализма претендовали на выражение интересов мелких ремесленников и лишь позже начали выступать от имени рабочего класса. Именно с наступлением эпохи модерна — «современности» — социализм, будучи ее прямым порождением, вошел в число важнейших идеологий (Шубин 2007).

В начале XIX века Клод Анри де Сен-Симон (1760–1825), Шарль Фурье (1772–1837), Роберт Оуэн (1771–1858) разрабатывали идеи социализма критико-утопического толка. Сторонники такой разновидности социализма исходили из закономерности смены форм собственности и основанных на них форм хозяйствования, а первоочередной задачей считали создание крупного общественного производства, базирующегося на *свободном труде*. Эти мыслители отстаивали принцип распределения «по способностям» и рисовали чудесные картины будущего, в котором люди наслаждаются материальным изобилием и безграничным развитием личности. Именно благодаря их творчеству сам термин «социализм», происходящий от латинского слова *sociare*, которое означает «делиться», в 1830-е годы вошел в политический и научный оборот.

Важно отметить, что «движущей пружиной» общественно-исторического развития социалисты-утописты считали не материальные условия жизни и не классовую борьбу, но смену религиозных и нравственных идей, утвердившихся в обществе. В пролетариате они видели не борца, но страдальца. Они полагали, что сотрудничество между пролетариатом и буржуазией вполне возможно, и его главной скрепой способна выступить религия. Таким образом, утопический социализм стремился построить совершенную социальную систему, исходя из принципов разума, справедливости и свободы, что однозначно отсылало к его просвещенческим корням. Благожелательное отношение к масштабным социальным переменам и подчеркивание их гуманитарной основы сближало первых социалистических теоретиков, как это ни парадоксально, с основателями либерализма. По замечанию русского философа Николая Бердяева (1874–1948), «социализм рождается на той же почве, на которой рождается индивидуализм, он есть также результат атомизации человеческого общества» (Бердяев 1990b: 132).

Следующее поколение социалистов, прежде всего, Карл Маркс (1818–1883) и Фридрих Энгельс (1820–1895), отдавая должное вкладу социалистов-утопистов в историю, тем не менее, резко критиковали их за «фантастическое стремление возвыситься над борьбой классов» (Маркс, Энгельс 1955: 455–456). С появлением марксизма в социалистической мысли возобладал *детерминизм материалистического толка*, принижающий роль идейных и духовных факторов общественного

прогресса, что довольно резко обострило ее противостояние с альтернативными воззрениями на общество и предопределило дальнейшую эволюцию социализма как политической практики.

II. Понятие и основные ценности социализма

Социализм – понятие многоплановое, объединяющее в себе несколько значений. Прежде всего, это *идеал общественного устройства*, отрицающий частную собственность и индивидуализм; в данном отношении он выступает антитезой либерализму, с которым, впрочем, генетически связан. Кроме того, социализм, как было отмечено выше, – это оформившаяся в XIX веке *политическая идеология*, входящая в тройку классических идеологий модерна. Далее, в трудах Маркса и его последователей социализмом называют *низшую фазу коммунистической общественно-экономической формации*. Социализмом также именовали *общественный строй*, который базировался на политических, социальных и экономических представлениях Маркса и Ленина и который после 1917 года оформился в Советском Союзе, а затем в государствах «социалистического лагеря». Наконец, под социализмом понимают *одну из тенденций развития общества индустриального типа*; такая интерпретация социализма связана с функционированием ориентированных на идеалы справедливости национальных моделей «государства всеобщего благосостояния» (или «социального государства»), наибольшую известность среди которых приобрел «шведский социализм» (Мельвиль 2002: 548–551).

Социалистическая идеология в своем классическом варианте, сложившемся в XIX столетии, базируется на нескольких ключевых ценностях. Это, прежде всего, приоритет *общественной собственности* над собственностью *частной*. Его утверждение на практике предполагает либо национализацию частной собственности в пользу «социалистического государства», либо же ее обращение в совместное, акционерно-кооперативное владение трудящихся. Социалисты отвергают частную собственность по нескольким причинам. Во-первых, частное владение несправедливо, ибо создаваемое всеми не может принадлежать немногим. Во-вторых, частная собственность основывается на стяжательских инстинктах и потому разла-

гает человека морально, делая его крайним материалистом. В-третьих, собственность раскалывает общество, постоянно порождая конфликты (Heuwood 2003: 115).

Социалистическая идеология руководствуется *классовым подходом*, постулирующим в качестве ценности защиту интересов неимущих методами революционной борьбы. [См. статью *Революция*.] В глазах социалистов именно общественные классы, а не отдельные личности, оказываются главными участниками исторического процесса; следовательно, только их взаимодействие объясняет ход и логику социальных катаклизмов. Среди социалистических ценностей есть также идеал *равенства*, причем речь идет о «равенстве результатов», а не о «равенстве возможностей», о котором говорят либералы. [См. статью *Либерализм*.] «Преодоление классового разделения, социально закрепленного неравенства — ключевое требование к обществу, которое претендует на название социализма» (Шубин 2007: 9). В пользу имущественного равенства социалистическая мысль выдвигает немало аргументов, в ряду которых выделяются два: во-первых, социальное равенство гарантирует справедливое устройство общества, и, во-вторых, оно стимулирует коллективизм и кооперацию между людьми (Heuwood 2003: 111–112). Наконец, традиционная идеология социализма подчеркивает преобладание *коллективных* интересов и потребности над *индивидуальными* интересами и потребностями. Человек есть социальное существо; для социалистов, в отличие от либералов или консерваторов, его природа не задана раз и навсегда, но, напротив, она пластична и открыта для совершенствования. В силу общественной природы человека его устремления нельзя ограничивать исключительно материальной выгодой — моральные и духовные стимулы деятельности, полагают социалисты, для людей еще более значимы.

III. Марксизм

В специфической и весьма популярной для своего времени форме теория социализма была развита Марксом и Энгельсом. Марксизм представлял собой политическую идеологию, основные положения которой сводятся к материалистическому пониманию истории, неприятию капитализма из-за отчуждения пролетариата от продукта его труда, необходимости классовой борьбы с целью искоренения частной собственности. В качестве

конечного идеала и цели общественного развития в марксизме выступает достижение коммунизма. Касаясь последней темы, Маркс попытался обосновать наличие переходного периода между капиталистическим и коммунистическим обществом, причем, по его словам, государство, существующее в течение этого периода, «не может быть ничем иным, кроме как *революционной диктатурой пролетариата*» (Маркс 1961: 27).

Маркс как мыслитель сформировался благодаря наследию Великой французской революции с ее пафосом эмансипации человека и превращения народных масс из объекта в субъект исторического творчества. [См. статью *Либерализм*.] Эти задачи, по мнению родоначальника марксизма, мог разрешить только пролетариат, предстающий главным носителем гуманистических ценностей. Огромную роль в становлении Маркса сыграли Мартин Лютер (1483—1546) и Георг Вильгельм Фридрих Гегель (1770—1831). При этом Маркс, в отличие от зачинателя протестантизма, видел счастье не в «милости божьей», но полагал его вполне земным, материальным, воплощаемым в бесконфликтном социалистическом обществе. Соответственно, и гегелевская диалектика применялась им не столько для анализа духовных процессов, сколько в приложении к материальной жизни. Фактически, синтезируя достижения немецкой идеалистической философии, британской политической экономии и французского утопического социализма, Маркс выступил творцом *новой религии*, о чем неоднократно писали русские и зарубежные исследователи марксизма (Бердяев 1990а).

Принято считать, что в творческом содружестве основателей марксизма Энгельс играл второстепенную роль. В советском обществоведении, однако, он имел статус «признанного вождя и учителя пролетариата». Его собственные произведения защищали и популяризовали идеи Маркса; в своих поздних работах Энгельс доказывал приемлемость *революционного насилия*, а также изображал будущее коммунистическое общество, в котором государство отмерло само по себе, экономика имеет плановый характер, а противоречия между городом и деревней уничтожены. Будучи энергичным сторонником принудительного переустройства мира, Энгельс оказал огромное влияние на русских революционеров. Кроме того, именно его перу принадлежит написанный в 1876 году «*Анти-Дюринг*» — работа, с которой началось становление марксистской догматики.

После кончины Маркса созданная им идеологическая и мировоззренческая система активно распространялась сначала германской, а затем и иной европейской социал-демократией. В 1864 году узкий круг последователей Маркса, в основном эмигрантов из разных стран, основал в Лондоне I Интернационал. Примерно в то же время по всей Европе началось интенсивное образование социалистических партий, причем в некоторых странах они добились значительных политических успехов. Так, образованная в 1869 году социал-демократическая партия Германии, несмотря на противодействие властей, на выборах в рейхстаг в 1877 году получила полмиллиона голосов избирателей и более десяти депутатских мандатов. В 1881 году она насчитывала 312 тысяч, а в 1890 году — более 1420 тысяч членов. Аналогичные процессы происходили и во Франции, где в 1906 году социалисты получили 54 места в нижней палате парламента, а к 1914 году увеличили свое представительство до 106 депутатских мандатов. Даже в США, где социалистическая идея в силу традиционного американского индивидуализма никогда не была столь популярной, как в Европе, в 1912 году в социалистической партии состояли 150 тысяч членов (Britannica: 395, 397).

Период между мировыми войнами был отмечен острыми разногласиями между умеренными и радикальными социалистами. Экстремистов представляло *коммунистическое движение*, после победы русской революции набравшее силу по всему миру и объединившееся вокруг учрежденного Лениным в 1919 году III Интернационала. Коммунисты обличали представителей II Интернационала, основанного в 1889 году, фактически распавшегося в 1914 и реконструированного после 1918 года, как «социал-изменников», в то время как ортодоксальные марксисты отвечали им обвинениями в забвении изначально присущих социализму, по их мнению, демократических традиций. Впрочем, несмотря на этот раскол, способствовавший последующему триумфу фашизма, в некоторых странах социалистам в межвоенный период даже удалось возглавить правительства. С 1919 и вплоть до начала 1930-х годов они оставались ведущей политической силой Германии. Социалистическая по духу лейбористская партия дважды — в 1923 и 1929 годах — формировала правительство Великобритании. В 1936 году социалисты обеспечили формирование кабинета Народного фронта во Франции. Правда, нигде, за исключе-

нием Швеции, социалистическим правительствам не удалось выдержать испытания «великой депрессией».

IV. Марксизм-ленинизм в Советском Союзе

В марксистской интерпретации социалистической идеологии наиболее радикальным вариантом был *большевизм*, возникший как течение политической мысли в России в 1903 году после раскола Российской социал-демократической рабочей партии. Виднейшим деятелем большевизма и основоположником советского коммунизма стал Владимир Ульянов (Ленин) (1870–1924). В отличие от Маркса и Энгельса, этот человек, оказавший огромное влияние на историю XX столетия, являлся не только теоретиком, но и практиком социалистической революции. Поскольку именно с его именем связано основание первого в мире «государства рабочих и крестьян», просуществовавшего несколько десятилетий, Ленина следует считать не только политическим мыслителем и философом, но и крайне удачливым политическим технологом.

Опираясь на учение русских народников о социальной революции, Ленин обогатил его положениями о классовой борьбе и неизбежности диктатуры пролетариата (Ленин 1974). Он обосновал идею о том, что при вступлении капитализма в империалистическую стадию переход к новому обществу возможен даже в *наиболее отсталых* капиталистических государствах. Именно таким слабым звеном, по его мнению, была Россия, которую Первая мировая война поставила на грань национальной катастрофы. Сложившаяся тогда ситуация снабдила большевиков благоприятными предпосылками для завоевания власти, успешного подавления буржуазии, организации нового хозяйственного уклада. В новой системе, полагал Ленин, пролетариат призван руководить народными массами, а марксистская партия выступает направляющей и мобилизующей силой диктатуры пролетариата. Главным инструментом для разрешения классовых противоречий в российском обществе последователи Ленина объявляли *гражданскую войну и революционный террор*. [См. статью *Революция*.]

Для большевиков были характерны максимализм во всех сферах социальной жизни и вера в абсолютное преимущество насильственных и революционных действий в сопоставлении с

эволюцией и поступательными реформами. Ленинизм с самого начала отличался воинственно-непримиримым отношением к любому инакомыслию и не признавал компромиссов с «врагами» (Пайпс 2002). Подобные установки базировались на учении об особой *авангардной роли коммунистической партии*, сформулированном Лениным под влиянием работ народника-радикала Петра Ткачева (1844–1885). Представляя собой организацию профессиональных борцов, такая партия немногочисленна по составу. Она подчиняется железной дисциплине, которая строится на обязательном исполнении решений центра рядовыми членами. Именно партия определяет курс общественного развития, убеждая население в его правильности и преодолевая всякое несогласие. «Партия нового типа, костяк которой составляли профессиональные революционеры, явилась той силой, благодаря которой всего лишь через тридцать лет после Октября треть человечества оказалась под властью коммунистических режимов, — пишет английский историк Эрик Хобсбаум (р. 1917). — Вера и безоговорочная преданность штабу мировой революции в Москве давали коммунистам возможность видеть себя частью всемирной Церкви, а не секты» (Хобсбаум 2004: 85). Иными словами, ленинское учение о партии сыграло фундаментальную роль в практике социалистического строительства не только в Советской России, но и за ее пределами. Именно оно обосновывало сращивание партийного аппарата с государственными органами, подавление иных взглядов и мнений, приоритет принуждения над прочими методами социальной мотивации.

После победы большевистской революции Ленин сформулировал программу действий новой государственной власти в России. Прежде всего, полагал он, необходима *«диктатура пролетариата»*, ибо старое государство «буржуазной диктатуры» подлежит разрушению. Для полного подавления буржуазии надо предусмотреть изъятия в правах и свободах в отношении эксплуататоров, угнетателей, капиталистов. Поскольку, согласно Марксу, государство все равно отомрет само по себе, следует ликвидировать не только атрибуты буржуазного государства, такие как разделение властей, всеобщее избирательное право, политические свободы, многопартийность, но и атрибуты государственности вообще — профессиональную армию, полицию, чиновничество. «Освобожденный» народ, полагал Ленин сразу после октябрьского переворота, не нуждается в управлении в

прежнем смысле слова. Действительно, среди людей, которые тогда заняли высшие государственные должности, широкой популярностью пользовались анархистские идеи.

Надо отметить, что в самом конце жизни Ленин серьезно пересмотрел свои прежние взгляды. В частности, он отошел от поддержки идеи исключительно плановой и полностью национализированной экономики. Ученые до сих пор спорят, можно ли говорить о разработке «поздним» Лениным нового государственного проекта, но, как бы то ни было, даже если он и имел место, реализовать эту программу не удалось. Уже в первые послереволюционные годы большевики перешли к всеобъемлющему государственному насилию и построению *тоталитарного* государства, которое жестко контролировало все стороны общественной жизни. Были уничтожены любые признаки самостоятельности низовых партийных организаций и местной власти (советов). В партии резко вырос вождизм. Началось усиленное развитие военно-промышленного комплекса. Левые лозунги комбинировались с идеями государственного патриотизма при отказе от идеи мировой революции. Сформированная на данной практике идеология была названа *марксизмом-ленинизмом*, а сами политические новации связаны с именем Иосифа Сталина (1878–1953).

Произведения Сталина были введены в канон марксистско-ленинского учения, который составляли труды Маркса, Энгельса и Ленина, уже в 1930-е годы. Марксизм-ленинизм претендовал на открытие и обоснование основных законов развития общества (Сталин 1947). В этом ряду выделялись неизбежность смены капитализма социализмом, мирное соперничество стран с различным общественным строем, возрастание роли народных масс в истории, обострение классовой борьбы в международном масштабе. Идеологи марксизма-ленинизма считали его мировоззрением, раскрывающим все скрытые до тех пор «пружины» общественной жизни. Следует, однако, признать, что в действительности эвристические возможности данного учения были довольно ограниченными.

Что касается исторического значения марксизма-ленинизма, то сегодня в гуманитарных науках преобладает убеждение в том, что он оказался пригодным в первую очередь *для отсталых стран*, поскольку как раз в них с его помощью решались задачи запаздывающей и потому ускоренной модернизации. [См. статью *Модернизация*.] Последовательное

воплощение в жизнь этой модели доказало свою неэффективность не только в СССР, но и в других странах так называемого реального социализма. С завершением сталинского периода и вступлением социализма в полосу прогрессирующей стагнации марксизм-ленинизм постепенно превращался в набор догм, обязательных для изучения, но не разделяемых ни политическим классом, ни подавляющим большинством населения.

После распада Советского Союза и провозглашения государственного суверенитета России носителем социалистических идей в нашей стране выступает, прежде всего, Коммунистическая партия Российской Федерации (КП РФ), которая в 1990-е и 2000-е годы оставалась единственной по-настоящему массовой политической партией, пользующейся существенной электоральной поддержкой. Правда, ее нынешние установки уже не имеют ничего общего с радикализмом большевиков-ленинцев; партия более не призывает к революционному перевороту, широко использует в своей деятельности компромиссы с властью и опирается только на легальные политические практики.

V. Неомарксизм

Процесс переосмысления основополагающих постулатов марксизма начался едва ли не сразу после того, как новое учение оформилось концептуально. Уже в 1860-е годы, вопреки положениям «Манифеста Коммунистической партии», сам Маркс заявил о возможности мирного, эволюционного перехода к социализму в наиболее развитых странах, включая Великобританию и США. Примерно в то же время один из лидеров немецких социалистов, Фердинанд Лассаль (1825–1864), утверждал, что распространение политической демократии позволит буржуазному государству более чутко относиться к интересам рабочего класса. Именно эти тезисы легли в основу *ревизионизма* — доктрины, разработанной близким сподвижником Энгельса, немецким марксистом Эдуардом Бернштейном (1850–1932) в конце XIX века и завоевавшей прочные позиции в рабочем движении накануне Первой мировой войны. Избавляясь от своего революционного пафоса, марксистская ортодоксия постепенно приспособилась к потребностям капиталистического и либерального общества. Институциональным воплощением новых тенденций стала деятельность П

Интернационала, разрешившего в 1904 году входившим в него партиям участвовать в буржуазных правительствах.

В результате, подобно либерализму и консерватизму, социализм пережил довольно основательные трансформации, в ходе которых эта идеология усваивала элементы иных школ и течений мысли. [См. статьи *Консерватизм* и *Либерализм*.] Одним из синтетических направлений, оформившихся в ходе этого весьма противоречивого процесса, стал *неомарксизм*, последователи которого, не принимая марксистское учение в целом, широко заимствовали у Маркса положения, казавшиеся им наиболее верными и привлекательными. Одновременно на протяжении минувшего столетия активно работали и те идеологи, которые занимались корректировкой классического марксизма в надежде приспособить его к новым вызовам и противоречиям общества. Коммунисты-ленинцы, однако, причисляли к ревизионистам и тех, и других.

Между двумя мировыми войнами весьма оригинальную концепцию марксизма разработал Антонио Грамши (1891–1937), итальянский коммунист, мыслитель и политик, взгляды которого приобрели широкую популярность среди европейских левых. По его мнению, реальность опровергла многие положения Маркса; например, такая участь постигла тезис о том, что исторический процесс определяется развитием производительных сил. Грамши считал, что прямое столкновение старого и нового, подобное тому, какое произошло в России в 1917 году, перестало быть эффективным. На первый план вышла «позиционная война» за доминирование в гражданском обществе, а это предполагает его «интеллектуально-моральную реформу», то есть систему мероприятий, направленных на трансформацию политико-культурных основ социальной жизни (Грамши 1991).

Примерно в то же время в Германии была сформулирована так называемая *критическая теория*, также явившаяся одной из разновидностей неомарксизма. Все ее авторы работали в Институте социальных исследований во Франкфурте, который был закрыт после прихода нацистов к власти в 1933 году. Основателем Франкфуртской школы считается Теодор Адорно (1903–1969), а ее ведущими представителями – Макс Хоркхаймер (1895–1973), Герберт Маркузе (1898–1979), Эрих Фромм (1900–1980). Опираясь на весьма оригинальный синтез политической экономии Маркса, диалектической фило-

софии Гегеля и аналитической психологии Фрейда, они создали одну из вариаций марксистской идеологии, хотя в основу их анализа легла именно критика последней.

Объектом переосмысления стал, прежде всего, экономический детерминизм, который обращал приоритетное внимание на экономическую сферу, упуская из виду другие аспекты социальной жизни. Маркс называл культуру «надстройкой» над «экономическим базисом», и критическая теория в принципе не отвергала этот тезис. Однако, сохраняя интерес к проблеме господства, Франкфуртская школа воспринимала его не как экономическое, но как культурное. По мнению «критических теоретиков», подавлением человека в современном мире занимается, прежде всего, массовая культура. Одна из главных проблем современности, таким образом, заключается в том, что в мире модерна *господство стало настолько тотальным, что вообще перестало выглядеть как господство*. Оно более не рассматривается как угроза личности или предпосылка отчуждения, оно становится просто *данностью*. В результате люди теряют ориентацию, перестают понимать, каким должен быть окружающий мир. Соответственно, переход от доминирования обмана и слепой подчиненности к просвещению и освобождению делается возможным благодаря критической процедуре, позволяющей людям «очистить» источники собственных представлений о мире. Понятно, что марксизм, истолкованный таким образом, представал не столько *прикладным*, сколько *гносеологическим* учением, из-за чего критическую теорию не слишком поощряли в странах «реального социализма».

Во второй половине XX века ортодоксия, настаивавшая на «чистоте» марксистско-ленинской доктрины, уже не могла противостоять регулярно повторяющимся попыткам «осовременить» Маркса. Причем идейные сражения по этому поводу нередко выливались в реальные политические конфликты, как это было в Югославии в 1948, в Венгрии в 1956, в Чехословакии в 1968 году. В конечном счете, ревизионизм, в разнообразных своих проявлениях, сыграл заметную роль в разрушении идеологических основ социалистической системы, ускорив ее дискредитацию и последующее крушение.

VI. Будущее социализма

Наряду с прочими идеологиям, социализм в настоящее время претерпевает довольно существенные метаморфозы, суть которых сводится к *размыванию базового ядра* социалистических установок и ценностей. На этом фоне во второй половине прошлого века возникали и крепили нерадикальные партии и движения, руководствующиеся, тем не менее, социалистическими программами. Сейчас они последовательно придерживаются легальной электоральной практики и отрицают революцию как способ завоевания власти. Программные установки «новых» социалистов включают в себя политический либерализм, многоукладную экономику, социальное государство, равенство. Правда, при этом речь идет о равенстве косвенном, достигаемом в результате реализации разнообразных социальных программ. В настоящее время партии и движения подобного толка входят в состав Социалистического Интернационала, образованного в 1951 году (Heywood 2003).

С уверенностью можно говорить о том, что в своем первоначальном виде социалистическое учение сохранилось только в странах «третьего мира», где оно поддерживается хронической отсталостью и бедностью населения. Причем здесь популярны наиболее примитивные формы социализма — например, маоизм, — сложившиеся в результате адаптации этой идеологии к крестьянской и мелкобуржуазной среде. Как это ни парадоксально, но наблюдаемый в государствах мировой периферии генезис *социалистических* идей и настроений представляет собой естественную реакцию *консервативного*, по сути, сознания на разрушение традиционных ценностей, которое стимулируется глобализацией. Примерно таким же образом столетие назад модернизация «заразила» социализмом российское крестьянство. [См. статьи *Глобализация и Модернизация.*] Другим продуктом эрозии социалистической идеологии стало ее обогащение либеральными сюжетами и мотивами, в минувшем столетии распространенное в ведущих странах Запада. Эта разновидность социализма ныне приобрела бесспорную респектабельность, сделавшись, как говорилось выше, одним из ответвлений либеральной мысли.

Согласно мнению, разделяемому многочисленными мыслителями левого и леволиберального толка, «провал советского эксперимента не означает невозможность других видов **223**

социализма» (Хобсбаум 2004: 525–526). Один из ключевых элементов социалистического дискурса — замена стихийного и бесконтрольного развития общества развитием, которое направляется и планируется, — все шире используется в самых разных общественно-политических контекстах, причем в условиях глобального мира этот процесс становится еще более интенсивным. «Возможно, именно социализм станет одним из полюсов общества, преобладающего в истории XXI века» (Шубин 2007: 721). Либеральная идеология, в XX столетии взявшая на вооружение некоторые важнейшие постулаты социалистического и даже марксистского наследия, обеспечила социализму не только концептуальное бессмертие, но и весьма благоприятную политическую перспективу.

Литература

- Бердяев Н.А. 1990а. Истоки и смысл русского коммунизма. М.: Наука.
- Бердяев Н.А. 1990б. Смысл истории. М.: Мысль.
- Валлерстайн И. 2003. После либерализма. М.: УРСС.
- Грамши А. 1991. Тюремные тетради. М.: Политиздат.
- Мельвиль А.Ю. (ред.). 2002. Категории политической науки. М.: РОССПЭН.
- Ленин В.И. [1974.] Государство и революция // Ленин В.И. Полн. собр. соч. 5-е изд. Т. 33. С. 1–120.
- Маркс К. [1961.] Критика Готской программы // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 19. С. 9–32.
- Маркс К., Энгельс Ф. [1955.] Манифест Коммунистической партии // Маркс К., Энгельс Ф.. Соч. 2-е изд. Т. 4. С. 419–459.
- Пайпс Р. 2002. Коммунизм. М.: Московская школа политических исследований.
- Сталин И.В. 1947. Вопросы ленинизма. М.: ОГИЗ.
- Хобсбаум Э. 2004. Эпоха крайностей: короткий двадцатый век (1914–1991). М.: Независимая газета.
- Шубин А.В. 2007. Социализм. «Золотой век» теории. М.: Новое литературное обозрение.
- Шафаревич И. 1977. Социализм как явление мировой истории. Paris: YMCA–PRESS.

- *Heywood A.* 2003. *Political Ideologies: An Introduction*. 3rd ed. New York: Palgrave Macmillan.
- Modern Socio-Economic Doctrines and Reform Movements // *The New Encyclopedia Britannica*. 2005. London. 15th ed. Vol. 27. P. 393—435.

Суверенитет

I. Происхождение концепции

В настоящее время в политической науке отмечается значительный рост интереса к понятию «суверенитет». При этом особое внимание исследователей привлекают такие проблемы, как место сосредоточения и носители суверенитета, критерии суверенного государства, а также современные вызовы традиционной идее суверенитета, которые, возможно, скоро потребуют - или уже требуют - серьезного пересмотра привычных подходов к этому понятию (Hague, Hagor 2001: 6-9). В связи с состоявшимся в последние годы закреплением доктрины «суверенной демократии» на официальном уровне теоретическое изучение различных аспектов суверенитета получило дополнительный импульс и в современной России (Кокошин 2006).

Родоначальником концепции суверенитета считается французский политический философ и теоретик права XVI века Жан Боден (1530–1596). Его идеи оказали исключительное влияние на европейскую политическую теорию и практику. Разработка им концепции суверенитета была вызвана актуальными потребностями того времени: бесконечные религиозные войны поставили Францию на грань полного хаоса, что вынудило Бодена приступить к поиску источника общественного порядка и устойчивости политического режима. Такой источник он нашел в *суверенитете*, а предложенная им трактовка последнего выступила ориентиром политической трансформации Европы Нового времени. Именно на основе выдвинутой Боденом теории на континенте начала оформляться система суверенных государств-наций, получившая окончательное закрепление после заключения Вестфальского мирного договора 1648 года, завершившего кровопролитную Тридцатилетнюю войну (Агабеков 1990).

В классической работе *«Шесть книг о государстве»* (1572) Боден определяет суверенитет как абсолютную и постоянную власть государства над своими гражданами и подданными. Суверенитет, согласно воззрениям этого мыслителя, *постоянен, един, неделим, абсолютен и самодостаточен*. Он не требует согласия тех, над кем осуществляется, так что граждане

или подданные в равной мере должны подчиняться любому правителю-суверену, даже если таковой является деспотом или тираном. Первоисточником суверенитета выступает божественное Провидение, а в практическом плане он предполагает независимость государства от внешних авторитетов (например, от Папы Римского или императора Священной Римской империи) и набор функций, обеспечивающих эту независимость: исключительное право издавать законы, решать вопросы войны и мира, творить суд, наказывать и миловать, собирать налоги и так далее. По мысли Бодена, носитель суверенитета *не связан* законами, которые он сам создает (Киселева, Нестеренко 2002: 82–105).

В рассматриваемой теории суверенитет являлся сущностным признаком государства, которое Боден определял как правовое управление многими семьями, ибо семья, по его мнению, и есть основание государства. В зависимости от того, где сосредоточивался суверенитет, Боден различал такие формы государственного устройства, как монархия («власть одного»), аристократия («власть меньшинства») и демократия («власть большинства»). Вполне в духе своего времени наилучшей формой устройства французский мыслитель считал монархию. [См. статью *Демократия*.] Позже, кстати, возникли концепции, пытавшиеся обособить друг от друга государственность и суверенитет. Так, автор одной из них, немецкий правовед Георг Еллинек (1851–1911), отстаивал понятие «несуверенного государства», в его эпоху подвергавшееся резкой критике, но в последние десятилетия реанимируемое благодаря феномену так называемых «несостоявшихся» государств. В концептуальную структуру, в которой традиционно происходит осмысление суверенитета, оно, разумеется, не укладывается.

Отметим, что наряду с представлением о централизованном и статичном государстве, отстаиваемом Боденом, в Европе XVI столетия существовала и альтернативная концепция, которую выдвинул немецкий политический мыслитель Иоганн Алтузий (1557–1638). В данном случае государство представлялось выстроенным «снизу», а не «сверху», как у Бодена, — в виде амальгамы основанных на согласии политических ассоциаций, такой политической системы, где дисперсия власти происходит как функционально, так и территориально. Однако эта теория имела в описываемую эпоху весьма ограниченное распространение. Лишь позже идея делимости суверенитета получила

теоретическое обоснование и политическое оформление в федеративной модели Соединенных Штатов Америки. [См. статью *Федерализм*.]

II. Суверенное государство как политико-территориальный идеал

Подъем и расцвет системы суверенных государств-наций в Западной Европе обычно объясняется важнейшими экономическими и социальными изменениями, которые стали решающими и для организации политической жизни (James 1986). Эта система начала оформляться в период, когда правители приобретали все большую способность контролировать свои территории. С развитием новой конфигурации конкретизировались и организующие ее принципы, причем один из важнейших заключался в том, что главенствующая роль в решении социальных, экономических и политических вопросов принадлежит тому, кто *контролирует территориальные единицы*, составляющие систему (ван Кревельд 2006: 81–157). Понятие суверенитета стало ключевым для выражения этой идеи. Именно оно оформляло становление отдельных, независимых друг от друга территориальных единиц, которые выступили основными строительными блоками социальной и политической жизни.

Реализация выдвинутой Боденом концепции суверенитета происходила постепенно. Лишь после подписания Вестфальского мира в Европе утвердился такой политико-территориальный порядок, базовыми структурами которого стали оформляющиеся абсолютистские государства, а также принцип «чья страна, того и вера». Что касается периода, предшествовавшего Вестфальскому миру, то он характеризовался глубокими трансформациями территориальных структур в Западной Европе. Благодаря трудам Бодена во второй половине XVI века определился новый подход к территории как политической категории — идея о том, что правитель государства обладает *абсолютной властью* над своим доменом. Именно этим наследием стоит объяснять тот факт, что до сих пор «под субъектом, обладающим суверенитетом, ... понимается, прежде всего, высшая власть, стоящая на вершине властной иерархии» (Кокосин 2006: 48). Работы Бодена вдохновили других исследователей, в частности, голландского юриста и политического

деятеля Гуго Гроция (1583–1645), описавшего и обосновавшего территориальный порядок, в котором государства оказывались свободными от внешнего контроля. Впрочем, обособленное государство не было единственной территориальной моделью Европы XVII столетия; важную роль в данный период продолжала играть Священная Римская империя, в рамках которой сосуществовали конфедерации, герцогства, графства, вольные города. Однако с течением времени именно *независимое территориальное государство* становилось все более важной частью концептуализации Европы. Вестфальский мир оказался первой ступенью оформления системы суверенных государств, поскольку составившие его договоры предусматривали соглашение о признании политической автономии территориальных единиц, входивших в Священную Римскую империю. Именно это обстоятельство позволяет современным исследователям называть данный акт «триумфом идеи государственного суверенитета в области международных отношений» (Кокосин 2006: 53).

Период, наступивший после Вестфальского мира, был отмечен относительной стабильностью; усиливалась интеграция территорий (в частности, через начавшееся создание национальных рынков) и складывались интересы территориальных государств как независимых целостностей. Постепенно суверенно-территориальная модель стала единственно возможной формой организации политической жизни. После завершения Тридцатилетней войны одной из приоритетных задач стало поддержание баланса сил между государствами, причем конкретной манифестацией этого явилась разработка формальных правовых принципов, регулирующих вопросы войны и мира. Таким образом, в Европе начало складываться международное сообщество, и, соответственно, не только *внутреннее*, но и *внешнее* измерение суверенитета (Кокосин 2006; Hinsley 1986). Возрастающая способность правителей контролировать собственные домены стала важнейшим политико-географическим сюжетом XVII – начала XVIII столетий, а крупные вестфальские государства превращались в доминирующие центры силы.

Однако новый порядок стал размываться уже в середине XVIII века. К этому моменту многие мелкие и мельчайшие государства Европы были поглощены своими соседями: их правители не сумели эффективно реализовать принципы

суверенитета. Крупные политии, в свою очередь, создавали мощные армии, разветвленные управленческие машины и хорошо интегрированные национальные рынки, при этом постоянно конкурируя между собой. Таким образом, укреплялось внутреннее измерение территориального суверенитета, в то время как внешнее, основанное на балансе сил, напротив, ослаблялось. В итоге к XIX веку наполеоновская Франция поставила под вопрос саму идею общеевропейской системы суверенных территориальных государств. В стремлении создать новую, небывалую прежде империю Наполеон (1769–1821) подчинил себе существенную часть Европы, однако даже в апогее его господства некоторые ключевые атрибуты суверенитета по-прежнему сохраняли свое значение.

Наполеоновский период оказался относительно кратким отклонением от вестфальских норм, а после поражения Наполеона участники Венского конгресса 1814–1815 годов восстановили на континенте систему юридически суверенных государств. Уважение суверенитета во внутреннем и внешнем его измерении оказалось главным условием сохранения существующего территориального порядка. Действительно, на протяжении нескольких десятилетий решения, принятые в Вене, «замораживали» любые значительные преобразования политической карты Европы. Однако в долгосрочной перспективе им так и не удалось сдержать подъем новых политических и социальных сил, вылившийся в объединительные движения в Германии и Италии, а также — в более отдаленной перспективе — в крах европейских империй.

Важнейшим феноменом XIX столетия явилось становление национализма — доктрины, объединяющей воедино людей и территорию, на которой они проживают. Если до пришествия национализма суверенитет воплощался в *правителе*, контролирующем свою территорию, то теперь его главным воплощением выступала *нация*, а политические территории сделались «отражением» наций. [См. статью *Национализм*.] Вопрос об очертаниях политической карты Европы в очередной раз приобрел ключевое значение с окончанием Первой мировой войны: конструируя после поражения Германии и Австро-Венгрии новый политико-территориальный порядок, державы-победительницы стремились сохранить прежнее отношение к суверенному территориальному идеалу. Альтернативный подход тогда был просто невозможен: единственным

отклонением от принятого ориентира оказалась Лига Наций, просуществовавшая с 1919 по 1946 год, но ее деятельность имела маргинальное значение. Версальская система, закрепившая в 1919 году итоги Первой мировой войны, была выстроена, фактически, на вестфальском фундаменте и базировалась на принципе *национального самоопределения*. Еще одна попытка переписать карту Европы исходя из имперских принципов, предпринятая нацистской Германией в 1939–1945 годах, в ходе Второй мировой войны, оказалась, так же как и наполеоновская, безуспешной, и к середине XX века состоятельность системы суверенных территориальных государств вновь получила подтверждение. Территориальное государство сохранило свою силу, а политическая карта Европы, основу которой оно составило, образовала «несущую конструкцию» современного политического устройства (Бусыгина 2005). Суверенитет сделался практически синонимом территориального государства.

III. Основные концепции суверенитета

Важным вкладом в разработку наследия Бодена стала концепция *правового суверенитета*, в середине XIX столетия выдвинутая английским правоведом Джоном Остином (1790–1859). Он полагал, что все законы являются своего рода «повелениями» суверена, обязательными для исполнения, поскольку в случае их игнорирования суверен имеет право на насилие. При этом никакая внешняя сила не располагает реальными возможностями влиять на суверенную власть: следствием этого положения оказался, в частности, вывод о том, что международные законы невозможны, поскольку отсутствует суверен, который мог бы обеспечить их исполнение. Доктрина правового суверенитета была крайне влиятельной в XIX веке, но со временем ее начали подвергать все более острой критике за отождествление правовых полномочий и политической власти, а также за апологию абсолютизма.

Демократический взгляд на проблему суверенитета проявился в работах английского философа Джона Локка (1632–1704), который утверждал, что источником суверенитета выступает не *государство*, но *народ*. Естественно, «народ» в понимании Локка был довольно узким понятием, ибо к нему причислялись преимущественно землевладельцы, заинтересованные в ограничении абсолютизма. Тем не менее, здесь

уже присутствует демократическое по духу положение о том, что народ обладает властью *по праву*, и именно ему предстоит принимать решения относительно формы этой власти. Таким образом, наряду с концепциями *государственного* и *правового* суверенитета вполне можно говорить о концепции *народного* суверенитета. Наиболее законченное развитие ей придал французский просветитель Жан-Жак Руссо (1712–1778). [См. статьи *Демократия* и *Либерализм*.]

Отметим, что взаимоотношения между различными концепциями суверенитета были – и остаются – довольно сложными (Палиенко 1903). Народный суверенитет, противопоставляя и разделяя народ и государство, не всегда сочетается с суверенитетом государственным. Однако он способен и усиливать государство, если последнее претендует на воплощение воли народа; в данном случае власть государства легитимируется и, соответственно, усиливается аргументами обеих концепций. Подобная комбинация может придать государству новое качество, наделяя его *народным государственным суверенитетом*. В предельном случае речь может идти о *полном единстве народа и государства*, которое не нуждается в специальных институтах народного представительства, то есть о *тоталитарном* политическом режиме.

Положение о том, что *государство представляет нацию*, является определяющим принципом, который организует политическую жизнь в XX и в начале XXI столетия. Поскольку национализм превратился в доминирующий и мобилизующий фактор XIX и XX столетий, становится очевидным, что государства, которые достигли максимальной эффективности в эксплуатации национальных чувств, приобрели дополнительные источники силы, в то время как не освоившие этот навык, напротив, ослабели. Соединение народного государственного суверенитета с идеей нации привело к формулированию концепции *национального суверенитета*. Здесь, однако, возникает вопрос о том, в каких отношениях друг с другом состоят концепции народного и национального суверенитета, и может ли вообще концепция *национального* суверенитета иметь *демократическое* содержание. Отвечая на него, сторонники либеральной идеи заявляют, что это вполне возможно, если политический режим государства отвечает критериям демократии (Киселева, Нестеренко 2002: 82–105).

IV. Суверенитет в федеративных полициях

Вестфальская система суверенных государств являлась, безусловно, доминирующей с точки зрения территориальной организации политической власти. Однако эта система не была универсальной: на ее периферии складывались политические образования другого характера, наиболее известными из которых стали Ганзейский союз, Швейцарская конфедерация, Священная Римская империя, Соединенные Штаты Америки на раннем этапе их истории. С точки зрения неординарного подхода к суверенитету наибольший интерес представляет именно политическая система США в период между окончательным оформлением союза (1781–1789) и Гражданской войной (1861–1865). Она получила название «филадельфийской», а ее институты были задуманы таким образом, чтобы избежать воспроизведения политической среды европейского типа, которая считалась излишне централизованной и крайне коррумпированной. В отличие от европейского, американский политический порядок базировался на изначально центральной роли *суверенитета народа*, а не монархического и абсолютистского государства.

Одним из следствий этого базисного подхода стало оформление динамичного и множественного взгляда на суверенитет. Он провозглашался *делимым*; это означает, что политическая власть может (и в демократической политической системе должна) осуществляться не *единственным*, а *несколькими* различными институтами, каждый из которых относительно автономен. И в теории, и на практике суверенитет может располагаться в различных точках политической системы, и в зависимости от его местоположения образуются различные уровни реализации власти. Для федеративной политики актуальна концепция разделенного суверенитета (*shared sovereignty*), в рамках которой власть территориально распределена между разными уровнями, но при этом между ними существуют явные сферы пересечения. Государство же в целом сохраняет суверенитет по отношению к внешнему миру (Киселева, Нестеренко 2002: 105–126).

В «филадельфийской» системе, таким образом, отсутствовал единый суверен; его функции были разделены между федерацией и штатами, образующими союз. Федеральное

правительство обладало существенными политическими полномочиями во многих функциональных областях, однако не имело «окончательной» власти для того, чтобы отдавать приказы штатам. Суверенитет принадлежал народу и отправлялся по поручению народа государством, однако происходило это не только на федеральном, но и на региональном уровне. Именно на таких основах построена американская модель федерализма, которую называют «дуальной» (или «дуалистической»). Согласно этой модели, оба уровня в федерации — как федеральный, так и региональный — опираются на собственные источники легитимации власти и полномочий, причем каждый властный уровень обладает значительной автономией. Иными словами, в подлинно федеральной системе каждая «властная площадка» располагает суверенитетом в собственной сфере ответственности, поскольку полномочия, которые она осуществляет, не делегировались ей другой «властной площадкой». [См. статью *Федерализм.*]

V. Современные проблемы традиционных концепций суверенитета

Наиболее серьезным вызовом для традиционных трактовок суверенитета являются так называемые глобальные проблемы; их невозможно решить, оставаясь в рамках национального государства и, кроме того, они затрагивают подавляющее большинство стран мира. К глобальным проблемам относятся предотвращение войны и поддержание мира, обеспечение стабильности сырьевых и финансовых рынков, преодоление экологических стрессов, ограничение роста числа беженцев, а также противостояние терроризму. [См. статью *Глобализация.*] Каждая из этих проблем заставляет пересматривать привычное отношение к суверенитету. Взаимодействуя в глобальном мире, государства, причем как большие, так и малые, в той или иной мере отказываются от безусловности собственного суверенитета, *уступая, делегируя, дробя* его (Held, McGrew 2002: 105–190).

Далее, на карте мира множится число стран, которые не в состоянии реализовать собственный суверенитет, то есть обеспечить защиту своих граждан и установить эффективный контроль над собственной территорией. К таковым относятся расположенные в основном в Африке «несостоявшиеся» и «кри-

зисные» государства, в которых фактически нет центральной власти, предельно обострены межэтнические противоречия, отсутствует устойчивый контроль центральных правительств над территорией страны. Как считают многие зарубежные специалисты, суверенитет подобных стран фиктивен, он не поддается реализации и потому не может в полном объеме уважаться другими государствами. Многочисленные примеры международного вмешательства во внутренние дела данных государств говорят о том, что традиционные теории суверенитета в упомянутых случаях просто не работают (Соорег 2003).

Итак, нынешние процессы подталкивают исследователей к пересмотру теоретических воззрений на суверенитет: он больше не рассматривается как нечто тотальное, окончательное, монолитное (Krasner 1995). Суверенитет уже не является абсолютной ценностью, более того, «корзина» суверенитета, наличествующего в государстве, может быть наполненной в разной степени. Сегодня широкое признание получило мнение о том, что если государство не справляется со своими традиционными обязанностями, то оно теряет права суверена внутри собственных границ. Если государство не в состоянии обеспечивать элементарные права граждан, и это приобретает массовый характер, оно утрачивает и внешнее измерение суверенитета, то есть международное признание. В подобных случаях практически неизбежно ограниченное или полномасштабное вмешательство извне, ибо глобальные средства массовой информации сегодня не позволяют правительствам скрывать внутренние проблемы. Таким образом, традиционный суверенитет постепенно теряет свою субстанцию, а дальнейшее ограничение национального суверенитета превращается в устойчивую тенденцию.

Серьезнейший вызов национальному суверенитету представляет собой региональная интеграция, особенно там, где речь идет о действительно глубоких интеграционных процессах — как, например, в Европейском Союзе (ЕС). Разумеется, если понимать под суверенитетом *окончательную* власть над определенной территорией, то совершенно ясно, что такая власть по-прежнему остается в пределах государств-членов (Бусыгина 2005). Ибо поскольку Союз не располагает правом на легитимное насилие, окончательное решение, например, о выходе из состава этого объединения навсегда резервируется за гражданами того или иного демократического государства-члена. (Конечно, другое дело, что до сих пор подобная ситуа-

ция не была реализована, но теоретически она не исключена.) Далее, ЕС не обладает в полной мере ни одним из признаков традиционного суверенитета. Безусловно, определенные области находятся в компетенции Союза как такового, однако в некоторых сферах (например, в общей внешней и оборонной политике) решения по-прежнему принимаются межгосударственным методом, так что решающее слово и здесь остается за государствами-членами. Даже территория — наиболее очевидный признак суверенитета — не является для этого объединения бесспорной. Так, официально в ЕС входят 27 государств, однако территория, охватывающая Экономический и валютный союз — наивысшее достижение европейской интеграции, — географически гораздо меньше. Таким образом, ЕС вынужден отказаться от принципа универсальности: он предусматривает гибкие пересекающиеся территориальные объединения, причем эта особенность — «изменяющаяся геометрия» — станет, по-видимому, еще более заметна в будущем. [См. статью *Интеграция*.]

Традиционная европейская концепция суверенитета в основе своей унитарна, то есть суверенитет, согласно ей, категорически неделим, и поэтому она неприменима к союзу как многоуровневой системе. Но современным европейским реалиям ближе концепция *плюралистического* суверенитета, которую в XX столетии разрабатывали политологи Гуго Пройс (1860—1925) и Гарольд Ласки (1893—1950) и согласно которой суверенитет в каждом обществе принадлежит различным политическим, экономическим, социальным и конфессиональным группам, не располагаясь постоянно в одном месте, но перемещаясь от одной группы к другой. Наиболее радикальные сторонники плюралистического подхода к суверенитету идут еще дальше, утверждая, что государство — лишь один из примеров социальной солидарности, и оно не располагает никакой особой властью по сравнению с другими структурами общества.

Вместе с тем не следует думать, что понятие «суверенитет» ныне полностью исключено из европейского интеграционного дискурса. Размышления о применимости (или неприменимости) концепции суверенитета к крайне сложному, уникальному случаю Европейского Союза могут оказаться продуктивными, если говорить о «передаче» или «уступке» части суверенитета национального государства в пользу наднациональной системы (Бусыгина 2005). Фактически, мы

имеем дело с делимостью суверенитета между национальным и наднациональным уровнями. Передавая политическую власть в определенных областях, европейские государства тем самым отказываются от части своего суверенитета. Благодаря этому обстоятельству ЕС представляет собой новую фазу эволюции политико-территориальной структуры современных обществ, в отношении которой концепты прежних этапов, к каковым относится, в частности, и суверенитет территориального государства, должны использоваться с крайне серьезными оговорками (Бусыгина 2005; Newman 1997).

Литература

- Агабеков Г.Б.(сост.). 1990. Жан Боден – основоположник государственного суверенитета. М.: ИНИОН.
- Бусыгина И.М. 2005. Европейский Союз: новые измерения концепции суверенитета // Политическая наука. Сборник научных трудов. М.: ИНИОН. С. 47–69.
- Киселева А.В., Нестеренко А.В. 2002. Теория федерализма. М.: МГУ.
- Кокошин А.А. 2006. Реальный суверенитет в современной мирополитической системе. М.: Европа.
- Кревельд М. ван. 2006. Расцвет и упадок государства. М.: ИРИСЭН.
- Палиенко Н.И. 1903. Суверенитет: историческое развитие идеи суверенитета и ее правовое значение. Ярославль: Типография губернского правления.
- Cooper R. 2003. The Breaking of Nations: Order and Chaos in the Twenty-first Century. London: Atlantic Books.
- Hague R., Harrop M. 2001. Comparative Government and Politics: an Introduction. 5th ed. Basingstoke: Palgrave.
- Held D., McGrew A. (eds.). 2002. The Global Transformations Reader: An Introduction to the Globalization Debate. Oxford: Polity Press.
- Hinsley F.H. 1986. Sovereignty. Cambridge: Cambridge University Press.
- James A. 1986. Sovereign Statehood: The Basis of International Society. London: Allen and Unwin.
- Krasner S.D. 1995. Compromising Westphalia // *International Security*. Vol. 20. No. 3. P. 115–151.
- Newman M. 1997. Democracy, Sovereignty and the European Union. London: Hurst.

Терроризм

I. Возникновение и эволюция терроризма

Британская энциклопедия определяет терроризм как «систематическое применение насилия с целью запугивания населения и достижения посредством этого определенных политических целей» (Britannica: 650). Физическое и психическое устрашение в качестве метода политической борьбы применялось с тех пор, как возникла политика. К терроризму обращались в разные исторические эпохи, начиная с античности; это происходило в различных регионах мира и под самыми разнообразными лозунгами. Само слово «*террор*» (от латинского *terror* – страх, ужас) вошло в политическую лексику в XIV столетии, после перевода с латыни сочинений Тита Ливия (59 до н.э. – 17 н.э.), хотя его окончательное закрепление состоялось лишь в ходе Великой французской революции 1789–1794 годов. [См. статью *Революция*.] В эпоху модерна терроризм получил всеобщее признание среди революционеров Западной Европы, России и США, теснейшим образом ассоциируясь с социалистическим движением и анархистским отрицанием государства. [См. статью *Социализм*.] Практикующие его радикалы полагали, что наилучшим способом ускорить социальные реформы является физическое уничтожение персон, облеченных властью.

Именно в XIX веке терроризм стал *постоянным* фактором общественной жизни цивилизованных стран. Список убийств и покушений на убийство, осуществленных социалистами и анархистами в период с 1860-х годов до 1917 года, выглядит весьма внушительно. Среди их жертв оказались русский царь Александр II (1881), американские президенты Джеймс Гарфилд (1881) и Уильям Маккинли (1901), французский президент Мари Франсуа Сади Карно (1894), австрийская императрица Елизавета (1898), итальянский король Умберто I (1900). В одном только 1892 году динамитчики и бомбисты организовали почти тысячу покушений в Европе и более пятисот – в Америке. В России с 1901 по 1911 год от рук террористов пострадали

около 17 тысяч человек, из них примерно половину составляли государственные служащие (Geifman 1997: 21).

Одной из закономерностей развития терроризма в первой половине прошлого века можно считать то, что приоритетной зоной его распространения стали наиболее отсталые европейские государства — прежде всего, Россия, Италия и Испания. Другая принципиальная особенность террора того времени состояла в его *«точечном», селективном характере*; в результате террористических операций гибли, прежде всего, те лица, против которых эти акты направлялись, а жертвы среди мирного населения оказывались, по большей части, непреднамеренными. Кроме того, традиционные организации террористов на протяжении всего XX века оставались *весьма малочисленными*: например, по данным министерства обороны США, в период своего расцвета японская «Красная армия» насчитывала не более 20–30, итальянские «Красные бригады» — от 50 до 75, а ирландская «Республиканская армия» — от 200 до 400 активных бойцов. Наконец, «классический» терроризм всегда имел четко выраженную *программную специфику*, а его последователи постоянно были готовы брать на себя ответственность за совершение тех или иных актов (Lesser et al. 1999: 10).

В минувшем столетии в развитии террористической деятельности обозначились новые тенденции (Гатри 2005). Во-первых, терроризм активно начали практиковать не только левые, но и правые политические силы. Во-вторых, с возникновением тоталитарных режимов терроризм сделался одним из направлений официальной политики ряда государств; в связи с этим возникло понятие «государственный террор». В-третьих, технологические достижения, в особенности применение автоматического оружия и принципиально новых взрывчатых веществ, повсеместно оживили деятельность террористических групп, придав им большую мобильность и неуязвимость. Впрочем, несмотря на все сказанное, к концу второго тысячелетия терроризм по-прежнему идентифицировался «с насилием, нацеленным, прямо или косвенно, на структуры государственной власти для того, чтобы повлиять на политику существующего режима или вообще ниспровергнуть его» (Britannica: 650). Во второй половине XX века к нему широко обращались в ходе антиколониальной борьбы (Алжир и Вьетнам), в межнациональных и территориальных конфликтах (Израиль и Палестинская автономия), в религиозных спорах

(Шри-Ланка), в политической борьбе революционеров с правительствами своих стран («Сияющий путь» в Перу и «Красные бригады» в Италии).

Подъему террористической активности способствовало провозглашение после Первой мировой войны права наций на самоопределение. В XX веке именно этнические и националистические движения стали главными проводниками идеологии террора по всему миру. Оправдание террористической деятельности ссылками на национальное угнетение по сей день остается широко распространенным явлением. [См. статью *Национализм*.] В то время как партизанская война выступает «оружием слабых», терроризм оказывается «оружием слабейших» (Britannica: 650). По этой причине к концу минувшего века террористические акты прочно закрепились в арсенале сепаратистов, воюющих с центральной властью по всему миру, начиная от баскских экстремистов и кончая чеченскими боевиками.

II. Причины терроризма

Как в России, так и за рубежом довольно популярно мнение, согласно которому основные причины терроризма следует искать, прежде всего, в экономических факторах и, как следствие, в социальном, национальном, межгосударственном неравенстве и угнетении. Согласно этой логике, объяснение террористической практики ссылками на культурные переменные бессмысленно, из-за чего недопустимо, в частности, употреблять словосочетание «исламский терроризм». Террористическая деятельность, считают приверженцы подобных взглядов, не имеет национального или религиозного лица; терроризм – это проблема экономическая и, следовательно, лишенная культурного измерения.

Данная позиция, однако, едва ли является безупречной, причем под сомнение ее ставят сразу несколько аргументов. Во-первых, несмотря на широкое распространение нищеты и неравенства в странах «третьего мира», далеко *не все из них* знакомы с таким социальным феноменом, как терроризм. В некоторых отсталых регионах терроризм воспроизводится систематически, из десятилетия в десятилетие, в то время как в других о нем ничего не знают. Кроме того, во второй половине XX века террористические группы действовали и в благополуч-

ных в экономическом отношении государствах, среди которых были, например, Германия и Япония. Во-вторых, рассмотрение терроризма в конфессиональной плоскости свидетельствует о том, что есть такие религиозные системы, идейный арсенал которых *более часто, в сравнении со всеми остальными, используется для призывов к террору*. Так, невозможно представить террористические движения, вдохновляемые конфуцианскими лозунгами. Наконец, в-третьих, введение террористической проблематики в жесткое экономическое русло полностью лишает проблему терроризма ее *этической составляющей*, поскольку с голодным, как известно, не всегда можно говорить о морали. В итоге терроризм предстает не в виде выбора между добром и злом, но как сугубо физическая реакция на жизненное неустройство, а вопрос о том, почему одни люди допускают собственное вовлечение в террористическую деятельность, а другие нет, вовсе не получает ответа.

По-видимому, объективная трактовка причин, обуславливающих терроризм, должна *в равной степени* опираться на экономические и культурные факторы. Действительно, террор в отношении государства и его представителей является ответом слабого на ущемление со стороны более сильного. В этом смысле, безусловно, экономическая *нищета стимулирует терроризм*. Но не меньшую роль в его возникновении играют и *духовные конфликты*. С одной стороны, глобализация, которая означает нивелировку культур, внедрение по всей планете единых политических, экономических, социальных стандартов, сложившихся в русле иудео-христианской традиции, не может не вызывать сопротивление со стороны носителей иных мировоззрений. В этом смысле исламский терроризм, в частности, оказывается выражением не столько материального, сколько культурного протеста. Неслучайно популярное сегодня на Западе изучение личностных характеристик исполнителей наиболее громких террористических актов последнего времени обнаруживает, что самыми активными и фанатичными бойцами «Аль-Каиды», к примеру, были довольно образованные и весьма благополучные представители среднего класса, а не полуграмотные люмпены, как можно было бы ожидать.

С другой стороны, *индивидуальная склонность к совершению актов террора также не может объясняться только лишь экономическими причинами*; террорист всегда совершает личный выбор, и, следовательно, мотивы его поступков целесообраз-

но искать в сфере этики, предопределяемой взрастившей его культурой. Именно культура помогает ответить на вопрос о том, почему насилие, которое порой провозглашается *средством* для достижения благородного идеала, в определенный момент истории какого-то конкретного общества вдруг оказывается *самоцелью*. Но в том случае, если культурные переменные действительно имеют значение, гипотезы о религиозной или этнической подоплеке террора обретают право на существование. Более того, они выглядят эвристически значимыми, ибо способствуют более глубокому анализу современного терроризма, нежели его упрощенно экономические трактовки (Phares 2007).

III. Психология терроризма

Оригинальный способ преодоления описанной выше дилеммы «экономики» и «культуры», подчас дезориентирующей исследователей, предлагал американский философ Абрахам Каплан (1918–1993). По его мнению, следует различать *основания* и *причины* терроризма. Если к первым относятся социальные условия, побуждающие индивида к «рационализации террористических замыслов», то в ряду вторых пребывают «глубинные структуры личности террориста» (Kaplan 1981). Личность террориста оказалась в центре внимания психологов и психиатров с XIX века, отмеченного широким внедрением террористических методов в мировую политику. «Можно ли считать террористов психически здоровыми людьми?» — так формулировался главный вопрос.

Ответы, предлагаемые специалистами, довольно разнообразны. Так, большой популярностью среди ученых пользуется мысль о детских травмах как основе терроризма. В рамках этой парадигмы террористами объявляются люди с ущербным, ущемленным эго, не готовые преодолевать жизненные трудности с помощью стандартных социальных кодов и в силу этого систематически обращающиеся к насилию. Соответственно, акты террора совершаются ими скорее для удовлетворения психологических потребностей, нежели из стремления улучшить положение масс. Сказанное означает, что вполне допустимо говорить об *индивидуальной психологической предрасположенности* к терроризму, которую можно выявлять и которой можно противодействовать (Ольшанский 2002).

Данной концепции противостоит альтернативный подход, подразумевающий полную *психическую нормальность* террориста. Его сторонники исходят из того, что науке пока не удалось доказать, что в поведении террористических групп наблюдается большая склонность к психопатологии, чем в иных коллективах. Соответственно, и описать психологический портрет, предположим, террориста-смертника крайне сложно. Но если стереотипного «потенциального террориста» не существует, то психология и психиатрия оказываются бесполезными в деле противодействия террору (Horgan 2005).

Значительный вклад в постижение психологических аспектов террористической деятельности способна внести религиозная психология. Исследование внутреннего мира фанатика, вдохновляемого трансцендентными мотивами, особенно актуально в нынешних условиях, когда между вероучением и терроризмом обнаруживается все больше точек соприкосновения. Религиозный терроризм — далеко не новое явление, но в последние двадцать или двадцать пять лет упомянутый феномен явно обособился от этнических и сепаратистских, а также от идеологических разновидностей терроризма, в тени которых он до недавнего времени пребывал. Согласно данным американского исследовательского центра *RAND Corporation*, из 11 террористических групп, действовавших в 1968 году, ни одну нельзя было классифицировать в качестве *религиозной* организации. К середине 1990-х годов, однако, от трети до четверти всех структур, практикующих методы террора, оправдывали свою деятельность теологическими постулатами. При этом акции, совершаемые религиозно вдохновляемыми террористами, оказывались наиболее жестокими и кровавыми. Так, шиитские экстремистские группы, осуществившие между 1982 и 1989 годами лишь 8 процентов всех террористических актов, несут ответственность за 30 процентов смертей от рук террористов за тот же период (Lesser et al. 1999: 16–17). Данную тенденцию можно объяснить принципиальными особенностями системы ценностей, механизмов легитимации и оправдания поступков, а также представлений о морали, которые присущи религиозно чувствующим и мыслящим экстремистам (Хоффман 2003).

IV. Терроризм и глобализация

До недавнего времени террористическая деятельность в основном ограничивалась рамками национальных государств, поскольку обосновавшиеся в различных районах мира группы террористов не имели ни общей идеологии, ни единых организационных принципов. Становление международного терроризма началось в 1960-е – 1980-е годы; в тот период оно происходило, главным образом, благодаря активности коммунистических организаций, пытавшихся революционным путем захватить власть в целом ряде стран «третьего мира», и леворадикальных молодежных групп развитых европейских стран, выступавших против «бездушного» капиталистического государства (например, «Фракции Красной армии» в Германии). Довольно скоро, однако, набирающие темп процессы глобализации и повсеместное утверждение рыночных отношений вытеснили носителей марксистской идеологии на периферию общественной жизни, в результате чего идейные основы терроризма заметно трансформировались. С ослаблением в стремительно унифицирующемся мире прочих факторов личностной идентификации на первый план стали выходить религиозные и этнические узы. [См. статьи *Глобализация* и *Национализм*.] Это не могло не отразиться на природе терроризма; наиболее молодая и динамичная из мировых религий, распространенная в самой консервативной в социальном и политическом смысле части планеты, снабдила современных террористов универсальным инструментарием, который позволяет, перефразируя известную максиму, «думать глобально, а действовать локально». Отождествление власти не только с силой, но и с постоянно демонстрируемым насилием, свойственное значительной части современного арабского мира, служит питательной средой для теории и практики террористической деятельности. В результате этих процессов оформился феномен, называемый «глобальным» (а также «новым») терроризмом (Sageman 2004).

Глобальному терроризму присущи следующие признаки (Lesser et al. 1999). Во-первых, он *не признает государственных границ*. Современные террористические организации представляют собой интернациональные по составу структуры, руководствующиеся одной и той же идеологией, исполь-

организационных принципах независимо от страны пребывания. Соответственно, и задачи, которые решает нынешнее террористическое подполье, также универсальны по своему географическому охвату. Во-вторых, «новый» терроризм опирается на достижения информационной революции, начиная с электронных банковских транзакций и кончая современными методами передачи данных. Парадокс, но террористическая деятельность, нацеленная на консервацию или реставрацию определенного типа социальных отношений, в своих функциональных аспектах является предельно современной. Информационная революция, в свою очередь, выводит на первый план сетевые формы организации, которые получают все более явное преимущество над традиционными, иерархически выстроенными структурами. В-третьих, глобальный терроризм стремится овладеть оружием массового уничтожения, что делает его главным фактором риска в рамках существующего мирового порядка. Иначе говоря, основная опасность для многих стран сегодня исходит не от соседей-соперников, но от небольших групп и организаций, негосударственных по самой своей природе. Данное обстоятельство решительным образом меняет всю конфигурацию мировой политики, ибо стимулирует создание таких межгосударственных объединений и альянсов, которые еще недавно казались невозможными. [См. статью *Глобализация.*]

На структурные аспекты «нового» терроризма стоит обратить особое внимание. *Сетевая организация* — это совокупность «узловых точек», разделяющих один и тот же набор принципов и интересов, но лишенных вертикальных управленческих механизмов. Связи между ее ячейками довольно слабы и эпизодичны, а принятие решений делегировано на уровень низовых структур. В частности, на Ближнем Востоке именно так устроены террористические организации нового поколения, среди которых «Аль-Каида» и «Хамас». Подобные структуры исключительно приспособлены для конспиративной работы и ведения так называемой «сетевой войны» (*netwar*), когда группы террористов мгновенно меняют тактику и дислокацию в зависимости от меняющихся обстоятельств и столь же быстро переходят от легальной работы к нелегальной, координируя свои действия через спутниковую связь, электронную почту и «всемирную паутину». Само их существование ставит под сомнение принципы бюрократической рациональности, лежа-

щие в основе современных представлений о государственном суверенитете (Sageman 2008). Главная проблема заключается здесь в том, что *для победы над сетевыми структурами требуются другие сетевые структуры*, с трудом формируемые государственной иерархией. Именно это, прежде всего, делает нынешних террористов столь неуязвимыми.

V. Терроризм в России

Датой рождения русского терроризма можно считать 13 апреля 1878 года, когда суд присяжных вынес оправдательный приговор Вере Засулич (1849–1919), за два месяца до того предпринявшей неудавшееся покушение на генерал-губернатора Санкт-Петербурга. Тем самым терроризм как способ политической борьбы получил, по сути, общественную легитимацию. С этого времени и вплоть до большевистской революции террор в отношении представителей власти стал неотъемлемым оружием всех революционных партий (Будницкий 1996). «Катехизис революционера», подготовленный в 1869 году Сергеем Нечаевым (1847–1882), обосновывал физическое устранение людей, «внезапная и насильственная смерть которых может навести наибольший страх на правительство и, лишив его умных и энергических деятелей, потрясти его силу» (Рудницкая 1997). Общее число людей, погибших или пострадавших в царской России от рук террористов, не поддается учету; по-видимому, речь должна идти о десятках тысяч.

В дореволюционной отечественной истории специалисты выделяют два «пика» террористической активности: первый приходится на 1878–1882, а второй на 1901–1911 годы. В программе революционной организации «Земля и воля» (1876–1879) террор рассматривался в качестве орудия самозащиты, но его реальное использование никогда не ограничивалось этими рамками. «Народная воля», образованная наиболее радикальной частью народников, провозгласила политическое убийство *главным средством* борьбы с деспотизмом. Власть оказалась не готовой к подобному натиску, о чем свидетельствовало успешно осуществленное народовольцами - после целой серии неудачных покушений - убийство царя Александра II (1818–1881). Деятельность этой организации оказала огромное влияние на противников самодержавия: она убедила революционеров в том, что можно противостоять репрессив-

ному аппарату империи, опираясь на относительно ничтожные силы (Pipes 2003). После краткого периода умиротворения, связанного с контрреформами Александра III (1845–1894), террористическая кампания возобновилась с новой силой. В 1902 году была создана Боевая организация социалистов-революционеров, ставшая преемницей «Народной воли». С 1901 по 1911 ее боевики совершили 263 теракта, жертвами которых стали 2 министра, 33 генерал-губернатора, губернатора и вице-губернатора, 16 градоначальников, полицмейстеров, прокуроров, 7 генералов и адмиралов. Одновременно свои террористические акты проводили эсеры-максималисты, анархисты, большевики.

Проблема терроризма значительно осложняла социальное развитие страны, ибо приверженность оппозиционеров террористическим методам, безусловно, *препятствовала становлению гражданского общества и правового государства*. По замечанию российского историка Бориса Миронова (р. 1942), «сотрудничеству между верховной властью и общественностью мешало нетерпение интеллигенции, в особенности ее радикального крыла, не умевшего и не желавшего ждать, наивно верившего в то, что только самодержавие сдерживало прогресс в России» (Миронов 1999: 258). Именно эти настроения, стимулируемые, в свою очередь, традиционным для нашей страны отстранением общества от реальных рычагов власти, во-первых, рождали сам терроризм, а, во-вторых, поддерживали атмосферу едва ли не всеобщего сочувствия и терпимости к нему (Pipes 2003). Либеральное движение подчас напрямую блокировалось с бомбистами и боевиками, морально защищая их; так, скандальную известность приобрел неоднократный отказ партии конституционных демократов осудить терроризм с трибуны I Государственной Думы.

Силы, захватившие власть в ходе октябрьского переворота 1917 года, сполна усвоили традиции русского терроризма. Большевики разделяли привычное для всех приверженцев террора фундаментальное убеждение в том, что высокая цель оправдывает любые средства. Вслед за французскими революционерами XVIII столетия они использовали террор в качестве метода государственной политики, возродив практику государственного терроризма, на короткий срок внедренную во Франции якобинцами. [См. статью *Революция*.] Причем использование террористических методов самим государ-

ством полностью пресекло использование индивидуального терроризма его противниками: в Советском Союзе, несмотря на усилия официальной пропаганды доказать обратное, политический терроризм был невозможен. Это обстоятельство служит подтверждением более общей закономерности: *проблема терроризма есть проблема демократического социума*, поскольку террористическая активность признается в качестве таковой только там, где господствует уважение к фундаментальным правам и свободам.

Русский терроризм оказал заметное воздействие на дальнейшую эволюцию терроризма. К его опыту постоянно обращались революционеры разных стран и эпох. Так, вопреки распространенному убеждению, *феномен террориста-смертника возник не в лоне ислама, но был рожден русским террористическим подпольем конца XIX — начала XX века*, когда боевики, отчаявшиеся добиться своей цели иными путем, взрывали себя вместе со своими жертвами. Кроме того, в годы «холодной войны» советское государство усиленно работало над распространением террористических методов политической борьбы по всему миру. Сегодня известно, что во многих развивающихся странах партизанские организации марксистского толка содержались на деньги Коммунистической партии Советского Союза. [См. статью *Социализм*.]

Распад советской империи и нерешенность территориальной проблемы в Российской Федерации привели к возникновению и эскалации «вертикальных» этнополитических конфликтов между руководителями ряда республик и Москвой. Наиболее критическая ситуация сложилась на Северном Кавказе. Следствием военного конфликта в Чеченской республике и непродуманной политики федерального центра в этом регионе стали многочисленные террористические акты, причем как в самой Чечне, так и в других точках России. В последние годы отмечается тенденция к «передислокации» терроризма с территории Чечни в другие регионы Северного Кавказа, прежде всего, Дагестан и Ингушетию. Среди иных особенностей постсоветского развития специалисты отмечают активную эксплуатацию факта террористической угрозы в политических проектах, осуществляемых нынешней российской властью. Так, второй президент России неоднократно ссылался на террористическую опасность, обосновывая внутривнутриполитическое

укрепление авторитарных тенденций за счет ограничения демократических прав и свобод.

VI. Терроризм и либеральная демократия

После 11 сентября 2001 года стало очевидно, что становление «нового» терроризма окажет несомненное воздействие на либеральный порядок и либеральные ценности. Внезапно открывшаяся уязвимость наиболее развитых стран мира перед лицом террористической угрозы заставляет их пересматривать установления и принципы, совсем недавно казавшиеся неизменными. *Обмен части гражданских прав и свобод на большую безопасность* сегодня не вызывает почти никакого сопротивления в рядах избирателей государств-членов Организации экономического сотрудничества и развития. Разумеется, там, где демократические традиции имеют прочные корни, свертывание свобод и вольностей идет труднее, чем в молодых демократиях, не имеющих стабильных политических институтов и развитого гражданского общества. Терять то, чего у тебя никогда не было, гораздо проще. В частности, в нашей стране, обратившейся к демократическому образу правления относительно недавно, борьба с террористической опасностью оказалась исключительно действенным аргументом, позволяющим не только постоянно расширять полномочия правоохранительных органов, но и внедрить новый, далеко не бесспорный, порядок управления страной.

Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки уже признали в терроризме «нового врага», выдвинув борьбу с экстремизмом в качестве своей важнейшей задачи. Действительно, с каждой атакой террористов отмирает та или иная часть «открытого» общества. В настоящее время риски терроризма угрожают общественной свободе точно так же, как прежде ей угрожали фашизм и коммунизм. В таком контексте на Западе разворачивается дискуссия о последствиях возможного пересмотра сложных взаимоотношений между свободой и безопасностью, которые выступают своего рода «балансиром» либерального социума. Если достижение свободы – высший приоритет, то безопасность граждан и частной собственности есть необходимое условие обеспечения свободы. Если отсутствует безопасность, то свобода оказывается высоким, но пустым и отвлеченным понятием. Верно, однако, и другое

утверждение: без свободы безопасность теряет всякий смысл. Так что те, кто использует угрозы терроризма для призывов к ограничению свобод под лозунгом большей безопасности, создают в конечном итоге «закрытое» общество.

Не только собственно атаки и катастрофы являются оружием террористов, но и само ожидание трагедий представляет собой мощный фактор давления — страх разъедает свободу. До сих пор ни у одного государства, ни, тем более, у мирового сообщества в целом, нет адекватных ответов на новые вызовы терроризма; тем временем происходит постоянная эрозия прежнего чувства безопасности у граждан, способствующая психологической дестабилизации социума. «Политика страха» придает, в свою очередь, новую энергию террору. В конечном итоге, превращение «открытых» обществ в «закрытые» тоже будет означать победу террористов.

Литература

- Будницкий О.В. 1996. История терроризма в России в документах, биографиях, исследованиях. 2-е изд. Ростов-на-Дону: Феникс.
- Гатри Ч. 2005. Современный терроризм // Общая тетрадь. Вестник Московской школы политических исследований. № 3 (34). С. 43—48.
- Миронов Б.Н. 1999. Социальная история России периода империи (XVIII — начало XX в.). Т. 2. СПб.: Дмитрий Буланин.
- Ольшанский Д.В. 2002. Психология терроризма. СПб.: Питер.
- Рудницкая Е.Л. (ред.). Революционный радикализм в России: век девятнадцатый. М.: Археографический центр, 1997.
- Хоффман Б. 2003. Терроризм — взгляд изнутри. М.: Ульгра. Культура.
- Phares W. 2007. The War of Ideas: Jihadism against Democracy. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Geifman A. 1997. Thou Shalt Kill: Revolutionary Terrorism in Russia: 1894—1917. Princeton: Princeton University Press.
- Horgan J. 2005. The Psychology of Terrorism. London: Frank Cass.

- *Kaplan A.* 1981. The Psychodynamics of Terrorism // *Alexander Y., Gleason J. (eds.). Behavioral and Quantitative Perspectives on Terrorism.* New York: Pergamon. P. 35–50.
- *Lesser I., Hoffman B., Arquilla J. et al.* 1999. Countering the New Terrorism. Santa-Monica, CA: RAND Corporation.
- *Pipes R.* 2003. The Degaev Affair: Terror and Treason in Tsarist Russia. New Haven: Yale University Press.
- *Sageman M.* 2008. Leaderless Jihad: Terror Networks in the Twenty-First Century. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
- *Sageman M.* 2004. Understanding Terror Networks. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
- Terrorism // *The New Encyclopedia Britannica.* London, 2005. 15th ed. Vol. 11. P. 650–651.

Традиция

I. Происхождение термина

Согласно «Словарю русского языка» С.И. Ожегова, традиция есть «то, что перешло от одного поколения к другому, что унаследовано от предшествующих поколений». Фактически, подобное толкование сразу же отсылает к исходному значению слова, указывающему на определенное *материальное* действие по передаче чего-то кому-то: так, римляне применяли его, когда речь шла о необходимости вручить некий неодушевленный или даже одушевленный предмет — например, отдать дочь замуж. Этим и объясняется тот факт, что понятие «традиция» восходит к латинскому глаголу “*tradere*” («передавать»), характеризующему манипуляции с вещами. Подобное понимание продержалось в общественной науке достаточно долго. Еще сто лет назад знаменитый энциклопедический словарь понимал под этим термином «установление фактического господства над вещами со стороны их прежнего владельца в пользу нового, приобретающего их в собственность или владение». При этом добавлялось, что «для установления вещного права необходимы два акта — договор и фактическое установление отношения к вещи, то есть традиция» (Брокгауз, Ефрон 1901: 693).

Постепенно, однако, утвердилась та трактовка традиции, которая предполагает обладающую временной протяженностью передачу не столько *материальных* объектов, сколько *духовных* сущностей. Например, современная энциклопедия определяет культурную традицию как «передающиеся из поколения в поколение элементы социального опыта и культурного наследия («культурный текст») — нормы и образцы поведения, формы социальной организации, идеи, нравы, обычаи, обряды, ритуалы и так далее» (Данилова 2003). Некоторые исследователи, впрочем, настаивают на предельно широком ее понимании: «Традиция включает все, чем обладает общество в данный момент и что уже существовало к тому времени, когда нынешние ее держатели появились на свет. Это все, что не является продуктом чисто физических процессов внешнего мира. ... Традиционность соотносима практически с любым содержательным наполнением» (Shils 1983: 12, 16). При этом материальную и духовную традиции объединяет элемент *за-*

имствования: они не создаются индивидом, но усваиваются им извне. В изначальном его понимании, продержавшемся от античности до средневековья, понятие «традиция» предполагало еще и уважение к тому, что было передано, как к ценности. Соответственно, бережного отношения требовал и сам процесс передачи. Но уже в поздней античности превращение понятия традиции в центральную категорию христианской теологии «привело, с одной стороны, к его нормативному расширению, а с другой – к возникновению концептуальных затруднений», вытекающих из противостояния традиционного и рационального знания (Полонская 2006). В свою очередь, деятельность мыслителей Просвещения утвердила к началу XIX века преобладающе негативное и подозрительное отношение к традиции.

Согласно справедливому наблюдению польского ученого Ежи Шацкого (р. 1929), «взгляд на традицию как на *факт* общественной жизни был тесно связан с тем, каким знаком наделяли традицию как *ценность*» (Шацкий 1990: 233). В теории прогресса, занимавшей основополагающее место в мирозерцании модерна, традиция ассоциировалась с отрицанием нового и противодействием переменам. «Рациональность и научное знание, с одной стороны, и традиционность вкуче с невежеством, с другой стороны, были противопоставлены друг другу как антитезы» (Shils 1983: 5). Подобная интерпретация традиции предполагала вполне определенное понимание *человека и его исторической роли*: человек выступает здесь прирожденным делателем, ориентированным на *изменение и покорение* мира, который постоянно преодолевает себя, расширяя границы собственного бытия. Поместив свободную человеческую индивидуальность в центр мироздания, модерн обесценил традицию во всех ее смыслах: в политическом, культурном, моральном. В итоге, как отмечал Алексей Лосев (1893–1988), начиная с Ренессанса, «люди совершали самые дикие преступления и ни в какой мере в них не каялись, и поступали они так потому, что последним критерием для человеческого поведения считалась тогда сама же изолированно чувствующая себя личность» (Лосев 1982: 136–137). Понятно, что традиция, понимаемая как постоянное воспроизведение одного и того же образца, имеющего высшую природу, в такой системе взглядов не пользовалась уважением. Она не только представляла фактором сугубо негативным, но и виделась обреченной на уничтожение:

«Традиция — это великий тормоз, это *vis inertiae* в истории, но она только пассивна и поэтому неизбежно оказывается сломленной» (Энгельс 1962: 318–319).

Узаконив в социальной рефлексии понятие «политических перемен», Великая французская революция надолго отождествила приверженность традиции с консервативной политической платформой. [См. статью *Консерватизм*.] И наоборот, «изменение (“прогресс” или “развитие”), будь то революционное или постепенное, было воспринято в качестве структурной тенденции современного общества, которой приписывается позитивная ценность» (Eisenstadt 1973: 4). Впрочем, по мере того как мир шел от эпохи модерна к постмодернизму, традиционализм все более освобождался от негативных коннотаций, обретая политическую респектабельность и даже становясь неотъемлемым атрибутом прогрессивно ориентированных движений и направлений. Как справедливо отмечал Карл Мангейм (1893–1947), возникшие в XX веке многочисленные политические движения, отталкиваясь от критического отрицания наличных социальных традиций, одновременно стремились заручиться поддержкой новых, собственных традиций. Так, пристального внимания исследователей удостоилась заметная роль мифологических подтекстов в функционировании тоталитарных идеологий. А новый виток глобализации, разворачивающийся с 1970-х годов, в очередной раз повысил ценность традиционалистского мировосприятия, превратив его в главный оплот многообразия и плюрализма — то есть, как ни парадоксально, тех самых ценностей, которые всегда отстаивались *противниками* консерваторов.

II. Современные трактовки традиции и традиционализм

В понимании сущности традиции выделяют, как правило, две центральные парадигмы. Первым сформировался *натуралистический* (или онтологический) подход, сторонники которого видели в традиции конкретное и неизменное состояние бытия, не сочетающееся ни с каким иным состоянием. Ему было присуще жесткое размежевание традиционалистского коллективизма и рационалистического индивидуализма, а также религиозности и рациональности. В творчестве Макса Вебера (1864–1920), например, ключевой особенностью

традиционного общества, наряду с отрицанием перемен, выступает тотальное подчинение интеллектуальной и социальной инициативы, воплощаемой в отдельной личности, авторитету безличной традиции. Недостаток динамизма, отличавший эту концепцию, способствовал появлению альтернативного, *конструктивистского* взгляда, где под традицией понималась принципиально изменчивая реальность, непрерывно создаваемая элитами ныне живущих поколений и постоянно претерпевающая метаморфозы. Если первое воззрение признавало наличие во всякой традиции неизменного и понятийно формулируемого ядра, то во втором случае такая основа вовсе отсутствует: традиция здесь есть символическое построение, постоянно подвергающееся все новым и новым интерпретациям. Соответственно, в наши дни оба упомянутых подхода признаются ограниченными: один за игнорирование интерпретирующей роли культурного субъекта, другой — за лишение традиции объективного статуса.

Тем не менее, синтетический подход к традиции, который воплощал бы в себе наиболее сильные моменты обеих базовых теорий, так и не был сформирован. В 1960-е годы Эдвард Шилз (1911—1995) отмечал вызывающую беспокойство «особенность почти всей современной социологической литературы — отсутствие в ней анализа природы традиции и ее механизмов» (Шацкий 1990: 207). Максимальное приближение к нему обеспечили, по-видимому, те исследователи, которые были склонны выделять в традиции некое устойчивое и неизменное ядро, а наряду с ним — изменчивую и динамичную периферию. (Так, применительно к научной традиции Имре Лакатос (1922—1974) разграничивал «жесткое ядро» и «защитный пояс» - подход, применимый и к традиции вообще.) Но вариации подобных взглядов, по большому счету, остались маргинальными, ибо в трактовке понятия по-прежнему доминируют крайности. Признание существенных недостатков, с одной стороны, натуралистической теории традиции, а, с другой стороны, ее конструктивистской антитезы, вело не к преодолению их издержек, но, напротив, к попыткам «очистить» каждую из представленных позиций от сторонних наслоений.

Отсутствие в осмыслении традиции консолидирующих ориентиров благоприятствовало живучести особого подхода к этому феномену, реализуемого *традиционализмом*. Данное направление мысли настаивает на *онтологическом* статусе

традиции. Наличие в ней трансцендентного измерения, по мысли его сторонников, делает традицию особой, идеальной реальностью, дозировано транслирующей свое совершенство в далекий от идеала мир земной конкретики, сообщая существованию последнего полноту и смысл. В подобной системе координат «и необработанный продукт природы, и предмет, изготовленный самим человеком, обретают свою *реальность*, свою *подлинность* лишь в той мере, в какой они причастны к трансцендентной реальности» (Элиаде 1987: 33). Соответственно, профанный порядок вещей покоится исключительно на неослабевающей связи с сакральной традицией, перманентно подкрепляемой с помощью специальных процедур - ритуалов. Пренебрежение этими истоками или целенаправленный разрыв с ними, по мысли традиционалистов, влечет за собой неизбежную социальную деградацию.

Принято считать, что традиционализм как особое направление политической и социально-философской мысли возник в первой трети XIX столетия во Франции. Его становление происходило под влиянием Великой французской революции и консервативной реакции на нее, представленной именами Луи де Бональда (1754–1840), Жозефа де Местра (1753–1821), Эдмунда Бёрка (1729–1797). [См. статью *Консерватизм*.] В следующем веке традиционалистские концепции получили дополнительный толчок в связи с торжеством после Второй мировой войны представлений о неизбежности поступательного развития стран, освободившихся от колониальной зависимости. Крах этих надежд и последующий кризис теории модернизации во всех ее разновидностях заметно способствовали популярности таких мыслителей, как Рене Генон (1886–1951), Юлиус Эвола (1898–1974), Мирча Элиаде (1907–1986), а также их последователей.

Сущностным признаком современного традиционализма, как и в прежние века, выступает постулирование *трансцендентного измерения истории*. Если все теории прогресса вписывают социально-философские и политические реалии в посюсторонние рамки, то нынешние приверженцы традиции, наоборот, обуславливают осмысленность наличных человеческих реалий сверхчеловеческой перспективой. По мнению Генона, прогрессисты «низводят традицию до чисто человеческого уровня, тогда как в действительности, наоборот, к традиции имеет отношение только то, что включает в себя элементы

сверхчеловеческого порядка» (Генон 2000: 56–57). Высшая составляющая традиции поднимает ее над обыденным миром «просто человеческого», который благодаря этому обзаводится идеалом для соизмерения и совершенствования. Здесь, естественно, невозможно обойтись без апелляции к религии. По наблюдению Ирины Полонской, исторический процесс, мыслимый как нисхождение от сакрального истока, в контексте традиционализма представляется движением от полноты к оскудению – своеобразным «путем утраты» (Полонская 2006). Различаясь между собой в частных вопросах, традиционалисты едины в критическом отношении к современному обществу, его идеологиям, философии, принципам социальной организации. В концентрированном виде их позицию выразил Элиаде: «Желание восстановить Время Начала – это желание пережить время, когда боги присутствовали на земле, обрести сильный, свежий и чистый мир. Это и есть жажда священного и одновременно ностальгия по истине» (Элиаде 2004: 54).

III. Традиция и ритуал

Ритуал занимает основополагающее место в любой традиции, как религиозной, так и светской. Согласно определению Юрия Левады (1930–2006), всякий ритуал есть «сложная форма символического действия, используемая в культовых системах, а также в различных типах социального поведения как средство закрепления отношения субъекта (или группы) к священным объектам, особо значимым этапам общественной или человеческой жизни, а также статуса и принадлежности к определенной группе» (Левада 2001). Представляя набор символических действий, связывающих индивидуального субъекта с системой социально-ценностных отношений, ритуал поддерживает и постоянно реанимирует традицию. По словам Элиаде, «для традиционного человека имитация архетипической модели есть реактуализация мифического момента, в который впервые был явлен данный архетип, ... все ритуалы имитируют божественный архетип» (Элиаде 1987: 84–85). Иными словами, ритуальные действия означают непрекращающееся возвращение к истокам, заново освежающее рутинные и повседневные практики высшим смыслом. Именно поэтому в ряду ритуалов наиболее значительное место занимают ритуалы перехода (*rites de passage*), утверждающие сакральный характер наиболее

фундаментальных переходов — например, между жизнью и смертью или детством и взрослым состоянием (Нечипуренко 2002; Тэрнер 1983).

Любые ритуалы фиксируются в соответствии с той или иной традицией, а их пересмотр считается оправданным лишь в том случае, если при этом традиция, как предполагается, «очищается», становится более «аутентичной». Так, христианский мистик, в поисках духовного просветления отказывающийся от установленного и поддерживаемого церковью ритуала и вступающий в непосредственный контакт с божеством, разрушает религиозную традицию. Подобное поведение во все времена подвергалось гонениям и преследованиям со стороны институтов, которые брали на себя роль хранителей традиционных устоев. Аналогичная логика нередко проявляется и в деятельности секулярных институтов. Это не удивительно, поскольку, по справедливому наблюдению Шилза, «ни одно поколение, включая даже нынешнее, живущее в эпоху беспрецедентных гонений на традицию, не создает собственные верования, правила поведения, общественные институты» (Shils 1983: 38). Следовательно, невозможно представить себе социум, развивающийся вне рамок традиции и полностью отказавшийся от ритуалов.

Ритуалы являются единственным инструментом передачи традиции в тех общественных системах, которые еще незнакомы с письменностью; с утверждением текстовых методов ее трансляции традиция структурируется, приобретая иные формы, а отношение к ней становится более критическим. Тем не менее, даже утрата традицией сакрального измерения не лишает ритуальное поведение ценности и значимости; светские ритуалы не менее действенны, нежели ритуалы религиозные, выполняя, по сути, аналогичные задачи. «Формировавшиеся в процессе секуляризации публичной и частной жизни светские ритуалы в значительной мере унаследовали внешнюю (в том числе психологическую) структуру соответствующих культовых актов, лишив их сакрального содержания» (Левада 2001). Подобно своим религиозным аналогам, светские ритуалы фиксируют значимость приобщения индивида к социальному целому и его ценностям. Они исключительно важны в процессе реализации традицией ее общественно-политической роли.

IV. Социальная и политическая роль традиции

Апелляции к традиционному укладу жизни, традиционным ценностям, традиционному мировоззрению неизменно нагружены политическим смыслом. Именно они легли в основу идейного свода консервативной мысли. [См. статью *Консерватизм*.] Но, помимо вклада, внесенного в оформление одной из трех классических идеологий, феномен традиции решает и другие социальные задачи. Обобщая ее социальные функции, можно составить довольно обширный перечень (Мельвиль 2002: 492). Во-первых, традиция выступает источником идеальных ресурсов, потребность в которых испытывает любое общество. Иначе говоря, ей присуща мобилизующая сила, а декларируемая приверженность традиционным ценностям может приносить политические выгоды даже в эпоху постмодерна. Во-вторых, наряду с правовыми или религиозными институтами и нормами, традиция обеспечивает легитимность наличного социально-политического порядка. В частности, именно она лежит в основе так называемого «обычного» права, которое наряду с формальным правом санкционирует фундаментальные общественные установления. В-третьих, традиция объединяет социум и поддерживает его коллективную идентичность. Особенно ярко этот момент просматривается в изобретении новых традиций и ритуалов в обществах, восстанавливающих или только что обретших собственную государственность. Как показывает новейшая политическая практика, конструирование общего прошлого выступает ключевым элементом национального самосознания даже в тех случаях, когда с исторической точки зрения его наличие весьма сомнительно. Наконец, в-четвертых, традиция поддерживает устойчивость социума в кризисные периоды. Здесь, правда, раскрывается и ущербность традиции, поскольку зачастую именно она оказывается главным инструментом общественных групп, противящихся назревшей модернизации.

Важно отметить, что привлечение традиционалистского дискурса для решения насущных политических задач почти никак не связано с приписыванием феномену традиции *онтологического* статуса. Иными словами, реализация консервативно-традиционалистской политической программы отнюдь не означает, что ее инициаторы и исполнители раз-

деляют убеждение в *потусторонних истоках* традиции. С этой точки зрения политический традиционализм можно считать одним из инструментов, с помощью которых регламентируется и ограничивается модернизация. Именно по этой причине традиционализм не во всех случаях выступает в облике религиозной доктрины, хотя чаще всего вера в сверхъестественное и убеждение в святости традиции идут рука об руку. Вместе с тем, и это особенно характерно для политики постмодерна, прикладное использование традиции возможно даже в таких политических контекстах, в которых традиционные начала вовсе неразвиты; в подобных случаях призывы к политическому действию подкрепляются ссылками на вымышленную, фиктивную традицию, иногда для этих целей и моделируемую. Целенаправленное конструирование политической традиции можно считать одной из особенностей политического дискурса современности.

Запечатленное в традиции прошлое накладывает свой отпечаток на приобщение конкретного социума к модернизации и последующему переходу к постмодерну. По наблюдению Рональда Инглхарта (р. 1934), «протестантское, православное, исламское или конфуцианское прошлое того или иного общества способствует формированию культурных зон, которые отличаются самобытной системой ценностей и способны противостоять натиску экономического развития» (Инглхарт 2002: 106). В тех обществах, в которых сама жизнь человека и сегодня не является гарантированной, господствуют *ценности выживания* — свод личных установок и ориентиров, из которых, собственно, и исходит современный традиционализм. В их основе лежат поощрение религии и устоявшихся семейных ценностей, предпочтение социального конформизма индивидуальным достижениям, практика уважения к власти и высокий уровень патриотизма. Соответственно, те общества, где проблемы непосредственного выживания уже решены, придерживаются противоположного, секулярного и рационального набора ценностей, которые Инглхарт называет *ценностями самовыражения*. Именно ценностное равновесие, установившееся в конкретном обществе под влиянием его религиозных традиций, предопределяет степень его дальнейшей традиционности.

V. Традиция и Россия

Описывая разницу между традиционным и современным обществом в интерпретации социологической науки модерна, Шмуэль Эйзенштадт (р. 1923) отмечает: «В этой картине традиционные общества изображались как статичные, почти не знающие дифференциации или специализации, опирающиеся на механическое разделение труда, низкий уровень урбанизации и грамотности, аграрную занятость большинства населения. В противовес этому современным обществам приписывалась весьма высокая степень дифференциации, глубокое разделение труда, урбанизация, грамотность и расцвет СМИ, а также неутолимая тяга к прогрессу» (Eisenstadt 1973: 10). Взяв это лаконичное описание за основу, мы вполне можем констатировать, что в России процесс прощания с традиционным обществом, открытый реформами Петра Великого, был окончательно завершен после большевистской революции 1917 года. Исходя из классических критериев, наша страна, безусловно, уже давно не является традиционным обществом. Вместе с тем, в российском социуме традиция по-прежнему остается слишком заметной силой. [См. статью *Модернизация*.]

Обусловлено это, прежде всего, тем, что в плане структуры власти и взаимоотношений между властью и обществом Россия за минувшие сто лет так и не стала вполне современным государством в том смысле, который присущ эпохе модерна. Воспроизводимая из века в век самодержавная матрица, несмотря на весь приличествующий эпохе «республиканский» антураж, обусловила причудливое сочетание в архитектуре отечественной власти традиционных и современных элементов. Если принципиальной особенностью политической системы модерна считать ее способность абсорбировать, вбирать в себя основные проявления социального недовольства, то отечественную политическую систему начала XXI столетия трудно считать полностью модернизированной. Утвержденная Конституцией 1993 года модель «выборного самодержавия» и выстроенная на ее основе так называемая «вертикаль власти», жесткие ограничения любой оппозиционной деятельности, неуклонное сокращение диапазона, в котором применяются выборные практики — все это говорит о том, что модернизация российской политики далеко не завершена. Более того, учитывая внешний контекст, в котором развивается современная **261**

Россия, вопрос о ее завершении можно считать центральным вопросом конкурентоспособности нашей страны в эпоху глобализации.

Особое значение традиции в российской социально-политической практике обусловлено и тем обстоятельством, что природа нынешнего этапа нашей модернизации довольно парадоксальна. С одной стороны, действующие элиты справедливо исходят из того, что для сплочения масс и их мобилизации на ускоренное развитие страны нужна сплачивающая нацию общая идеология. Но, с другой стороны, на роль этой идеологии выдвигается не что иное, как православие — религиозная традиция из разряда тех, которые повсеместно упразднились или вытеснились в ходе успешных модернизаций. Если на Западе модернизация всегда шла параллельно с секуляризацией общественной жизни, то в России задачи всестороннего обновления общества пытаются решать, используя архаичный религиозный инструментарий. Такой курс не только свидетельствует о низком качестве и недальновидности нынешней российской элиты; он еще, и это гораздо более прискорбно, обречен на неминуемое поражение, ибо нельзя шагать из модерна в пост-модерн, черпая вдохновение в социально-политическом опыте Византийской империи.

Литература

- Традиция // Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. [1901]. СПб.: Издательское дело. Т. XXXIII. С. 693-694.
- *Генон Р.* 2000. Очерки о традиции и метафизике. СПб.: Азбука.
- *Данилова О.Н.* 2003. Традиция культурная // Социологическая энциклопедия. Т. 2. М.: Мысль. С. 665.
- *Мельвилль А.Ю.* (ред.). 2002. Категории политической науки. М.: РОССПЭН.
- *Левада Ю.А.* 2001. Ритуал // Новая философская энциклопедия. М.: Мысль. Т. 3. С. 458.
- *Лосев А.Ф.* 1982. Эстетика Возрождения. М.: Мысль.
- *Нечипуренко В.Н.* 2002. Ритуал: опыт социально-философского анализа. Ростов-на-Дону: Издательство Ростовского университета.

- *Полонская И.Н.* 2006. Традиция: от сакральных оснований к современности. Ростов-на-Дону: Издательство Ростовского университета.
- *Тэрнер В.* 1983. Символ и ритуал. М.: Наука.
- *Инглхарт Р.* 2002. Культура и демократия // *Хариссон Л., Хантингтон С. (ред.)*. Культура имеет значение. Каким образом ценности способствуют общественному прогрессу. М.: Московская школа политических исследований. С. 106-128.
- *Шацкий Е.* 1990. Утопия и традиция. М.: Прогресс.
- *Элиаде М.* 2004. Священное и мирское. М.: МГУ.
- *Элиаде М.* 1987. Космос и история. М.: Прогресс.
- *Энгельс Ф.* [1962.] Введение к английскому изданию «Развития социализма от утопии к науке» // *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. 2-е изд. Т. 22. С. 294–320.
- *Eisenstadt S.N.* 1973. Tradition, Change and Modernity. New York: John Wiley & Sons.
- *Shils E.* 1983. Tradition. Chicago: University of Chicago Press.

Федерализм

I. Федерализм как философская идея и политический принцип

Федерализм представляет собой многогранный феномен: это не только эффективный способ управления государством, но и соответствующее политическое поведение участников переговорного процесса, способ разрешения конфликтов, важное измерение культурной жизни общества. Одно из основных преимуществ федеративной государственности состоит в том, что разрешение споров и противоречий между конституционными партнерами здесь происходит в открытой и публичной форме, а не в «тени» бюрократических учреждений. В настоящее время актуальность сравнительных исследований по проблемам федерализма в мире чрезвычайно высока — несмотря на его печальное положение в России, которую британский ученый Камерон Росс заслуженно именует «федерацией без федерализма» (Ross 2002: 7).

Сам термин «федерализм» происходит от латинского *foedus*, что значит соглашение. По мнению Даниэла Элазара (1934—1999), одного из наиболее авторитетных исследователей федералистской проблематики, этот латинский термин близок по смыслу древнееврейскому *brit* — фундаментальному библейскому понятию, означающему договор людей с Богом и, одновременно, между собой, причем все отношения в рамках данных договоров строятся на соблюдении взаимных и добровольных обязательств (Elazar 1987). Политический федерализм вырос из «федеральной теологии», зародившейся в недрах католического социального учения и основывавшейся на *принципе субсидиарности*. Другим источником федералистской доктрины стал европейский протестантизм, перенесенный переселенцами из Европы, прежде всего, пуританами и кальвинистами, на североамериканский континент. Основой их теологических взглядов была идея ненасильственного социального *соглашения*, выступающего центральной предпосылкой устойчивости гражданских свобод и институтов.

Таким образом, с философской точки зрения, выражением 264 **264** нием изначальной сущности федерализма являются *доверие*,

согласие, компромисс. «Суть федерализма следует искать не в определенном наборе институтов, но в институционализации определенного типа отношений, складывающихся между участниками политической жизни» (Elazar 1987: 11–12). В силу этого федерализм может описывать взаимодействия не только между составными частями государства, но и между его гражданами: он непосредственно связан с правами личности, поскольку утверждает, что нет большинства без меньшинства, защищая тем самым права тех, кого меньше. Федерализм представляет собой эффективное средство сохранения небольших сообществ, это одна из ипостасей плюрализма; в данном плане он служит основой подлинно самоуправляющегося социума и альтернативой централизации власти и политической монолитности (Остром 1993). Вышесказанное позволяет рассматривать федерацию в качестве одной из главных разновидностей демократического правления.

Как политический принцип, федерализм фиксирует отношения между центральными и региональными органами власти и управления, построенные на разделении полномочий и наличии права на самоуправление для различных групп и/или территорий в рамках объединенной политической системы. Сущностью федерализма как нормативного принципа является взаимопроникновение *единства* и *децентрализации*; это органичное сочетание *самоуправления* и *разделенного правления* (Watts 1999; Wheare 1947). Федерализм выступает инструментом целенаправленного и последовательного рассредоточения власти, гарантирующего общество от злоупотреблений ею.

Среди специалистов нет единодушия в вопросе о том, как соотносятся друг с другом *федерализм* и *демократия* (Захаров 2008: 45–63). В России связь между этими феноменами нередко ставится под сомнение. При этом предполагается, что федеральное устройство может быть присуще не только демократическим, но и авторитарным государствам, а отличающая федерализм ориентация на защиту меньшинств может ограничивать применимость демократических процедур, ставящих во главу угла мнение большинства. Согласно этой логике, федерализм нарушает основополагающее правило демократии «один человек — один голос»: он отдает предпочтение не людям, а территориям (Gibson 2004: 1–28). С подобными рассуждениями, однако, можно согласиться только в том случае, если под федерализмом понимать исключительно *юридическую*

формулу, позволяющую центральным и региональным элитам бесконфликтно делить власть и собственность. Между тем, в федералистских установлениях не менее важна *культурная, человеческая* составляющая. С этой точки зрения федерализм как политический принцип апеллирует не *к территориальным составляющим* государства, но *к гражданам*, которые их населяют. Федералистская политика — это, прежде всего, определенный тип отношений между людьми, строящийся на уважении не столько групповых, сколько индивидуальных прав и свобод.

При таком взгляде соотнесенность федерализма с демократией предстает бесспорной: федеральное устройство плохо согласуется с авторитарными методами управления. Столь же прочным кажется и обратное соотношение: почти все многонаселенные и обширные демократии (за исключением, вероятно, Франции) в той или иной мере практикуют федералистские подходы, порой даже не являясь федерациями в классическом смысле слова. Здесь характерны примеры Испании и Великобритании, которые в последние годы все чаще рассматриваются в качестве «регионализированных» государств — промежуточной формы, располагающейся между унитаризмом и федерализмом (Swenden 2006).

Иначе говоря, демократия и федерализм повсеместно стимулируют и укрепляют друг друга. «Отнюдь не случаен тот факт, что все демократические государства с населением более ста миллионов человек являются федерациями, а Япония и Индонезия — крупнейшие демократии, не являющиеся федеральными, переживают регионализацию» (Anderson 2008: 13). «Федералистская революция», преобразующая политическую карту мира в последние десятилетия, развивается параллельно с демократизацией, то есть демократия и федерализм символизируют *один и тот же* вектор социальных перемен (Захаров 2003: 21–23). Следовательно, готовность того или иного общества к реализации федеративных рецептов можно считать довольно точным индикатором его демократической зрелости. И наоборот, государства, демократически не состоявшиеся, не в силах реализовать федералистские проекты даже в тех случаях, когда последние сулят им немалые выгоды. [См. статью *Демократия*.]

II. Федерализм и классификация федераций

Понятия «федерализм» и «федерация» не тождественны друг другу. Взаимоотношения между ними необходимо рассматривать, по меньшей мере, в двух плоскостях. С одной стороны, если федерализм одновременно предстает идеологией и нормативным политическим принципом, то федерация — это *дескриптивное*, то есть описательное, понятие. Федерация говорит о наличии реальности, воплощающейся в том или ином институциональном дизайне. Она, таким образом, есть конкретное воплощение федеративного принципа. Несколько иной подход к выявлению характера взаимоотношений федерализма и федерации предлагает упоминавшийся выше американский исследователь Элазар. В его трактовке и федерализм, и федерация представляют собой дескриптивные понятия; основное различие между ними лишь в масштабе. По его мнению, федерализм — родовое понятие, обозначающее *тип* политической организации, в то время как федерация представляет собой основной (т.е. наиболее распространенный) *подвид* федерализма. В качестве иных его подвидов выступают конфедерация, ассоциация, союз, лига, кондоминиум и так далее (Элейзер 1995).

В настоящее время в мире насчитывается около трех десятков федеративных государств. Список включает в себя как крупные (Бразилия, Россия, Канада), так и маленькие (Федеративная Исламская Республика Коморских островов, Объединенные Арабские Эмираты) государства, расположенные во всех частях света. Для того чтобы считаться федерацией, государство должно отвечать ряду *критериев* (Anderson 2008: 3–4). Во-первых, при федеративном устройстве одна и та же территория и проживающие на ней граждане одновременно пребывают под юрисдикцией двух уровней власти. Во-вторых, каждый из этих уровней располагает самостоятельной компетенцией. В-третьих, ни один из упомянутых уровней не имеет права упразднить другой. В-четвертых, на федеральном уровне обеспечивается представительство региональных интересов — обычно оно осуществляется через верхнюю палату парламента. Наконец, в-пятых, требуется наличие посредника в форме суда или референдума, позволяющего разрешать конфликты и споры между властными уровнями. В концентрированном виде

перечисленные признаки зафиксированы в определении, предложенном классиком федералистских исследований Уильямом Райкером (1920-1993). По его мнению, федерации есть государства, имеющие два уровня государственной власти на одной и той же территории и в отношении одного и того же населения, причем каждому уровню власти гарантирована автономия хотя бы в одной сфере деятельности (Riker 1964: 11).

Классифицировать федерации можно по разным основаниям (Киселева, Нестеренко 2002; Чиркин 1997). Исходя из способа их создания, различают *договорные* и *конституционные* федерации. Первые возникают на основе соглашения, заключаемого между самостоятельными государствами, вторые — путем внутрисоюзных преобразований и принятия соответствующей конституции. К договорным федерациям относятся, среди прочих, США, Швейцария, Танзания. Как правило, в договорных федерациях субъекты отличаются более высоким уровнем политической автономии. К группе конституционных федераций следует отнести Германию, Индию, Мексику. При этом различия между двумя группами в значительной мере условны. Так, в Бельгии федерация была окончательно утверждена внесением соответствующей поправки в Конституцию 1993 года, однако такому итогу предшествовали более двух десятилетий напряженных переговоров между основными политическими силами страны, то есть договорные и конституционные инструменты использовались одновременно.

Различают также *симметричные* и *асимметричные* федерации. Симметрия в данном случае означает равноправие составляющих федерацию субъектов; обычно такие федерации возникают на основе союза государств. Асимметрия в федеративных государствах может приобретать различные формы: например, субъекты федерации иногда обладают разным статусом или же наряду с субъектами в федерации присутствуют другие территориальные образования, имеющие иное правовое положение. И симметричная, и асимметричная модели имеют свои недостатки и достоинства. В целом специалисты говорят о том, что симметричная федерация *более стабильна*, поскольку в ней отсутствует борьба за выравнивание статусов субъектов. Однако асимметрия может выступать и адекватным отражением объективно существующих экономических, культурных, этнических различий между субъектами; в подобных случаях

искусственное выравнивание может принести только вред, способствуя территориальному распаду государства.

Наконец, следует выделить федерации, созданные на основе *национально-территориальных* начал, предусматривающих закрепление за этносами конкретных участков территории, и *территориальные* федерации, не предполагающие административного самоопределения этнических групп. Ни один из этих подходов нельзя абсолютизировать, так как каждый может продуктивно использоваться с учетом конкретной ситуации. Конечно, территориальный подход может обернуться излишней централизацией, но, с другой стороны, преувеличенное внимание к этническому фактору и попытки разрешить национальный вопрос с помощью федералистского инструментария способны подорвать единство страны, приводя к чрезмерной политизации этничности. [См. статью *Национализм*.]

Границы, задаваемые всеми перечисленными критериями, не абсолютны, поскольку существуют многочисленные переходные и промежуточные формы, размывающие описанные выше деления.

III. Федерация и конфедерация

В отечественной научной литературе конфедерация традиционно *противопоставлялась* федерации; в этой паре понятий видели что-то вроде антиномии, полагая, что лишь один из двух подходов сочетается с «настоящим федерализмом». Конфедерация считалась неполноценной, неразвитой формой федеративного устройства, чем-то вроде промежуточной отметки на шкале «унитарное государство — федеративное государство». Подобные воззрения вполне соответствовали утверждаемому «вестфальской системой» возвеличиванию национальной государственности. [См. статью *Суверенитет*.]

В действительности же федерация и конфедерация изначально представляли собой две самостоятельные разновидности одного и того же социально-политического феномена. Главной особенностью обеих форм, несмотря на все их различия, остается *сочетание самоуправления с разделенным правлением, исключительной компетенции — с совместной компетенцией*. «В эволюционном смысле взаимосвязь между этими способами организации политики отнюдь не носит линейного характера; развитие может идти как от конфедерации к федерации, так

и в обратном направлении; о “прогрессе”, “регрессе”, “вырождении федерации в конфедерацию” рассуждать просто бессмысленно» (Захаров 2003: 176). Уместно также напомнить, что в эпоху оформления классических федераций федерализм ассоциировался именно с конфедеративным устройством (Федералист 2000). Гегемония нации-государства, под знаком которой прошли XIX и XX столетия, не способствовала популярности конфедерации: на фоне базовой дихотомии «унитаризм — федерализм» конфедеративная идея терялась.

Одна из особенностей глобализации заключается в том, что давление, которому она подвергает федеративные государства, способствует их *превращению в конфедерации*. В первую очередь сказанное верно в отношении федераций, организованных по национально-территориальному принципу. Как правило, ведущим поборником конфедеративных преобразований в пределах устоявшихся федераций выступают национальные меньшинства, компактно проживающие на определенной территории и обладающие - благодаря федеративному устройству страны - зачатками собственной государственности. Сущность решаемых ими задач обусловлена «промежуточным», «переходным» статусом национально-территориальных федераций. Как показывает мировая практика федеративного строительства, в отличие от классических федераций, опирающихся на безусловный приоритет территории над этничностью, государства данного типа изначально тяготеют к одной из двух эволюционных альтернатив — к превращению в конфедерацию или же к преобразованию в такую федерацию, где составные части правовым образом лишены этнической самобытности. Глобализация, в натиске которой малые нации не без оснований видят угрозу собственному выживанию, повышает вероятность первого из этих сценариев. [См. статью *Глобализация*.]

Довольно любопытное сочетание федеративных и конфедеративных начал являет собой Европейский Союз. Вырастающая из этого наднационального объединения единая Европа не может быть унитарной, но должна следовать федералистскому принципу «единства в разнообразии», признавая целостность и автономию своих составных частей — государств-членов и регионов. Базовые принципы федерализма, среди которых обоюдное доверие, взаимное уважение, добровольность принимаемых на себя обязательств, всегда были составляющими

общевропейского дизайна, ибо они чрезвычайно соответствуют сложности европейских сообществ.

Идеи федерализма играли важную роль, начиная с самых первых этапов европейского объединения, — с выдвинутого в 1949 году проекта французского политика Мишеля Дебре (1912–1996) и Ассамблеи *ad hoc*, созванной в 1953 году. Однако в то время размах объединительного проекта оказался чрезмерным, и интеграция пошла по пути поэтапных объединительных процессов в различных секторах европейской жизни. Окончательный поворот к «еврофедерализму» состоялся только в 1980-е годы и был связан с именем председателя Европейской комиссии Жака Делора (р. 1925), убежденного федералиста. В конце XX века Единый европейский акт (1986), Маастрихтский (1992) и Амстердамский (1997) договоры стали основополагающими документами европейского строительства, что свидетельствует о развитии федералистской концепции интеграции. С началом нынешнего столетия единая Европа постепенно превращается в гибридную систему, сочетающую конфедеративные и федеративные начала (Filiprov etc. 2004: 315-331). Ее дальнейшее развитие естественным образом предполагает переход от практики подписания межправительственных договоров к принятию единой общевропейской конституции или какого-то аналога подобного документа. [См. статью *Интеграция*.]

Современный Европейский Союз, безусловно, далек от классических образцов конфедерации или федерации. Тем не менее, упомянутые договоры обозначили беспорный сдвиг от экономической по преимуществу конфедерации к более полному федеральному союзу, который не является статичным, но находится в постоянном развитии. По-видимому, эволюция ЕС и дальше будет проходить в границах так называемого конфедеративно-федеративного континуума. Наличие в Европе богатой федералистской традиции позволяет предположить, что ЕС станет конституционным союзом государств и граждан, в рамках которого полномочия, в соответствии с принципом субсидиарности, будут разграничиваться между наднациональными институтами, государствами-членами и составляющими их регионами (Swenden 2006).

IV. Федерализм в России

В самом начале 1990-х годов лозунг федерализма в России служил, по большей части, прикрытием и оправданием стихийной децентрализации, то есть масштабного присвоения регионами функций и полномочий федерального центра, а также повышения ими собственного статуса, производимого в одностороннем порядке («парад суверенитетов»). В целом же выбор федеративной формы государственного устройства в посткоммунистической России был обусловлен тремя основными причинами: а) необходимостью предотвратить территориальную дезинтеграцию страны по образцу Союза ССР; б) необходимостью реформировать национальные отношения; в) необходимостью взять под контроль расширяющийся процесс стихийной экономической децентрализации. Поскольку такой выбор диктовался комбинацией неблагоприятных обстоятельств, его следует считать *вынужденным*.

Конституция Российской Федерации, принятая в 1993 году, заложила основы федеративного порядка в стране, но при этом не решила целый ряд принципиальных вопросов. Наиболее существенный из них касался равенства субъектов федерации. Основной закон в различных своих статьях одновременно постулирует *и равенство, и неравенство* правового положения субъектов федерации. Подобная невнятность провоцировала многочисленные сложности как в отношениях регионов с федеральным центром, так и в их взаимоотношениях между собой. Новая конституция вновь подтвердила ставшую привычной для российских федеративных отношений практику предоставления республикам существенных привилегий по сравнению с краями и областями, основанную на особых правах так называемых титульных наций в регионах их компактного проживания. Это делалось несмотря на то, что со времен Сталина, в национальной политике которого выделение подобных территорий выступало ключевым элементом, карта расселения россиян коренным образом изменилась. Сегодня большинство жителей национальных образований составляют, как правило, не представители «титульных» наций, но русские, а сами «титульные» этносы примерно на 40 процентов своей численности проживают вне своих регионов.

Среди главных характеристик «ельцинского» — переходного — 272 го — федерализма можно выделить нижеследующие.

Во-первых, вопреки внешней институциональной и правовой упорядоченности, федеративные отношения в рассматриваемый период оставались *незрелыми и нестабильными*. Их неустойчивость была обусловлена несколькими факторами: большим числом субъектов федерации, а также ее сложной внутренней структурой; наличием сложносоставных субъектов, на территории которых располагаются богатые запасы минерально-топливных ресурсов; наконец, слабостью федерального центра, который к окончанию президентства Бориса Ельцина (1931-2007) практически полностью исчерпал возможности влияния на ситуацию в регионах. Так, в России 1990-х годов отсутствовали механизмы федерального вмешательства, что являлось безусловной уступкой ослабленной и разобщенной федеральной власти окрепшим региональным элитам. В целом федерация «эпохи Ельцина» была неустойчивой до такой степени, что ее трансформация в высокоцентрализованный союз или, напротив, в рыхлую конфедерацию представлялась лишь вопросом времени.

Во-вторых, развивая федеративные отношения, первый президент России предпочитал опираться на систему *политического фаворитизма и эксклюзивных отношений* с регионами, в рамках которой неформальные институты и правила либо замещали собой недавно созданные формальные институты, либо заполняли имеющийся институциональный вакуум. Доминирование неформальных институтов стало главной структурной характеристикой российского федерализма того времени.

В-третьих, основы федеративного здания подрывались многочисленными *правовыми противоречиями*: в 1990-е годы расхождения между федеральным законодательством и законодательными актами субъектов федерации дошли до крайней степени. Занимаясь нормотворчеством в отсутствие минимального внимания и интереса к данному процессу со стороны федеральных властей, регионы формировали свод законодательства, несущий в себе значительный конфликтный потенциал.

В-четвертых, и это, вероятно, самое главное, российский федерализм при Ельцине так и *не стал общественным проектом*, оставаясь предметом верхушечного дизайна, элементы которого выстраивались в зависимости от политической конъюнктуры. Население не воспринимало — и до сих пор не воспринимает

— федерализм как общественное благо. Федеративное устройство политики может выступать в качестве ценности, а может оставаться всего лишь средством. В российском исполнении оно так и не смогло преодолеть инструментальные рамки.

Вместе с тем, в хаотическом становлении российского федерализма в 1990-е годы были и *положительные* стороны. В частности, благодаря новым для нас условиям самостоятельности региональные элиты приобрели колоссальный политический и экономический опыт: в стране появилась региональная политическая сцена — центральная площадка «федеративного торга», со временем приобретающая все большее значение. В тот же период началось складывание договорных отношений, принципиально новой для России и ключевой для федерализма практики, а также оттачивались инструменты согласования интересов центра и регионов. Несмотря на полное забвение всех этих навыков в последние годы, они, вне всякого сомнения, еще будут востребованы в ходе неизбежного критического переосмысления и переустройства обширного рецидива унитаризма, переживаемого нами сегодня.

Упомянутый рецидив, однако, был отнюдь не случайным. К концу XX века необходимость реформы федеративных отношений становилась все более очевидной; главный вопрос заключался в том, какими задачами будет вдохновляться эта реконструкция. Академические дискуссии второй половины 1990-х годов были переведены в практическую плоскость с приходом к власти Владимира Путина (р. 1952). При этом новый глава государства реализовал свою программу в кратчайшие сроки, провозгласив своей основной целью стремление усилить государство после его ослабления в предшествующий период. Путинская федеративная реформа носит комплексный характер. Ее основными элементами выступили:

- учреждение федеральных округов и введение поста полномочного представителя президента в каждом из семи таких образований;
- внедрение института федерального вмешательства в регионах;
- изменение правил комплектования Совета Федерации и Государственной думы;
- приведение законодательной базы субъектов в соответствии с федеральным законодательством;

- реорганизация структур государственной власти на региональном уровне.

Взятая в целом, реформа была направлена на максимальное ослабление региональных элит и концентрацию административных и финансовых ресурсов в руках федеральной бюрократии. При этом ее инициаторы исходили из того, что в результате консолидации власти федеральная бюрократия, как «несущая опора» сильного и эффективного государства, станет тем локомотивом, который обеспечит стране необходимый экономический рост. Иными словами, российский федерализм реформировался не ради его собственного совершенствования и обновления, но *исключительно для обеспечения экономического роста любой ценой*. Совокупным итогом преобразований, предложенных бывшим президентом в федеративной сфере, стало не принципиальное *рассредоточение* власти, неизменно отличающее федералистскую политическую систему и демократию как таковую, но, напротив, ее всемерное *сосредоточение*.

Равнодушная реакция общества на описанные трансформации свидетельствует о том, что за годы, прошедшие после упразднения коммунистического режима, федерализм так и не сделался для граждан России чем-то значимым и желаемым. Переизбрание Путина на второй президентский срок было отмечено дальнейшей централизацией власти и расширением мер федерального вмешательства. Отмена прямых выборов глав исполнительной власти регионов представляет собой явный шаг назад в развитии не только отечественного федерализма, но и демократического процесса в целом. Состоявшаяся в 2008 году смена главы государства пока не внесла никаких новаций в печальную судьбу российского федерализма.

Литература

- Захаров А.А. 2008. Унитарная федерация. Пять этюдов о российском федерализме. М.: Московская школа политических исследований.
- Захаров А.А. 2003. E Pluribus Unum. Очерки современного федерализма. М.: Московская школа политических исследований.
- Киселева А.В., Нестеренко А.В. 2002. Теория федерализма. М.: МГУ.

- *Остром В.* 1993. Смысл американского федерализма. Что такое самоуправляющееся общество. М: Арена.
- *Федералист.* 2000. Политические эссе А. Гамильтона, Дж. Мэдисона и Дж. Джея. М.: Весь мир.
- *Чиркин В.Е.* 1997. Современное федеративное государство. М.: МНИМП.
- *Элейзер Д.* 1995. Сравнительный федерализм // *ПОЛИС (Политические исследования)*. № 5. С. 106–115.
- *Anderson G.* 2008. *Federalism: An Introduction*. Oxford: Oxford University Press.
- *Elazar D.J.* 1998. *Constitutionalizing Globalization. The Postmodern Revival of Confederal Arrangements*. Lanham: Rowman & Littlefield.
- *Elazar D.J.* 1987. *Exploring Federalism*. Tuscaloosa: University of Alabama Press.
- *Filippov M., Ordeshook P., Shvetsova O.* 2004. *Designing Federalism: A Theory of Self-Sustainable Federal Institutions*. Cambridge: Cambridge University Press.
- *Gibson E. (ed.)*. 2004. *Federalism and Democracy in Latin America*. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.
- *Riker W.* 1964. *Federalism: Origin, Operation, Significance*. Boston: Little Brown.
- *Ross K.* 2002. *Federalism and Democratization in Russia*. Manchester: Manchester University Press.
- *Swenden W.* 2006. *Federalism and Regionalism in Western Europe. A Comparative and Thematic Analysis*. Houndmills: Palgrave Macmillan.
- *Watts R.L.* 1999. *Comparing Federal Systems*. 2nd ed. Montreal: McGill-Queen's University Press.
- *Wheare K.C.* 1947. *Federal Government*. New York and London: Oxford University Press.

Издается при поддержке Центра интернет-политики
МГИМО (У) МИД России

Отпечатано в отделе оперативной полиграфии
и множительной техники МГИМО (У) МИД России
119218, Москва, ул. Новочеремушкинская, 26

Данная книга представляет собой анализ общественно-политических понятий. Для рассмотрения авторами были отобраны те понятия, которые пользуются устойчиво повышенным вниманием и экспертов, и политиков, вызывая общественные дискуссии. В книге представлен анализ понятий, дискуссии вокруг них и наиболее значимая литература.

Книга представляет интерес для студентов политологов, международников, юристов, а также для всех, интересующихся общественно-политической проблематикой.